ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАК

Силуэт женщины



АЗБУКА-КЛАССИКА

Силуэт женщины

Оноре де Бальзак

Аннотация
Оноре де Бальзак. Силуэт женщины
Загородный бал
Побочная семья
Супружеское согласие
Силуэт женщины
Второй силуэт женщины
Прославленный Годиссар

Аннотация

Оноре де Бальзак – великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» (с подзаголовком «Этюды о нравах») он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. В настоящее издание вошли повести и рассказы о любви, которые сам Бальзак определял как «сцены частной жизни»: «Загородный бал», «Побочная семья», «Супружеское согласие» и «Силуэт женщины», а также блистательная повесть «Прославленный Годиссар» – о приключениях хитроумного парижского коммивояжера, который, «пресыщенный пороками Парижа, умеет надеть на себя личину провинциального простодушия».

Оноре де Бальзак
Силуэт женщины

Honoré de Balzac
ÉTUDE DE FEMME
Перевод с французского Марии Вахтеровой, Надежды Коган, Ольги Моисеенко
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

© М. В. Вахтерова (наследники), перевод, 2023
© Н. А. Коган (наследник), перевод, 2023
© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

* * *

Загородный бал

Анри де Бальзаку от брата Оноре

Граф де Фонтэн, глава одной из древних фамилий Пуату, с большим искусством и мужеством служил Бурбонам во время войны вандейцев против республики[1]. Выйдя невредимым из всех опасностей, угрожавших вожакам роялистов в ту бурную эпоху истории, он говаривал шутя:

— Я, видите ли, из тех, кто сложил голову на ступеньках трона!

Шутка эта имела известный смысл в устах человека, который только чудом остался в живых в кровавом сражении у Четырех Дорог. Хотя верный вандеец и был разорен конфискациями имущества, он неизменно отказывался от выгодных должностей, которые предлагал ему император Наполеон. Стойкий в своем поклонении аристократизму, он слепо подчинился его правилам, когда выбирал себе подругу жизни. Несмотря на заигрывания одного разбогатевшего в годы революции выскочки, который дорого бы

[1] Примечания: 1

Имеется в виду восстание роялистов, вспыхнувшее в 1793 году в Вандее, департаменте на северо-западе Франции. — *Здесь и далее примеч. ред.*

дал, чтобы с ним породниться, граф женился на девице Кергаруэт, бесприданнице, но происходившей зато из древнейшего бретонского рода.

Реставрация застала господина де Фонтэна обремененным многочисленным семейством. Хотя хлопотать о милостях было не в правилах гордого дворянина, тем не менее он, уступив желанию жены, покинул свое поместье, скромных доходов от которого едва хватало на содержание семьи, и переселился в Париж. С сокрушением наблюдая, как жадно его старые товарищи охотились за государственными должностями и званиями, он собрался было возвратиться в свои владения, как вдруг получил правительственный пакет, в коем весьма известный сановник возвещал о возведении его в чин генерал-майора на основании закона, дозволявшего засчитывать офицерам «католической армии» первые двадцать лет негласного царствования Людовика XVIII[2] за годы действительной службы. Несколько дней спустя без каких-либо ходатайств вандеец получил сверх того ордена Почетного легиона и святого Людовика, пола-

[2] Примечания: 2

Людовик XVIII (1755–1821) — Луи-Станислас-Ксавье, граф Прованский, брат погибшего наследника престола; находясь за границей, объявил себя королем Франции в 1795 году. Взошел на престол в 1814 году.

гавшиеся ему по чину. Поколебленный в своем решении этим потоком милостей, которые он приписывал признательности монарха, он счел отныне недостаточным являться по воскресеньям всей семьей в Маршальскую залу Тюильри и во время следования королевской фамилии в часовню всеподданнейше возглашать: «Да здравствует король!» — и просил удостоить его личной аудиенции. Аудиенция была дана в самом непродолжительном времени, но особой торжественностью не отличалась. В королевской приемной толпились старые придворные, чьи напудренные парики, если смотреть на них сверху, напоминали снежную пелену. Граф де Фонтэн встретил там своих прежних сотоварищей, которые приняли его довольно холодно; но принцы крови показались ему *обворожительными*, после того как самый любезный из его повелителей, который, по предположению графа, мог знать его только по имени, подошел пожать ему руку и назвал его истым вандейцем. Несмотря на такие знаки благоволения, никому из высоких особ не пришло в голову осведомиться, каковы были его потери и какова сумма денег, столь щедро потраченных им на «католическую армию». Он обнаружил — несколько поздно, — что вел войну

за свой собственный счет.

К концу вечера он нашел случай ввернуть шутливый намек на жалкое состояние своих финансов, сходное с положением многих других дворян. Его величество изволил добродушно рассмеяться: всякое словцо, отмеченное печатью остроумия, было ему по сердцу; тем не менее он ответил одной из тех королевских шуток, ласковый тон которых много опаснее, нежели гневный выговор. Один из приближенных короля поспешил подойти к сребролюбивому вандейцу и в тонких, учтивых выражениях дал ему понять, что не настал еще час предъявить счет повелителю: на рассмотрении находятся гораздо более давние притязания, которые, бесспорно, войдут в историю революции. Граф счел за благо выйти из именитой толпы, окружавшей августейшее семейство почтительным полукругом; затем, не без труда высвободив свою шпагу, цеплявшуюся за хилые ноги придворных, он пересек двор Тюильри и пешком добрался до наемной кареты, оставленной им на набережной. Старик отличался строптивым нравом дворян старого закала, которые сохранили еще в памяти времена Лиги

и Баррикад[3]; усевшись в карету, он принялся жаловаться вслух на перемены, происшедшие при дворе, рискуя навлечь на себя беду.

«В былые времена, — рассуждал он сам с собой, — всякий свободно беседовал с королем о своих личных делах; вельможи могли когда угодно просить милостей и пособий, а нынче не добьешься без неприятностей даже возмещения убытков, понесенных на королевской службе! Черт возьми! Орден святого Людовика и чин генерал-майора, право, не стоят тех трехсот тысяч франков, что я потерял чистоганом ради защиты монархии. Я еще раз поговорю с королем с глазу на глаз, в его собственном кабинете».

Этот случай охладил пыл господина де Фонтэна тем более, что все его хлопоты об аудиенции неизменно оставались без ответа. Он видел к тому же, что при королевском дворе выскочкам Империи нередко доставались те должности, какие при прежнем царствовании приберегались для высшей знати.

— Все пошло прахом, — сказал он однажды

---

[3] Примечания: 3

Католическая лига — католическая партия во Франции, организованная в 1576 году герцогом Генрихом Гизом для борьбы с протестантами. Под *баррикадами* имеются в виду события в Париже 12 мая 1588 года, когда народные массы восстали против короля Генриха III; этот день получил название «день баррикад».

утром. — Положительно, король был и остался революционером. Не будь его августейшего брата, который свято блюдет традиции и печется о верных слугах, трудно даже сказать, в какие руки попадет французская корона. Эта проклятая конституционная система — самый худший образ правления и ни при каких обстоятельствах не годится для Франции. Людовик XVIII и господин Беньо все нам напортили в Сент-Уане[4].

Граф, весьма раздосадованный, уже собирался вернуться к себе в поместье, гордо отказавшись от всяких притязаний на возмещение убытков. В это время события двадцатого марта[5] возвестили о новой буре, грозившей поглотить законного короля вместе с его приверженцами. Подобно тем великодушным людям, которые не способны выгнать слугу на улицу в ненастье, господин де Фонтан заложил свои земли, дабы разделить судьбу монархии, терпящей бедствие, сам еще не зная, принесет ли ему эмиграция счастье, которого не принесла его былая преданность; но,

---

[4] Примечания: 4

Жан-Клод Беньо (1761–1835) — французский политик, в 1814 году издал так называемый Сент-Уанский манифест, в котором содержались основные принципы французской конституции.

[5] Примечания: 5

20 марта 1815 года Наполеон, бежавший с Эльбы, где пребывал в качестве узника, вступил в Париж.

убедившись, что спутники по изгнанию пользовались большим благоволением, нежели люди, сражавшиеся некогда с оружием в руках против установления республики, он возымел надежду извлечь больше выгод, выехав за границу, чем оставаясь внутри страны для неусыпных и опасных трудов. Расчеты старого придворного не походили на те пустые измышления, что сулят на бумаге златые горы, а в действительности несут разорение. Короче, по выражению самого остроумного и искусного из наших дипломатов, он стал одним из пятисот верных слуг, разделивших с королевским двором тяжесть изгнания в Генте[6], и одним из пятидесяти тысяч, которые оттуда возвратились. За время этого краткого междуцарствия господин де Фонтэн имел честь выполнять поручения Людовика XVIII и неоднократно доказывал королю свою безупречную благонадежность и искреннюю преданность.

Как-то вечером, когда королю нечего было делать, он припомнил остроту, сказанную господином де Фонтэном в Тюильри. Старый вандеец не упустил столь благоприятного случая и постарался рассказать свою историю достаточно

[6] Примечания: 6

Спасаясь от Наполеона, Людовик XVIII бежал в город Гент во Фландрии.

забавно, чтобы король, никогда ничего не забывавший, припомнил ее в нужную минуту. Августейший стилист оценил изящный слог деловых бумаг, выходивших из-под пера скромного дворянина. Благодаря этой маленькой заслуге господин де Фонтэн был отмечен в памяти монарха как один из наиболее преданных слуг престола. По вторичном возвращении короля граф был назначен чрезвычайным эмиссаром и объезжал округа, имея полномочия «вершить суд над зачинщиками мятежа», однако он не злоупотреблял своей грозной властью. Как только эти временные судилища перестали существовать, верховный судья занял кресло в государственном совете, стал депутатом, говорил редко, слушал внимательно и во многом изменил свои мнения. В силу некоторых обстоятельств, оставшихся неизвестными биографам короля, граф настолько вошел в доверие к нему, что однажды насмешливый монарх встретил его следующими словами:

— Друг мой Фонтэн, я не рискнул бы назначить вас главноуправляющим или министром! Ни вы, ни я, будь мы чиновниками, не удержались бы в должности из-за наших убеждений. Конституционный строй имеет то преимущество, что избавляет нас от труда самим увольнять наших

государственных секретарей. Что такое наш совет? Гостиница, куда общественное мнение посылает иной раз престранных постояльцев: но как-никак мы всегда сумеем найти местечко для наших верных слуг.

За таким язвительным предисловием последовал приказ о назначении господина Фонтэна управляющим собственными владениями короля. Благодаря восхищенному вниманию, с каким граф выслушивал сарказмы своего царственного друга, имя его появлялось на устах его величества всякий раз, как речь заходила о создании какой-нибудь комиссии, членам которой полагалось солидное вознаграждение. Де Фонтэн был достаточно умен, чтобы молчать о монарших милостях, и умел упрочить их, развлекая короля игривыми рассказами во время тех непринужденных бесед, в которых Людовик XVIII находил такое же удовольствие, как в остроумно составленных письмах, в политических анекдотах и, если позволительно употребить такое выражение, в дипломатических и парламентских сплетнях, расплодившихся в ту пору в изобилии. Общеизвестно, что все мелочи «правительствования» — излюбленное словечко венценосного остряка — бесконечно забавляли его. Благодаря

здравому смыслу, уму и ловкости графа де Фонтэна все члены его многочисленного семейства с самого раннего возраста присосались, как шутливо говаривал он своему повелителю, точно шелковичные черви, к листочкам бюджета. Так, старший сын де Фонтэна по милости короля занял несменяемую судейскую должность. Второй сын, до Реставрации простой капитан, сразу же по возвращении из Гента получил полк; затем в 1815 году, когда вследствие беспорядков устав не соблюдался, он попал в королевскую гвардию, откуда перешел в лейб-гвардию, потом перевелся в пехоту, а после битвы при Трокадеро оказался в чине генерал-лейтенанта гвардии. Самый младший, назначенный супрефектом, в скором времени стал докладчиком государственного совета и директором одного из муниципальных учреждений города Парижа, где он надежно укрылся от парламентских бурь. Эти тайные милости, негласные, как и королевская благосклонность к графу, продолжали незаметно сыпаться на семейство де Фонтэнов. Несмотря на то, что отец и все три сына имели достаточно синекур и пользовались значительными казенными доходами, не уступающими доходам главноуправляющего, их политическая карьера

ни в ком не возбуждала зависти. В те первые годы зарождения конституционного строя мало кто мог правильно оценить некоторые неприметные статьи государственного бюджета, а этим и пользовались ловкие фавориты, выискивая в них возмещение потерянных церковных доходов. Его сиятельство граф де Фонтэн, еще недавно хвалившийся, что ни разу не заглядывал в конституционную хартию, и столь негодовавший на алчность придворных, не замедлил доказать своему повелителю, что нисколько не хуже его понимает дух и преимущества парламентской системы. Однако, несмотря на прочность служебного положения трех своих сыновей, несмотря на доходы, извлекаемые по совокупности из четырех должностей, господин де Фонтэн был обременен слишком многочисленной семьей, чтобы легко и быстро восстановить утраченное состояние. Три его сына были обеспечены видами на будущее, покровительством и личными талантами; но оставались еще три дочери, и граф боялся злоупотреблять добротой государя. Он решил, что скажет ему пока только об одной из этих девственниц, жаждущих возжечь свой светильник. Король был человеком хорошего вкуса и не мог не завершить своих благодеяний.

Брак старшей дочери с генеральным сборщиком налогов, Планá де Бодри, решился одним из тех намеков короля, цена которым на первый взгляд невелика, а стоят они миллионов. Однажды вечером, когда государь был в хмуром настроении, он изволил улыбнуться, узнав о существовании второй девицы де Фонтэн, и устроил ее брак с молодым судьей, богатым и способным, правда, буржуазного происхождения, и пожаловал ему титул барона. Но когда через год вандеец заикнулся о третьей дочери, девице Эмилии де Фонтэн, король ответил ему тонким язвительным голоском: «Amicus Plato, sed magis amica Natio»[7].

И несколько дней спустя преподнес «своему другу Фонтэну» довольно безобидное четверостишие, названное им эпиграммой, где подшучивал насчет его трех дочерей, так удачно произведенных на свет в виде троицы. Если верить хронике, король построил свой каламбур на понятии божественного триединства.

— Не соизволит ли государь изменить свою эпиграмму на эпиталаму?[8] — сказал граф, пыта-

---

[7] Примечания: 7

«Платон мне дорог, но нация дороже» *(лат.)*; измененная поговорка: «Платон мне дорог, но истина дороже».

[8] Примечания: 8

Эпиталама — свадебная песня.

ясь обернуть этот выпад в свою пользу.

— Хоть я и вижу тут рифму, но не вижу смысла, — резко отпарировал король, которому пришлась не по вкусу даже столь невинная насмешка над его стихами.

С того дня его обращение с господином де Фонтэном стало менее благосклонным. Государи любят противоречие меньше, чем мы думаем.

Как почти все дети, младшие в семье, Эмилия де Фонтэн была всеобщей любимицей, и домашние носили ее на руках. И охлаждение монарха огорчало графа тем более, что выдать замуж эту балованную дочь было необычайно трудной задачей. Чтобы уяснить себе, как велики были препятствия, необходимо проникнуть внутрь великолепного особняка, который королевский управляющий снимал на средства казны, Эмилия провела детство в родовом поместье де Фонтэнов и на приволье наслаждалась благами, достаточными для счастья ранней юности; малейшее ее желание становилось законом для ее сестер, братьев, матери и даже для самого отца. Все родные были от нее без ума. Она достигла сознательного возраста как раз в тот период, когда ее семья утопала в милостях и довольстве, и жизнь продолжала ей улыбаться. Роскошь Парижа казалась

ей столь же естественной, как изобилие цветов и плодов, как пышность природы в поместье, где прошло ее отрочество. Девочкой она не встречала отпора своим сумасбродным желаниям, а на шестнадцатом году, закружившись в вихре света, уже умела заставить всех себе повиноваться. Привыкая все более и более к милостям судьбы, она уже не могла обходиться без изысканных туалетов, без изящества раззолоченных гостиных и экипажей, без поклонения и лести, искренней или лицемерной, без развлечений и суеты двора. Подобно большинству избалованных детей, она изводила тех, кто любил ее, и приберегала свои чары для равнодушных. Недостатки ее с годами только увеличились, и родителям вскоре пришлось пожинать горькие плоды столь пагубного воспитания. В девятнадцать лет Эмилия де Фонтэн еще не пожелала сделать выбор среди многочисленных молодых людей, которых предусмотрительно собирал ее отец на приемах. Несмотря на свою молодость, она пользовалась в свете полной свободой суждений, насколько это доступно для девушки. Эмилия не имела друзей, как не имеют их короли, и встречала повсюду лишь поклонение, против чего вряд ли устояла бы и лучшая натура, чем она. Ни один мужчина,

будь то даже старик, не имел силы противиться этой девушке, одного взгляда ее было достаточно, чтобы зажечь любовный пламень в самом холодном сердце. Воспитанная более заботливо, нежели ее сестры, она недурно рисовала, болтала по-итальянски и бесподобно играла на фортепьяно; голос ее, усовершенствованный лучшими преподавателями, отличался приятным тембром, придававшим ее пению неотразимое очарование. При встрече с Эмилией, остроумной и умевшей блеснуть своей начитанностью, невольно вспоминалось изречение Маскариля[9], будто знатные люди рождаются на свет, уже зная все наперед. Она рассуждала с одинаковой легкостью об итальянской и фламандской живописи, о Средних веках и Возрождении, критиковала свысока старые и новые книги и с жестоким, но изящным остроумием умела подчеркнуть недостатки любого произведения искусства. Толпа обожателей жадно ловила самые пустые ее фразы, как турки ловят *фетвы* султана. Так ослепляла она людей поверхностных; что же касается людей серьезных, то врожденное чутье помогало ей угадать их с первого взгляда; тогда она пускала в ход все

[9] Примечания: 9

Маскариль — популярный образ во французских комедиях XVII–XVIII веков, хитрый слуга-пройдоха.

свое кокетство и благодаря своим чарам умела обмануть их проницательность. Под соблазнительной внешностью она скрывала беспечное сердце, непомерную гордость от сознания своего высокого происхождения и красоты и присущую многим девушкам уверенность, что никто на свете не способен оценить совершенства ее души. В ожидании страстного чувства, рано или поздно испепеляющего сердце всякой женщины, она тратила свой юный пыл на неумеренную любовь к аристократии и выказывала глубочайшее презрение к людям незнатным. Дерзкая и высокомерная с новоиспеченными дворянами, она прилагала все усилия, чтобы ее семья ни в чем не уступала самым блистательным домам Сен-Жерменского предместья.

Ее образ мыслей не мог ускользнуть от проницательного взора господина де Фонтэна; ему и самому со времени замужества старших дочерей не раз доставалось от сарказмов и насмешек Эмилии. Люди последовательные могут удивиться, как это старый вандеец выдал старшую дочь за генерального сборщика налогов, который хотя и владел несколькими родовыми поместьями, но не имел при своей фамилии дворянской частицы «де», доставившей столько защитников трону, а

вторую дочь — за судью, который стал бароном слишком недавно и не мог заставить свет забыть, что отец его торговал дровами. Столь значительная перемена во взглядах высокородного графа, наступившая уже на седьмом десятке, когда люди редко расстаются со своими убеждениями, объяснялась не только пагубным влиянием современного Вавилона, где все провинциалы в конце концов обтесываются; нет, своими новыми политическими взглядами граф де Фонтэн был обязан главным образом советам и дружбе короля. Августейшему философу доставляло удовольствие постепенно обращать вандейца в новую веру, которой требовал весь ход событий девятнадцатого века и обновление монархии. Людовик XVIII задался целью смешать политические партии, подобно тому как Наполеон перемешал и людей и понятия. Законный король, пожалуй, не менее дальновидный, чем его соперник, поступал как раз наоборот: последний из Бурбонов столь же старался угождать третьему сословию и людям Империи, в ущерб духовенству, сколь ревностно первый из Наполеонов усердствовал, чтобы привлечь на свою сторону высшую знать и ублаготворить церковников. Будучи поверенным королевских замыслов, член

государственного совета сделался незаметно для себя одним из наиболее влиятельных и ловких деятелей умеренной партии, всячески стремившейся во имя интересов нации к слиянию противоречивых убеждений. Он проповедовал высокие принципы конституционного строя и всеми силами помогал своему повелителю управлять политическими рычагами, что позволяло благополучно вести корабль Франции среди бурь и треволнений. Быть может, господин де Фонтэн льстил себя надеждой добиться звания пэра в результате одного из парламентских переворотов, неожиданные последствия которых поражали даже самых опытных политиков. Он не признавал во Франции иной знати, кроме пэров, так как, по его глубочайшему убеждению, только семьи пэров пользовались настоящими привилегиями.

— Дворянство без привилегий, — говорил он, — то же, что рукоятка без топора.

Держась в стороне как от партии Лафайета, так и от партии Лабурдонне[10], он ревностно добивался всеобщего примирения, что, по его

[10] Примечания: 10

Маркиз де Лафайет (1757–1834) — политический деятель, участник американской войны за независимость, Великой французской революции и Июльской революции 1830 года. *Граф Франсуа Режи Лабурдонне* (1767–1839) — политический деятель, крайний роялист.

мнению, должно было открыть перед Францией новую, блестящую эру. Он старался убедить тех, кто посещал его салон, и тех, у кого бывал сам, что военная и чиновничья карьера в наши дни больших возможностей не представляет. Он советовал матерям избирать для своих сыновей независимые профессии, готовить их к промышленной или финансовой деятельности и давал понять, что военные чины и высшие государственные должности, в соответствии с духом конституции, будут распределяться в конце концов между младшими отпрысками именитых родов пэров. По его словам, буржуазия отвоевала себе значительную роль в государственном управлении, участвуя в выборной палате, получая судебные и финансовые должности, что, как он говорил, всегда было и будет достоянием тузов третьего сословия. Новые идеи главы семейства де Фонтэнов, побудившие его устроить выгодные браки двух старших дочерей, встретили сильный отпор со стороны его домашних. Графиня де Фонтэн осталась верной старым традициям, да и как могла отречься от них женщина, происходившая по материнской линии от Роганов? Она противилась некоторое время замужеству двух старших дочерей, сулившему им счастье

и богатство, однако в конце концов сдалась на тайные доводы мужа во время тех интимных вечерних совещаний, когда головы супругов покоятся рядом на одной подушке. Господин де Фонтэн хладнокровно доказал жене путем самых точных расчетов, что жизнь в Париже, требования света, блеск их дома, вознаграждавший их за лишения, мужественно перенесенные в глуши Вандеи, расходы на сыновей поглощают большую часть их бюджета. Поэтому надо ценить как дар небесный представившуюся возможность так выгодно пристроить дочерей: ведь в скором времени они будут пользоваться рентой в шестьдесят-восемьдесят, а то и в сто тысяч франков. Для бесприданниц такие выгодные партии встречаются не каждый день. Наконец пора подумать и о сбережениях, пора упрочить состояние де Фонтэнов и восстановить их прежние земельные владения. Графиня сдалась на столь убедительные доводы, как поступила бы на ее месте всякая мать, пожалуй, еще с большей охотой, но объявила, что пусть по крайней мере ее любимица Эмилия осуществит в своем браке те горделивые мечтания, которые родители имели неосторожность взлелеять в этой юной душе.

Таким образом, события, которые должны бы-

ли бы вызвать радость в семье, посеяли в ней семена легкого раздора. Генеральный сборщик налогов и молодой судья стали жертвой холодного, церемонного этикета, который сумели установить в доме графиня и ее дочь Эмилия. Вскоре служение этикету открыло новое поле деятельности для двух домашних тиранок. Генерал-лейтенант женился на девице Монжено, дочери богатого банкира; председатель суда имел благоразумие сочетаться браком с барышней, отец которой, обладатель двух или трех миллионов, нажился на соляной торговле; наконец, и младший сын показал себя верным этим расчетливым соображениям, взяв в жены девицу Гростет, единственную наследницу сборщика налогов города Буржа. Трем невесткам и двум зятьям казалось настолько привлекательным вращаться в высших политических сферах и в салонах Сен-Жерменского предместья, что все они сообща образовали как бы небольшой двор вокруг высокомерной Эмилии. Союз этот, основанный на личной корысти и тщеславии, был, однако, недостаточно прочным, и юная повелительница вызывала подчас возмущение в своем маленьком королевстве. Происходили сцены, правда не нарушавшие светских приличий, но

позволявшие членам этой влиятельной семьи проявлять свойственное им остроумие; едкие насмешки и сарказмы хоть и не наносили чувствительного ущерба показной дружбе в кругу семьи, но порою не щадили никого. Так, например, жена генерал-лейтенанта, став баронессой, считала себя ничуть не менее знатной, чем какая-то Кергаруэт, и полагала, что кругленькая сумма в сто тысяч франков ренты дает ей право быть столь же дерзкой, как и ее золовка Эмилия; этой последней она частенько насмешливо желала счастливого брака, сообщая как бы вскользь, что дочь такого-то пэра Франции недавно вышла замуж за господина такого-то, без всякого титула. Жене виконта де Фонтэн доставляло великое удовольствие затмевать Эмилию изысканностью и роскошью своих туалетов, своей мебели и экипажей. Иронический вид, с каким невестки и оба зятя выслушивали иногда высокомерные притязания мадемуазель де Фонтэн, приводил ее в бешенство, и нередко гнев ее находил выход в граде язвительных острот. Когда глава семьи заметил некоторое охлаждение, наступившее в негласной и изменчивой дружбе к нему монарха, он сильно встревожился, потому что его любимица-дочь, раззадоренная насмешками и

поддразниванием сестер, никогда еще не метила так высоко.

И вот как раз в то время, когда эта маленькая семейная распря приняла угрожающие размеры, король, как будто начавший снова благоволить к господину де Фонтэну, был поражен недугом, от которого ему суждено было погибнуть. Тонкий политик, так искусно правивший своим кораблем среди бурь, в конце концов потерпел крушение. Граф де Фонтэн, не зная еще, останется ли он в милости, приложил величайшие старания, чтобы собрать вокруг своей младшей дочери самых блестящих кавалеров. Те, кому приходилось разрешать тяжкую задачу выдать замуж гордую и своенравную дочку, вероятно, поймут затруднения бедного вандейца. Завершив это предприятие и угодив любимой дочери, граф достойным образом увенчал бы свою карьеру, начатую им в Париже десять лет назад. По тому, как ловко его семья захватывала оклады во всевозможных ведомствах, ее можно было уподобить австрийскому царствующему дому, грозящему заполонить всю Европу своими родственными связями. И старый вандеец, для которого счастье дочери было главной сердечной заботой, не щадя сил, подыскивал ей все новых женихов; но труд-

но было удержаться от улыбки, когда дерзкая девушка выносила приговоры и разбирала по косточкам своих обожателей. Можно было подумать, что Эмилия достаточно богата и прекрасна, чтобы по примеру принцессы из «Тысячи и одного дня»[11] иметь право выбрать любого принца; возражения ее были одно забавнее другого: у этого слишком жирные икры и кривые колени, тот близорук, третий носит пошлую фамилию Дюран, четвертый хромает, — и почти все казались ей слишком толстыми. Отвергнув двух или трех новых поклонников, Эмилия становилась еще живее, очаровательнее, веселее, чем когда-либо, кружилась в вихре зимних праздников, разъезжала по балам, где ее зоркий взгляд внимательно изучал входящих в моду знаменитостей и где потехи ради она пленяла сердца, но всегда отвечала отказом искателям ее руки.

Природа щедро наделила ее дарами, необходимыми для роли Селимены[12]. Высокая и стройная, Эмилия де Фонтэн умела держаться

---

[11] Примечания: 11

«Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданный во Франции в XVIII веке.

[12] Примечания: 12

Селимена — героиня комедии Мольера «Мизантроп», кокетка, искушенная в обычаях салонов и двора.

то величественно, то легкомысленно, смотря по желанию. Гибкая лебединая шея придавала ей несколько высокомерный и презрительный вид. У нее имелось в запасе множество поз и грациозных жестов, множество оттенков в голосе и улыбках. Прекрасные черные волосы и густые, резко изогнутые брови подчеркивали горделивое выражение ее лица, которое кокетка с помощью зеркала научилась то делать ледяным, то смягчать долгим или нежным взглядом, легким движением губ, холодной или ласковой улыбкой. Если Эмилии хотелось покорить чье-нибудь сердце, ее чистый голосок становился чрезвычайно мелодичен; но она могла также придать ему металлическую резкость, если намеревалась оборвать нескромную речь ухаживателя. Ее белоснежное лицо и алебастровое чело напоминали сияющую гладь озера, то покрывающегося рябью под дуновением ветерка, то вновь безмятежного и ясного, когда воцаряется тишь. Не раз юноши, ставшие жертвой ее презрения, обвиняли ее в притворстве; но ей ничего не стоило оправдаться, внушить злословящим желание ей понравиться и подчинить их капризам своего кокетства. Никто из светских красавиц не умел лучше ее с холодным высокомерием ответить на поклон

знаменитости, или выказать ту оскорбительную вежливость, которая низводит равных ступенью ниже, или же дерзко оборвать того, кто пытался держать себя с ней на равной ноге. Где бы она ни находилась, она принимала комплименты как должные почести и даже в гостях у принцессы крови величавой осанкой и манерами обращала свое кресло в королевский трон.

Господин де Фонтэн — увы! — слишком поздно постиг, что его любимица и баловница вконец испорчена обожанием всей семьи. Восхищение, которое свет вначале выказывает юной девушке, не преминув отомстить ей за это впоследствии, еще более возбудило гордость Эмилии и укрепило в ней самоуверенность. Всеобщее поклонение развило в ней эгоизм, естественный у избалованных детей, которые, подобно августейшим особам, смотрят на всех и все как на забаву. Прелесть юности и блеск природных даров покуда еще скрывали от посторонних глаз эти недостатки, особенно отталкивающие в женщине, чье главное украшение — преданность и кротость. Но от глаз любящего отца не ускользает ничто: господин де Фонтэн не раз пытался растолковать дочери важнейшие страницы загадочной книги жизни. Напрасные попытки! Натерпевшись

сверх меры от капризов и насмешек своевольной девушки, он не стал упорствовать в трудной задаче искоренения столь пагубных задатков. Он довольствовался тем, что время от времени давал советы, полные отеческой доброты, но видел с горечью, что самые нежные его слова отскакивают от сердца дочери, как от мрамора. Родителям горько разочаровываться в детях, и старому вандейцу понадобилось немало времени, чтобы понять, как снисходительно дарила ему дочь свои редкие ласки. Она походила на маленького ребенка, говорящего матери: «Поцелуй меня поскорее, я бегу играть». Эмилия, казалось, едва удостаивала родителей своей привязанностью. Но иногда, следуя внезапным капризам, необъяснимым у девушки ее возраста, она уединялась и целыми днями не выходила из своей комнаты; она жаловалась, что ей приходится делить привязанность родителей со слишком многими, она ревновала их ко всем, даже к братьям и сестрам. Затем, потратив много усилий, чтобы создать вокруг себя искусственную пустыню, своенравная девушка обвиняла весь мир в своем одиночестве и добровольных мучениях. Вооруженная опытом своих двадцати лет, она проклинала судьбу, не понимая, что главный источник радостей в нас

самих, и требуя их от окружающих. Она готова была бежать на край света, чтобы спастись от замужества, подобного бракам ее сестер, и тем не менее в глубине души завидовала их богатству и семейному счастью. Ее мать, не меньше господина де Фонтэна страдавшая от поведения дочери, иной раз подозревала даже, что та не в своем уме. Подобные странности легко объяснимы; мы часто видим зарождение скрытой гордости в сердцах юных особ, принадлежащих к высшим слоям общества и наделенных от природы редкой красотой. Почти все они убеждены, что их матери, достигнув возраста сорока или пятидесяти лет, не могут уже сочувствовать их юной душе и понять их мечтаний. Они воображают, что большинство матерей завидуют дочерям и нарочно одевают их по-своему, с затаенным умыслом затмить их или лишить успеха. Отсюда тайные слезы и глухой ропот на мнимую тиранию матерей. Помимо таких огорчений, искренних, хотя и основанных на воображении, девушки часто одержимы манией ставить себе фантастические жизненные задачи и предсказывать самим себе блестящую будущность. С помощью этого волшебного дара они пытаются превращать свои грезы в действительность; в долгие часы мечтаний они

клянутся отдать руку и сердце только человеку с такими-то и такими-то достоинствами, рисуют в воображении идеал, на который во что бы то ни стало должен походить их суженый. Но долгий опыт, серьезные раздумья, приходящие с годами, холодные наблюдения над светом и его повседневной прозой, множество печальных примеров постепенно лишают нежных красок их вымышленный идеал; и в один прекрасный день, влекомые жизненным потоком, они с изумлением обнаруживают, что вполне счастливы, хотя их поэтические любовные грезы и не сбылись. Следуя этому закону, мадемуазель Эмилия де Фонтэн создала в своей ветреной головке целую программу, которой обязан был следовать претендент, чтобы получить ее согласие. Этим объяснялись ее презрение и насмешки.

«Пусть он будет молод и знатен, — решила она, — в придачу он должен быть пэром Франции или старшим сыном пэра! Я непременно хочу иметь герб в ниспадающих складках голубого намета на дверцах моей кареты, хочу разъезжать наряду с принцами крови по главной аллее Елисейских Полей в дни скачек в Лоншане. К тому же мой отец предполагает, что в недалеком будущем звание пэра станет самым высоким титулом во

Франции. Я хочу, чтобы мой суженый был военным и по моему желанию вышел в отставку, я хочу видеть его в орденах, чтобы нам отдавали честь».

Но все эти редкие качества не вели ни к чему, если это выдуманное существо не обладало, помимо того, изысканной любезностью, прекрасной осанкой, остроумием и в особенности стройным сложением. Худощавость — этот идеал внешних пропорций, как ни трудно его достичь, особенно при «представительном образе правления», — являлась непременным условием. У мадемуазель де Фонтэн был некий идеал соразмерности, служивший ей образцом. Если молодой человек с первого взгляда не удовлетворял требуемым условиям, она не удостаивала даже взглянуть на него еще раз.

«О боже мой, посмотрите, какой он толстый!» — это было в ее устах величайшим проявлением презрения.

Послушать ее, так люди дородные не способны на чувство, недостойны быть приняты в хорошем обществе и, несомненно, дурные мужья. Полнота, столь ценимая на Востоке, — несчастье для женщины, говорила Эмилия, а уж для мужчины — это просто преступление. Многих забавляли

эти парадоксы, так весело и остроумно она их высказывала. Однако граф предвидел, что когда-нибудь нелепость притязаний его дочери не ускользнет от внимания соперниц, столь же проницательных, как и безжалостных, и неизбежно станет предметом насмешек. Он опасался, как бы странные причуды дочери не выродились в дурной тон. Он с трепетом ждал, что беспощадный свет начнет издеваться над героиней, которая так долго остается на сцене, не доводя комедию до развязки. Многие актеры, оскорбленные отказом, казалось, только выжидали малейшей ее неудачи, чтобы отомстить. Равнодушные и не занятые в игре начинали скучать: восхищение всегда утомительно для человеческой природы. Старый вандеец знал лучше всякого другого, что если трудно выбрать момент, чтобы выступить на подмостках большого света, королевского двора, гостиной или театра, то еще труднее вовремя с них сойти. Поэтому в первую же зиму правления Карла X он при содействии своих сыновей и зятьев усугубил старания, чтобы собрать в гостиных своего особняка самых блестящих кавалеров, каких мог предложить Париж и различные провинциальные депутации. Великолепие его балов, роскошь сервировки и обедов, распространявших

аромат трюфелей, соперничали со знаменитыми пирами, на которых тогдашние министры вербовали голоса своих парламентских солдат.

Почтенный депутат прослыл тогда одним из виднейших совратителей парламентской неподкупности знаменитой палаты, казалось умиравшей от пресыщения. Странное дело, его старания выдать замуж дочь только способствовали его блистательным успехам. Быть может, он извлекал какую-нибудь скрытую выгоду, ухитряясь «продавать свои трюфели за двойную цену»? Это обвинение, придуманное либеральными остряками, возмещавшими обилием речей недостаток единомышленников в палате, не имело никакого успеха. Поведение дворянина из Пуату отличалось таким достоинством и благородством, что его не коснулась ни одна из эпиграмм, какими ехидные газетчики того времени заклеймили всех трехсот депутатов центра, министров, поваров, главноуправляющих, обжор и государственных адвокатов, поддерживавших министерство Виллеля[13] по долгу службы. К концу славной кампании, по ходу которой господин де Фонтэн несколько раз вводил в действие

[13] Примечания: 13

Граф де Виллель (1773–1854) — государственный деятель, премьер-министр в 1821–1828 годах.

все свои войска, он был уверен, что устроенный им парад женихов на сей раз не окажется для его дочери только забавным зрелищем. Он испытывал известное удовлетворение от сознания, что с честью выполнил свой отцовский долг. Истощив все средства, он надеялся, что среди стольких сердец, предложенных на выбор капризной Эмилии, найдется хотя бы одно, которое она примет благосклонно. Будучи не в силах возобновить кампанию, раздосадованный к тому же поведением дочери, он решился в одно прекрасное утро, в конце Масленицы, когда палата не слишком настойчиво требовала его присутствия, поговорить с Эмилией серьезно. В то время как лакей искусно выводил на его желтом черепе замысловатые узоры из пудры, завершавшие вместе с зачесами его внушительную прическу, граф не без скрытого волнения приказал своему старому камердинеру пригласить гордую барышню немедленно предстать перед главой семьи.

— Жозеф, — сказал он слуге, когда тот покончил с его прической, — уберите салфетку, раздерните занавеси на окнах, расставьте кресла по местам, стряхните коврик у камина и положите его попрямее, вытрите повсюду пыль. Живее! Растворите окно и проветрите кабинет.

Граф засыпал приказаниями запыхавшегося Жозефа, который, угадав намерения своего барина, постарался хоть немножко прибрать его комнату, обычно самую запущенную во всем доме, и даже сумел создать какую-то гармонию из груды счетов, папок, книг и мебели сего святилища, где разбирались дела королевских угодий. После того как Жозеф навел некоторый порядок в этом хаосе и расставил на виду, словно в модной лавке, наиболее привлекательные для глаз предметы, способные оттенить и приукрасить канцелярский стиль этого помещения, он остановился посреди бумажного хлама, наваленного даже на коврах, на секунду сам залюбовался делом рук своих, покачал головой и вышел.

Несчастный обладатель синекур не разделял восхищения своего слуги. Прежде чем усесться в огромное вольтеровское кресло, он подозрительно огляделся вокруг, с неодобрением обследовал свой халат, стряхнул с него крошки табака, старательно высморкался, поправил каминные лопаточки и щипцы, помешал дрова, отогнул отвороты домашних туфель, откинул назад косичку, забившуюся между воротом жилета и воротником халата, и придал ей должное перпендикулярное положение; после этого он ткнул

кочергой в уголья очага, постоянно горевшего по причине упорного бронхита старого царедворца. В заключение старик в последний раз окинул взглядом свой кабинет, надеясь, что ничто не даст повода к едким и дерзким замечаниям, которыми дочка обычно отвечала на его мудрые советы. В это утро ему не хотелось ронять своего родительского достоинства. Он осторожно втянул понюшку табаку и несколько раз кашлянул, словно перед выступлением в палате, — послышались легкие шаги дочери, которая вошла, напевая арию из «Il barbiere»[14].

— С добрым утром, отец! Зачем я вам понадобилась в такую рань?

С этими словами, прозвучавшими словно ритурнель пропетой ею арии, она поцеловала графа, но в ее поцелуе не чувствовалось дочерней нежности, а скорее небрежное легкомыслие любовницы, всегда уверенной в могуществе своих чар.

— Дорогое дитя, — торжественно произнес господин де Фонтэн, — я позвал тебя, чтобы поговорить о твоем будущем. Пришло время, когда ты должна выбрать себе мужа, способного дать тебе

---

[14] Примечания: 14
«Севильский цирюльник» *(ит.).*

прочное счастье…

— Милый батюшка, — перебила его Эмилия, пуская в ход самые ласковые ноты своего голоса, — мне кажется, что перемирие, заключенное нами по вопросу о моих женихах, еще не истекло.

— Эмилия, перестань шутить в таком серьезном деле. С некоторых пор все твои близкие, все искренне тебя любящие стараются обеспечить тебе, дитя мое, приличную будущность, и было бы черной неблагодарностью отнестись легкомысленно к знакам участия, от кого бы они ни исходили.

Услышав такие слова и бросив лукаво-испытующий взгляд на убранство отцовского кабинета, Эмилия выбрала то из кресел, которое, по всей видимости, реже других служило просителям, сама поставила его по другую сторону камина, уселась напротив отца с такой важностью, что нельзя было не заметить в ее позе издевательства, и скрестила руки на пышной отделке своей белоснежной пелеринки, безжалостно измяв бесчисленные тюлевые оборки. С усмешкой взглянув искоса на озабоченное лицо старика-отца, она прервала молчание:

— Я никогда еще не слыхала, дорогой батюшка,

чтобы правительство провозглашало свои указы, даже не сняв халата. Но пусть! — добавила она, улыбаясь. — Народ не должен быть слишком требовательным. Послушаем же, каковы ваши законодательные проекты и официальные предложения.

— Быть может, мне уже не долго суждено давать вам советы, дерзкая девчонка! Выслушай меня, Эмилия. Я не намерен долее вредить своей репутации, составляющей часть достояния моих детей, вербуя полки танцоров, которых ты обращаешь в бегство каждую весну. Ты уже стала невольной причиной нежелательных размолвок со многими семьями. Надеюсь, что теперь ты лучше поймешь трудность своего собственного и нашего положения. Тебе двадцать два года, дочка; уже года три, как тебе пора быть замужем. Твои братья, обе твои сестры устроились богато и счастливо. Но, дитя мое, расходы, вызванные этими браками, и образ жизни, который мы принуждены вести по твоей милости, настолько превысили наши доходы, что я при всем желании не могу дать за тобой более ста тысяч франков приданого. Я намерен, не откладывая, позаботиться о будущем твоей матери, так как не хочу, чтобы она несла жертвы ради детей. Если бы

моей семье пришлось лишиться меня, Эмилия, госпожа де Фонтэн не должна ни от кого зависеть, она имеет право по-прежнему пользоваться благосостоянием, которым я слишком поздно вознаградил ее самоотверженность в тяжелые годы. Ты сама видишь, дитя мое, что скромная сумма твоего приданого не согласуется с твоими горделивыми мечтами. И тем не менее это будет жертвой, какой я не приносил еще никому из моих детей; но все они великодушно обещали никогда не упрекать нас в предпочтении, оказанном любимой дочери.

— Еще бы, они и так богаты! — заметила Эмилия, с усмешкой покачав головой.

— Дочь моя, цените тех, кто вас любит. Знайте, что только бедные великодушны. У богачей всегда найдется прекрасный повод, чтобы не дарить родственнику двадцати тысяч франков. Ну хорошо, не дуйся, дитя мое, давай поговорим серьезно. Среди молодых людей не обратила ли ты внимание на господина де Манервиля?

— Ах, нет, он сюсюкает, он вечно смотрит себе на ноги, воображая, будто они маленькие, и любуется собой! К тому же он белокурый, а я не выношу белокурых.

— Ну, а господин де Боденор?

— Он низкого происхождения. Он неуклюжий и толстый. Правда, зато он брюнет… Надо бы этим двум господам сговориться и объединить свои достоинства, чтобы первый подарил второму свою внешность и имя, а тот сохранил бы свои волосы, и тогда… может быть…

— Что ты можешь возразить против господина де Растиньяка?

— Госпожа де Нусинген сделала из него банкира, — сказала Эмилия ядовито.

— А виконт де Портандюэр, наш родственник?

— Этот юнец скверно танцует; кроме того, он без состояния. А главное, отец, все они не титулованы. Я хочу быть по крайней мере графиней, как матушка.

— Значит, за всю зиму ты никого не встретила, кто бы…

— Никого, отец.

— Чего же тебе надо?

— Сына пэра Франции.

— Дочь моя, вы с ума сошли! — воскликнул господин де Фонтэн, вставая.

Но тут он возвел глаза к небу и, казалось, почерпнул новый запас терпения в благочестивой молитве, затем, бросив полный родительского сострадания взгляд на свою дочь, искренне

растроганную, он сжал ее руку и сказал, смягчившись:

— Бедное, безрассудное создание! Бог свидетель, я добросовестно выполнил свой отцовский долг. Да что я говорю «добросовестно», — с любовью, моя маленькая Эмилия. Да, видит бог, нынешней зимой я приглашал к нам в дом немало порядочных людей, чье положение, нравственность, добродетели были мне хорошо известны, они казались мне достойными тебя. Дитя мое, задача моя выполнена. С нынешнего дня сама распоряжайся своей судьбой, я одновременно и с радостью и с огорчением слагаю с себя самую тяжкую из родительских обязанностей. Не знаю, долго ли еще тебе придется слышать голос отца, который, увы, никогда не умел быть строгим; но помни, что супружеское счастье зиждется не столько на блестящем положении и богатстве, сколько на взаимном уважении. Счастье это по природе своей скромно и не бросается в глаза. Ступай, дочь моя. Мое согласие обеспечено всякому, кого бы ты ни предложила мне в зятья, но если ты будешь несчастлива, пеняй на себя. Я не отказываюсь помочь тебе советом и делом, но пусть твой выбор будет серьезным и окончательным: я не хочу больше позорить своих седин.

Глубокая любовь, звучавшая в словах отца, торжественный тон его нравоучений растрогали мадемуазель де Фонтэн, но она скрыла свое умиление, вскочила на колени к графу, который, весь дрожа, тяжело опустился в кресло, осыпала его поцелуями и стала так нежно ласкать, что морщины старика разгладились. Когда Эмилия увидела, что отец оправился от тягостного волнения, она шепнула:

— Благодарю вас за ваше доброе внимание, батюшка. Вы даже прибрали кабинет к моему приходу. Вы не ожидали, что ваша любимая дочь окажется такой ветреной и непослушной. Но, отец, неужели так трудно выйти замуж за пэра Франции? Ведь вы же сами утверждали, что их пекут дюжинами. Ах, не откажите мне по крайней мере в совете!

— Нет, не откажу, бедное дитя, и не устану повторять тебе: берегись! Пойми же наконец, что звание пэра — столь еще недавнее явление в нашем «правительствовании», как выражался покойный король, что пэры пока еще не обладают большим состоянием. Тот, кто богат, хочет стать еще богаче. Самый состоятельный из членов нашей палаты пэров не имеет и половины доходов, которыми пользуется самый бедный

член английской палаты лордов. Поэтому пэры Франции будут искать для своих сыновей богатых наследниц в любой среде. Они принуждены заключать выгодные браки, и это продлится еще по крайней мере два столетия. Право же, твои лучшие годы пройдут в ожидании счастливого случая. А впрочем, возможно, что чары твои произведут чудо: ведь в наш век иной раз женятся по любви против воли родителей… Когда опытность скрывается за таким свежим, как у тебя, личиком, можно надеяться на самое невероятное. Ведь ты же научилась безошибочно распознавать достоинства человека в зависимости от его веса и объема! Это уже немалая заслуга. Следовательно, мне незачем предупреждать столь мудрую особу о всех трудностях затеянного ею предприятия. Я убежден, что ты никогда не поверишь в здравый смысл незнакомца, если у него вкрадчивый голос, ни в его добродетель, если он плотного сложения. Наконец, я всецело разделяю твое мнение, что сыновья пэров обязаны отличаться совсем особым видом и самыми изысканными манерами. Хотя в наши дни высокое положение внешне ничем не отмечено, но ты сразу увидишь в сыне пэра нечто неуловимое, что поможет тебе узнать его. К тому же ты крепко держишь сердце в узде, как

хороший всадник держит своего коня, чтобы он не споткнулся. Желаю удачи, дочка.

— Ты издеваешься надо мной, отец. Так вот заявляю тебе, что я лучше кончу дни в монастыре мадемуазель де Кондэ, чем выйду замуж за кого-нибудь, кроме пэра Франции.

Она выскользнула из объятий отца и, полная гордости, что отныне сама себе госпожа, убежала, напевая арию «Cara non dubitare» из «Matrimonio segreto»[15]. Как раз в этот день в доме праздновали какое-то семейное торжество. Во время десерта старшая сестра Эмилии, госпожа Плана́, жена генерального сборщика налогов, заговорила о молодом американце, обладателе громадного состояния, завидном женихе, который без памяти влюблен в ее сестру.

— Он, кажется, банкир, — небрежно заметила Эмилия. — Я не люблю финансистов.

— Однако, Эмилия, — возразил барон де Виллен, муж второй сестры мадемуазель де Фонтэн, — вы и судейских не жалуете; таким образом, если вы будете отвергать всех нетитулованных богачей, я, право, не представляю, в каком же классе общества вы выберете себе мужа.

---

[15] Примечания: 15

«Милая, оставь сомненья» — ария из комической оперы Чимарозы «Тайный брак».

— В особенности, Эмилия, при твоем пристрастии к худобе, — прибавил генерал-лейтенант.

— Я сама знаю, что мне надо, — ответила девушка.

— Сестрице нужно прекрасное имя, прекрасный юноша с прекрасным будущим и вдобавок сто тысяч франков ренты, — сказала баронесса де Фонтэн, — словом, господин де Марсе, например.

— Я уверена, душенька, — возразила Эмилия, — что никогда не выйду замуж так опрометчиво, как вышли многие на моих глазах. Да и вообще я заявляю раз и навсегда, чтобы прекратить все эти споры о замужестве: всякий, кто заговорит со мной о браке, будет отныне личным моим врагом и нарушителем моего покоя.

Тут вмешался дядюшка Эмилии, вице-адмирал, недавно присовокупивший к своим капиталам двадцать тысяч франков ренты в связи с законом о возмещении убытков[16], семидесятилетний старик, который пользовался правом говорить горькие истины своей обожаемой племяннице. Чтобы рассеять неприятный осадок от этого разговора, он воскликнул:

— Оставьте же в покое мою бедную Эмилию!

---

[16] Примечания: 16

Имеются в виду выплаты эмигрантам, пострадавшим от Великой французской революции.

Разве вы не видите, что она дожидается совершеннолетия герцога Бордосского?[17]

Эта шутка вызвала дружный хохот.

— Берегитесь, как бы я не вышла за вас, старый болтун! — отрезала девушка, последние слова которой, по счастью, были заглушены общим шумом.

— Дети мои, — сказала госпожа де Фонтэн, желая смягчить эту дерзость. — Эмилия, так же как и все вы, попросит совета у своей матери.

— О господи, в деле, касающемся меня одной, я буду слушаться только одной себя! — громко отчеканила мадемуазель де Фонтэн.

Взоры всех присутствующих обратились к главе семьи. Каждому было любопытно, как он выйдет из положения, чтобы поддержать свое достоинство. Старый вандеец пользовался всеобщим уважением не только в свете — не в пример многим, менее счастливым отцам, его высоко ставили и в собственной семье, все члены которой с благодарностью признавали его высокие достоинства и заслуги в устройстве благосостояния своих родных; поэтому он был окружен

---

[17] Примечания: 17

Граф де Шамбор, герцог Бордоский (1820–1883) — французский принц из династии Бурбонов, внук короля Карла X. Во времена действия романа ему было пять лет.

тем глубоким почтением, какое встречается по отношению к старшему представителю генеалогического древа лишь в английских семьях и только в немногих аристократических фамилиях на материке. Воцарилось глубокое молчание, и все сидящие за столом переводили глаза с надутого и дерзкого личика избалованной девушки на суровые лица супругов де Фонтэн.

— Я решил предоставить моей дочери Эмилии право самой распоряжаться своей судьбой, — произнес граф глухим и торжественным голосом.

Родственники и гости взглянули на мадемуазель де Фонтэн с любопытством, смешанным с жалостью. Слова эти, очевидно, означали, что родительское терпение истощилось в тщетной борьбе с характером Эмилии, который, по мнению всей семьи, был неисправим. Зятья зашептались, а братья насмешливо переглянулись со своими женами. С этой минуты все перестали интересоваться брачными замыслами гордой девицы. Один только старый дядя в качестве бывшего моряка решался лавировать около нее и сносил ее вспышки, бесстрашно отвечая залпом на залп.

После утверждения бюджета вся семья — верный образец парламентских семей, процветаю-

щих по ту сторону Ла-Манша, заполнивших все министерства и имеющих каждая десяток голосов в палате общин, — разлетелась на летний сезон, словно стая птиц, по окрестностям Онэ, Антони и Шатнэ. Генеральный сборщик налогов и богач Плана́ недавно приобрел в этих краях усадьбу для своей жены, наезжавшей в Париж только на время сессий. Как ни презирала прелестная Эмилия низкое происхождение, чувство это не распространялось на те преимущества, которые доставляют буржуазии накопленные ею капиталы, поэтому она соблаговолила сопровождать сестру на ее роскошную виллу, не столько из привязанности к поселившимся там родным, сколько следуя неумолимым правилам хорошего тона, предписывающим всякой уважающей себя женщине на лето покидать Париж. Зеленые луга Со как нельзя лучше отвечали всем требованиям хорошего тона.

Вряд ли слава деревенских балов в Со распространилась за пределы Сенского округа, и поэтому уместно сообщить некоторые подробности об этом еженедельном празднике, давно вошедшем в традицию. Маленький городок Со знаменит своим местоположением и живописными окрестностями. Быть может, в действительности они не

представляли ничего замечательного и обязаны своей репутацией только непритязательности парижских буржуа, которые, вырвавшись из каменных гробов, готовы восхищаться даже Босской равниной. Однако, если судить по тому, что в поэтических рощах Онэ, на холмах Антони и в долине Бьевры поселилось немало художников, изъездивших полсвета, несколько иностранцев, людей весьма разборчивых, и множество красивых женщин, известных своим вкусом, приходится признать, что парижане правы. Впрочем, Со обладает еще одной приманкой, не менее привлекательной для парижанина. Посреди парка, откуда развертываются чудесные виды, возвышается обширная, открытая со всех сторон ротонда под огромным легким куполом, покоящимся на стройных колоннах. Под этим огромным сводом находится танцевальный зал. Даже самые чопорные из окрестных помещиков раза два-три в лето приезжают полюбоваться дворцом сельской Терпсихоры — кто блестящими кавалькадами, кто в легких, изящных экипажах, обдавая пылью зазевавшихся пешеходов. Надежда встретить здесь великосветских дам и удостоиться их взгляда, а также гораздо чаще сбывающаяся надежда полюбоваться юными деревенскими плутовками

приводят по воскресеньям на бал в Со толпы адвокатских писцов, учеников Эскулапа и юношей, приобретших прозрачную бледность в сыром воздухе парижских лавок. А потому немало мещанских свадеб было решено здесь, под звуки оркестра, восседающего в центре этого круглого зала. Если бы крыша могла говорить, сколько любовных историй рассказала бы она!

Благодаря этой разноликой толпе, прекрасной местности, ротонде, великолепному парку балы в Со таили в себе такие соблазны, каких не могли предложить в то время другие балы в окрестностях Парижа. Эмилия первая выразила охоту пойти «поиграть в простонародье» на этом веселом загородном балу и поразвлечься всласть. Все были удивлены ее желанием потолкаться в толпе; но ведь инкогнито является любимой забавой высоких особ. Мадемуазель де Фонтэн заранее радовалась, представляя себе ужимки местных горожанок, она воображала, что немало мещанских сердец сохранит воспоминание об ее обольстительном взгляде и улыбке, она заранее издевалась над жеманными танцорками и чинила карандаши, рассчитывая обогатить новыми набросками страницы своего сатирического альбома. Никогда еще не ожидала она

воскресного дня с таким нетерпением. Общество, решившее почтить праздник своим присутствием, отправилось из усадьбы Плана́ пешком, чтобы не разоблачать своего высокого положения. Пообедали нарочно пораньше. Месяц май благоприятствовал этой аристократической затее, подарив путешественникам прекраснейший вечер. Мадемуазель де Фонтэн была поражена, увидев под сводом ротонды среди танцующих кадриль несколько пар, по всей видимости принадлежавших к хорошему обществу. Правда, она заметила в толпе несколько юношей, которые, вероятно, пожертвовали сбережениями целого месяца, чтобы блеснуть на этом балу, и разгадала тайну многих парочек, в чьей слишком откровенной радости не чувствовалось супружеской скуки; но в итоге урожай оказался не слишком обильным, и ей приходилось выискивать оброненные колоски. Она с изумлением видела, что веселье, одетое в ситец, ничем не отличается от веселья, наряженного в атлас, и что мещане танцуют с такой же грацией, а иногда и лучше, чем дворяне. Туалеты были по большей части скромные и к лицу. Те, кто представлял в этом обществе местных феодалов, то есть богатые крестьяне, держались в своем углу с большим

достоинством. Эмилии понадобилось немало усилий, чтобы разобраться в этом разнородном сборище, где оказалось не так-то просто найти повод для насмешек, Однако ей не хватило времени ни для язвительных замечаний, ни для того, чтобы уловить те забавные словечки, которые доставляют радость сатирикам. Гордое создание неожиданно встретило на этом пышном лугу некий цветок (сравнение по сезону), великолепие и краски которого подействовали на ее воображение обаянием новизны. Нам нередко случается смотреть на платье, на обои, на лист белой бумаги настолько рассеянно, что мы сразу не замечаем на них пятна или блестящей точки, и только позже они вдруг бросаются нам в глаза, как будто возникли лишь в ту самую минуту, как наш взгляд упал на них. В силу странного психологического явления, довольно схожего с вышеописанным, мадемуазель де Фонтэн внезапно признала в юноше, стоявшем неподалеку от нее, тот самый образец внешних совершенств, о каком мечтала с давних пор.

Она выдвинула один из грубых стульев, составлявших естественную ограду зала, и уселась впереди своих родных, чтобы встать или отойти, когда ей вздумается, наблюдая, точно на выстав-

ке в музее, живые картины и группы танцоров; она дерзко наводила лорнет на чье-нибудь лицо, хотя бы оно находилось совсем рядом, и громко делала замечания, как будто порицала или расхваливала портрет или жанровую сцену. Ее взоры, рассеянно блуждавшие по огромному ожившему полотну, внезапно привлекло лицо юноши, словно нарочно помещенного в углу картины в самом выгодном освещении, как существо особенное, выделяющееся из толпы. Незнакомец, мечтательный и одинокий, прислонился к одной из колонн, поддерживающих купол, и стоял, скрестив руки и чуть подавшись вперед, словно позировал художнику для портрета. Его поза, полная изящества и благородства, казалась совершенно естественной. Он повернулся вполоборота к Эмилии и слегка склонил голову вправо, подобно Александру, подобно лорду Байрону и прочим великим людям, и тем не менее ни один жест в нем не указывал, что он стремится привлечь к себе внимание. Его пристальный взгляд, следивший за одной парой, выдавал сильное волнение. Стройный и гибкий стан юноши напоминал дивные пропорции Аполлона. Прекрасные черные волосы вились от природы над его высоким лбом. Мадемуазель де Фонтэн с первого же взгляда

заметила, что на нем тонкая сорочка, свежие лайковые перчатки, купленные, несомненно, в хорошем магазине, заметила и небольшую ногу, обутую в изящный сапог ирландской кожи. На нем не было ни одной из тех безвкусных безделушек, какими любят себя украшать бывшие щеголи Национальной гвардии или ловеласы-приказчики. На его жилете безупречного покроя выделялась только черная лента лорнета. Еще никогда разборчивой Эмилии не приходилось видеть глаза, затененные такими длинными и загнутыми ресницами. Печалью и страстью дышало это смуглое мужественное лицо. Улыбка, казалось, вот-вот приподымет уголки красивого рта, выражая, однако, не веселость, а скорее какую-то нежную грусть. За этим челом, за всем необычайным обликом угадывалась слишком одаренная личность, чтобы можно было просто сказать: «Какой красавец!» или «Какой очаровательный юноша!» Хотелось узнать его ближе. Опытный наблюдатель непременно увидел бы в незнакомце человека незаурядного, которого привлекла на этот сельский праздник какая-то особая причина.

На все эти догадки Эмилии понадобилось не более минуты, и счастливец, подвергнутый столь

строгому анализу, был удостоен ее тайного восхищения. Она не подумала: «Он должен быть пэром Франции!», но: «О, если только он дворянин, а это, несомненно, так!..» Не докончив своей мысли, она вдруг встала и в сопровождении брата, генерал-лейтенанта, направилась к колонне, делая вид, что рассматривает веселые фигуры кадрили; но благодаря особой зоркости, присущей женщинам, от ее глаз не укрылось ни одно движение молодого человека, к которому она приближалась. Неизвестный вежливо отошел, чтобы уступить место двум новоприбывшим, и прислонился к соседней колонне. Эмилия почувствовала себя задетой, как будто вежливость незнакомца была величайшей дерзостью, и принялась болтать с братом гораздо громче, чем допускал хороший тон; она вскидывала головку, усиленно жестикулировала и смеялась без особого повода, не столько ради того, чтобы позабавить брата, как для того, чтобы привлечь внимание невозмутимого юноши. Но ни одна из ее уловок не имела успеха. Тогда мадемуазель де Фонтэн проследила направление взгляда молодого человека и угадала причину его безразличия.

Среди пар кадрили неподалеку от них танцевала бледная молодая девушка, напоминавшая

тех шотландских богинь, что изобразил Жироде на своей огромной картине «Франкские воины перед Оссианом». Эмилии пришло в голову, что это, должно быть, знатная леди, недавно поселившаяся в соседнем поместье. Ее кавалером был юнец лет пятнадцати, с красными руками, в нанковых панталонах, синем фраке и белых башмаках — очевидно, любовь к танцам делала ее нетребовательной в выборе партнеров. Видимая хрупкость и болезненность не уменьшали ее подвижности; только лицо ее оживилось, и легкий румянец окрасил бледные щеки. Мадемуазель де Фонтэн приблизилась к танцующим, чтобы лучше рассмотреть чужеземку, когда та вернется на свое место, пока ее визави будет повторять исполненную ею фигуру. Но тут к прелестной танцорке подошел незнакомец, наклонился к ней, и любопытной Эмилии удалось отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные повелительным и вместе нежным тоном:

— Клара, дитя мое, не танцуйте больше.

Клара сделала было недовольную гримаску, потом кивнула головой в знак повиновения и в конце концов улыбнулась. После кадрили юноша с заботливостью влюбленного укутал плечи девушки кашемировой шалью и усадил ее так,

чтобы ее не продуло ветром. Вскоре, заметив, что они поднялись и прогуливаются вдоль ограды, очевидно собираясь уезжать, мадемуазель де Фонтэн нашла способ последовать за ними под тем предлогом, что желает полюбоваться красотами парка. Ее брат с лукавым добродушием следовал за ней в ее беспорядочной прогулке. И вот Эмилия увидела, как прекрасная пара села в элегантную двуколку, которую сопровождал верховой ливрейный лакей; в ту минуту как молодой человек, уже сидя в коляске, выравнивал вожжи, равнодушно рассматривая толпу, он в первый раз удостоил Эмилию взглядом; после этого она с некоторым удовлетворением увидела, как он обернулся два раза подряд, и юная незнакомка последовала его примеру. Уж не ревнует ли она?

— Надеюсь, ты уже налюбовалась на парк, — сказал ей брат. — Мы можем вернуться в ротонду?

— Охотно, — отвечала она. — Не родственница ли это леди Дэдлей? Как ты думаешь?

— У леди Дэдлей может гостить родственник, — возразил барон де Фонтэн, — но молодая родственница — едва ли!..

На другой день мадемуазель де Фонтэн высказала желание покататься верхом. Она исподволь

приучила своего старого дядюшку и братьев сопровождать ее в утренних прогулках, якобы очень полезных для здоровья. Она до странности полюбила окрестности поместья, где проживала леди Дэдлей. Несмотря на все эти кавалерийские маневры, ей пока еще не удалось повстречать незнакомца, на что она надеялась, предпринимая свои экскурсии. Много раз она посещала балы в Со, но не находила там молодого англичанина, словно упавшего с небес, дабы заполнить собою и расцветить ее мечты. Хотя ничто так не подстрекает зарождающуюся любовь молодой девушки, как препятствия, однако бывали минуты, когда мадемуазель де Фонтэн готова была отказаться от своих тайных поисков; она почти отчаялась в успехе предприятия, необычность которого может дать представление о дерзости ее нрава. И действительно, она могла бы сколько угодно кружить вокруг селения Шатнэ, так и не встретив своего незнакомца, ибо юная Клара — таково было имя, расслышанное мадемуазель де Фонтэн — вовсе не была англичанкой, а тот, кого она считала иностранцем, и не думал проживать в цветущих и благоуханных рощах Шатнэ.

Однажды вечером Эмилия, катаясь верхом с дядюшкой, который с наступлением теплых дней

забыл о своей подагре, встретилась с леди Дэдлей. Рядом с прославленной иностранкой в коляске сидел господин де Ванденес. Эмилия узнала эту красивую пару, и все ее предположения рассеялись, как сон. С чувством досады, которая овладевает всякой женщиной, обманутой в своих ожиданиях, она резко дернула поводья и так разогнала своего коня, что ее дядюшке стоило огромных трудов угнаться за ней.

«Должно быть, я слишком состарился, чтобы понимать двадцатилетних фантазерок, — думал моряк, подымая лошадь в галоп, — или, может быть, нынешняя молодежь не похожа на прежнюю. Но что это с моей племянницей? Теперь она трусит мелкой рысцой, точно жандармский патруль по улицам Парижа. Уж не хочет ли она перерезать дорогу вон тому честному буржуа с альбомом в руках? Он похож на поэта, обдумывающего стихи. Черт возьми, какой же я болван! Да не за этим ли юношей мы охотимся все эти дни?»

При этой мысли старый моряк перевел своего коня на рысь и постарался догнать Эмилию, не привлекая ее внимания. У самого вице-адмирала было на совести немало похождений в 1771 году и позже, в ту эпоху, когда любовные интрижки

были у нас в чести, и он сразу понял, что Эмилия совершенно случайно встретила незнакомца, замеченного ею на балу. Хотя зоркость его серых глаз и затуманилась с годами, граф де Кергаруэт сумел прочесть признаки необычайного волнения на лице племянницы, как ни старалась она казаться невозмутимой. Сверкающие взоры девушки в каком-то оцепенении впились в незнакомца, который мирно шагал впереди нее.

«Так и есть! — решил моряк. — Теперь она пойдет за ним на буксире, как торговое судно за корсаром. Потом, когда он исчезнет из виду, она будет терзаться, не зная, в кого влюбилась и кто он такой — маркиз или мещанин. Право же, молодым ветреницам не мешает иметь под боком старого морского волка вроде меня...»

Внезапно он пустил свою лошадь вскачь, постаравшись увлечь за собой коня племянницы, и с такой быстротой промчался между нею и молодым пешеходом, что вынудил последнего отскочить к зеленому откосу, окаймлявшему дорогу. Круто осадив своего скакуна, граф крикнул:

— Могли бы, кажется, посторониться!

— Ах, простите, сударь, — отвечал незнакомец. — Я и не знал, что мне полагается извиниться за то, что вы чуть не сшибли меня с ног.

— Э, полно болтать, приятель! — резко оборвал его моряк язвительным тоном, в котором звучало что-то оскорбительное.

Тут граф замахнулся хлыстом, как бы намереваясь стегнуть лошадь, и, коснувшись плеча собеседника, проговорил:

— Либеральные буржуа — резонеры, а всякий резонер должен быть благоразумен.

Услышав эту колкость, юноша поднялся на откос дороги; он скрестил руки на груди и ответил с горячностью:

— Сударь, судя по вашим сединам, трудно поверить, что вас все еще привлекают дуэли.

— Сединам? — закричал моряк с возмущением. — Ты нагло лжешь, волосы у меня только с проседью!

Спор, начатый в таком тоне, в несколько секунд принял столь жаркий оборот, что молодой человек перестал сдерживаться. Но граф Кергаруэт, увидев, что его племянница скачет к ним с выражением мучительной тревоги на лице, назвал противнику свое имя и попросил его молчать в присутствии юной особы, доверенной его попечениям. Неизвестный не мог удержаться от улыбки и протянул старому моряку свою визитную карточку, сообщив, что снимает домик в Шеврезе,

затем, указав туда дорогу, поспешил удалиться.

— Вы чуть было не искалечили этого несчастного штафирку, племянница, — сказал граф, поворачивая навстречу Эмилии. — Разве вы разучились держать коня в узде? Вы предоставили мне одному заглаживать ваши безумства, подвергая риску мое достоинство; между тем будь вы здесь, одного вашего взгляда или приветливого слова — а ведь вы умеете быть любезной, когда не дерзите, — было бы достаточно, чтобы все уладить, даже если бы по вашей милости он сломал себе руку.

— Ах, милый дядя, во всем виновата ваша лошадь, а вовсе не моя. Право, мне кажется, что вам становится трудно ездить верхом, вы уже не такой лихой наездник, как в прежние годы. Но вместо того чтобы болтать пустяки…

— Черта с два! Пустяки! Разве это пустяк — нагрубить своему дяде?

— Может быть, нам следует узнать, не ранен ли этот молодой человек? Ведь он хромает, дядя, посмотрите же.

— Да нет, он несется на всех парусах. Ну и здорово же я его отчитал!

— Ах, дядюшка, узнаю вас!

— Стой, племянница, — сказал граф, схватив

под уздцы коня Эмилии. — Я не вижу надобности заискивать перед каким-то лавочником, который должен быть только польщен, что его сшибла с ног очаровательная барышня или командир корабля «Бель-Пуль».

— Почему вы думаете, что он из простых, милый дядя? Мне показалось, что у него прекрасные манеры.

— Нынче у всех хорошие манеры, племянница.

— Нет, дядюшка, далеко не у всех такой вид и обращение, это приобретается только в свете; и я готова держать пари, что этот юноша — дворянин.

— Да у вас и времени-то не было рассмотреть его как следует.

— Но я уже не в первый раз его вижу.

— И уже не в первый раз за ним охотитесь! — со смехом отпарировал адмирал.

Эмилия покраснела; дядя, вдоволь насладившись ее замешательством, сказал наконец:

— Эмилия, вы знаете, я люблю вас, как родную дочь, особенно за то, что вы единственная из всей семьи сохранили вполне законную гордость, которая оправдана высоким рождением. Черт побери, племянница, кто бы мог подумать, что добрые правила станут такой редкостью? Ну так

вот, я хочу быть доверенным ваших тайн. Милая крошка, я вижу, что этот юный дворянин вам небезразличен. Тсс! Домашние будут издеваться над нами, если мы отчалим под пиратским флагом. Вы понимаете, что это значит. Так позвольте же мне прийти вам на помощь, племянница. Будем оба хранить нашу тайну, и я обещаю привести его к нам в гостиную.

— Когда же, дядя?

— Завтра.

— Но, милый дядюшка, надеюсь, это меня ни к чему не обяжет?

— Решительно ни к чему. В вашей воле обстрелять его, поджечь или даже потопить, как старое, негодное судно. Ведь вам это не впервые, сознайтесь?

— До чего же вы добры, дядюшка!

Приехав домой, граф тотчас надел очки, потихоньку вытащил из кармана визитную карточку и прочел: *Максимилиан Лонгвиль, улица Сантье.*

— Будьте спокойны, дорогая племянница, — сказал он Эмилии, — вы можете взять его на абордаж со спокойной совестью: он принадлежит к древнему историческому роду, и если он не пэр Франции, то непременно им будет.

— Откуда вам это известно?

— Это моя тайна.

— Значит, вы знаете, как его зовут?

Граф молча кивнул; его седовласая голова напоминала вершину старого дуба, на которой еще осталось несколько листочков, свернувшихся от осенней стужи; обрадованная Эмилия решила в сотый раз испытать на нем неотразимое могущество своего кокетства. Она в совершенстве владела искусством обольщать старого дядюшку; расточая ему самые трогательные ласки, самые нежные слова, она снизошла даже до поцелуев, чтобы только добиться от него разоблачения важной тайны. Но старик, который постоянно заставлял племянницу разыгрывать подобные сцены и обычно вознаграждал ее то новой драгоценностью, то ложей в Итальянской опере, теперь остался глух к ее просьбам и даже ласкам. Так как на сей раз он слишком долго злоупотреблял этим удовольствием, Эмилия рассердилась, перешла от ласк к насмешкам и надулась, потом смирилась, одолеваемая любопытством. Хитрый моряк добился от племянницы торжественного обещания быть на будущее время сдержаннее, мягче, менее своенравной, тратить меньше денег, а главное, обо всем с ним советоваться. Когда договор был заключен и скреплен поцелуем,

запечатленным на белоснежном лбу Эмилии, старик увел ее в уголок гостиной, усадил к себе на колени, зажал визитную карточку в руке и, приоткрывая букву за буквой, дал прочесть фамилию ЛОНГВИЛЬ, но ни за что не согласился показать адрес. Это происшествие еще более усилило тайную любовь мадемуазель де Фонтэн, и в воображении ее почти всю ночь развертывались самые блистательные картины, самые радужные надежды, которые она лелеяла в своих мечтах. Наконец-то благодаря долгожданному случаю Эмилия впервые видела не химеры, а нечто реальное у источника всех тех великолепий, какими она мысленно украшала свою будущую брачную жизнь. Подобно всем юным существам, не ведающим горестей любви и супружества, она увлеклась обманчивой внешней стороной супружества и любви. Чувство ее зародилось, как зарождаются почти все прихоти юности, сладкие и жестокие заблуждения, оказывающие столь роковое влияние на судьбу молодых девушек, еще недостаточно опытных, чтобы самим заботиться о своем будущем счастье. На другое утро, пока Эмилия еще спала, ее дядя поспешил в Шеврез. Заметив в саду изящного загородного домика юношу, которого он так грубо оскорбил накануне,

моряк подошел к нему с изысканной любезностью, отличающей вельмож старого времени.

— Ах, сударь мой, кто бы мог подумать, что я, дожив до семидесяти трех лет, затею ссору с сыном или внуком одного из лучших моих друзей? Я вице-адмирал, сударь. Не стоит и говорить, что подраться на дуэли для меня такой же пустяк, как выкурить сигару. В мое время молодые люди становились приятелями не иначе, как пролив кровь друг друга. Но — тысяча чертей! — вчера я в качестве старого моряка погрузил на борт слишком много рому и наскочил на вас. По рукам! Я предпочитаю проглотить сотню колкостей от одного из Лонгвилей, чем причинить малейшую неприятность его семье.

Как ни старался юноша выказать холодность графу Кергаруэту, он не мог устоять против чистосердечного добродушия и охотно пожал ему руку.

— Вы собираетесь ехать верхом, — сказал граф. — Пожалуйста, не хочу вас стеснять. Но если у вас нет никаких определенных планов, едемте со мной, я приглашаю вас отобедать сегодня в нашей усадьбе. С таким человеком, как мой шурин, граф де Фонтэн, стоит познакомиться. Э, черт возьми, я надеюсь загладить свою грубость, пред-

ставив вас пятерым красивейшим женщинам Парижа. Ага, юноша, ваш нахмуренный лоб разгладился! Люблю молодых людей, люблю видеть счастливый блеск их глаз! Их счастье напоминает мне благословенные годы моей юности, когда не было недостатка ни в любовных приключениях, ни в дуэлях. Как веселились в ту пору! Теперь же вы, юные старички, любите рассуждать и тревожиться по пустякам, как будто у нас не было ни пятнадцатого, ни шестнадцатого века.

— Но, сударь, разве мы не правы? Шестнадцатый век принес Европе только свободу религиозную, а девятнадцатый даст ей свободу полити…

— Ох, не будем говорить о политике. Я ведь тупоумный ультрароялист. Но я не препятствую молодым людям быть революционерами, лишь бы они предоставили королю свободу разгонять их сборища.

Проехав несколько шагов, граф со своим юным спутником оказались в чаще леса. Тут старый моряк выбрал молодую тонкую березку, остановил лошадь, поднял пистолет и всадил пулю в самую середину ствола на расстоянии пятнадцати шагов.

— Вы сами убедились, мой друг, что мне нечего бояться дуэли, — сказал он, глядя на Лонгвиля с

комичной важностью.

— Так же, как и мне, — возразил Лонгвиль, затем зарядил пистолет, прицелился и всадил свою пулю совсем рядом с отверстием, пробитым пулей графа.

— Вот это я называю хорошо воспитанный юноша! — воскликнул моряк в восторге.

Во время прогулки граф уже начал смотреть на своего спутника как на будущего племянника и нашел множество поводов расспросить о всевозможных мелочах, которые, по его понятиям, необходимо было знать настоящему дворянину.

— Есть у вас долги? — спросил он наконец у своего спутника в заключение беседы.

— Нет, сударь.

— Как? Вы оплачиваете наличными все, что вам поставляют?

— Аккуратно оплачиваем, сударь: иначе мы потеряли бы кредит и всеобщее уважение.

— Но у вас по крайней мере есть любовница? Ага, вы краснеете, приятель!.. Нравы сильно изменились. Все эти нынешние идеи правопорядка, кантианства и свободы испортили молодежь. У вас нет ни красавицы Гимар, ни Дютэ[18], ни

---

[18] Примечания: 18
Перечисляются французские куртизанки.

кредиторов, и вы не знаете геральдики. Ах, юный друг, да вы еще не обтесались! Знайте, кто не совершал безрассудств в дни весны, тот совершает их в зимнюю пору. Если в семьдесят лет у меня восемьдесят тысяч франков ренты, значит в тридцать лет я промотал целое состояние. Конечно, самым благородным образом, вместе с моей женой. Тем не менее ваши недостатки не помешают мне ввести вас в усадьбу Плана́. Помните, вы обещали туда явиться, и я буду вас ждать.

«Какой чудак старикашка, — подумал молодой Лонгвиль. — Он весельчак и забавник, но, хоть и притворяется добрым малым, я бы ему не доверился».

На следующий день около четырех часов, когда обитатели усадьбы Плана́ частью разбрелись по гостиным, частью играли на бильярде, лакей торжественно доложил: «Господин де Лонгвиль». При имени нового любимца графа Кергаруэта сбежались все, даже только что промахнувшийся игрок на бильярде, — отчасти для того, чтобы посмотреть, как будет себя держать мадемуазель де Фонтэн, отчасти затем, чтобы полюбоваться чудом в человеческом образе, удостоившимся, в посрамление стольким соперникам, ее похвального отзыва. Элегантный и вместе с тем

скромный костюм, непринужденные манеры, вежливое обхождение, приятный голос задушевного тембра снискали господину Лонгвилю благоволение всей семьи. Его, видимо, нисколько не поразила роскошь обстановки тщеславного сборщика налогов. Хотя он вел обычный светский разговор, было заметно, что он получил блестящее образование и что знания его столь же основательны, как и разносторонни. Он так удачно подыскал подходящий термин в довольно поверхностном споре о кораблестроении, затеянном старым моряком, что одна из дам высказала предположение, не окончил ли он Политехническое училище.

— Мне кажется, сударыня, и поступить туда уже большая честь, — отвечал он.

Несмотря на настоятельные просьбы отобедать, он вежливо, но решительно отказался и положил конец уговорам дам, заявив, что выполняет обязанности Гиппократа при своей младшей сестре, слабое здоровье которой требует неусыпных забот.

— Вы, вероятно, врач? — насмешливо спросила одна из невесток Эмилии.

— Да нет же, господин Лонгвиль окончил Политехническое училище, — ласково возразила

мадемуазель де Фонтэн, лицо которой вспыхнуло ярким румянцем, лишь только она узнала, что молодая девушка, танцевавшая на балу, приходится ее избраннику сестрой.

— Но, милочка, можно быть врачом и одновременно учиться в Политехническом училище. Не правда ли, сударь?

— Ничто не препятствует этому, сударыня, — отвечал юноша.

Все взоры обратились к Эмилии, смотревшей на обольстительного незнакомца с каким-то тревожным любопытством. Она с облегчением вздохнула, когда тот прибавил с улыбкой:

— Я не имею чести быть врачом, сударыня, и в свое время отказался поступить на службу в ведомство путей сообщения, желая сохранить свою независимость.

— И хорошо сделали, — сказал граф. — Но как можете вы считать почетным ремесло врача? — добавил высокородный бретонец. — Ах, юный друг мой, для человека вашего круга…

— Граф, я бесконечно уважаю всякое занятие, имеющее целью общественную пользу.

— Что ж, мы с вами столкуемся: мне кажется, вы уважаете эти профессии, как юноши уважают богатых вдов.

Визит господина Лонгвиля был ни слишком продолжительным, ни слишком кратким. Гость откланялся в тот самый момент, когда заметил, что понравился всем присутствующим и сумел возбудить любопытство каждого.

— Ну и хитрый малый! — объявил граф, возвратившись в гостиную, после того как проводил гостя.

Мадемуазель де Фонтэн, единственная посвященная в тайну этого визита, оделась как можно изысканнее, чтобы привлечь взоры молодого человека, и была слегка огорчена, что он не уделил ей того внимания, какого она, по ее мнению, заслуживала. Все домашние были удивлены упорным молчанием Эмилии. Обычно она старалась ослепить новых знакомцев своим кокетством, остроумной болтовней и неистощимым красноречием взглядов и поз. Потому ли, что мелодичный голос юноши и приятность его обхождения обворожили ее, потому ли, что она полюбила по-настоящему и это чувство произвело в ней перемену, только все ее жеманство пропало. Став простой и естественной, она, разумеется, стала еще прекраснее. Ее сестры и одна пожилая дама, друг семьи де Фонтэнов, приняли такое поведение за утонченное кокетство. Они

решили, что, сочтя молодого человека достойным себя, Эмилия намеревалась лишь постепенно обнаружить перед ним свои совершенства, чтобы затем ослепить его внезапно, как только она ему понравится. Всем членам семьи было крайне любопытно узнать, что думает о незнакомце эта своенравная девица; однако за обедом, в то время как каждый наперерыв старался наделить господина Лонгвиля новыми достоинствами, предполагая, что открыл их первым, мадемуазель де Фонтэн все еще оставалась безмолвной; добродушная насмешка дядюшки пробудила ее вдруг от задумчивости, и она заявила довольно язвительным тоном, что под такими небесными совершенствами должен непременно таиться какой-нибудь крупный недостаток и что она поостережется судить с первого взгляда о таком слишком уж обходительном человеке.

— Тот, кто нравится всем, в сущности, не нравится никому, — добавила она. — Самый худший изо всех недостатков — это не иметь их вовсе.

Подобно всем влюбленным девушкам, Эмилия обольщала себя надеждой скрыть свое чувство в глубине сердца и ввести в заблуждение окружающих ее аргусов; однако недели через две не осталось ни одного из членов многочисленного

семейства, не посвященного в эту маленькую домашнюю тайну. При третьем посещении господина Лонгвиля Эмилии показалось, что он приходит главным образом ради нее. Такое открытие доставило ей столь бурную радость, что она сама была поражена, осознав это. Привыкнув считать себя центром мироздания, она вдруг принуждена была признать некую силу, увлекавшую ее за пределы ее орбиты; она попробовала возмутиться, но не в силах была изгнать из своего сердца пленительный образ юноши. Вскоре за тем начались волнения и тревоги. Лонгвиль отличался двумя качествами, крайне неудобными для всеобщего любопытства и в особенности для любопытства Эмилии, — а именно сдержанностью и скромностью. Все тонкие уловки, применяемые Эмилией во время разговора, и все западни, расставляемые ею с целью выспросить у молодого человека подробности о нем самом, он обходил с ловкостью дипломата, не желающего открыть своей тайны. Заводила ли она разговор о живописи, Лонгвиль отвечал как знаток. Садилась ли она за фортепьяно, юноша без всякого хвастовства доказывал, что одарен недюжинным музыкальным талантом. Однажды вечером он привел все общество в восхищение, присоединив

свой чудный голос к голосу Эмилии в одном из прекраснейших дуэтов Чимарозы; но когда кто-то осведомился, не артист ли он, он отшутился с таким изяществом, что ни одной из дам, как ни изощрены они были в умении читать в сердцах, не удалось выяснить, к какому кругу общества он принадлежит. Как ни старался отважный старый моряк взять это судно на абордаж, Лонгвиль ловко увертывался, желая сохранить все очарование тайны; ему тем легче удавалось оставаться прекрасным незнакомцем в усадьбе Планá, что любопытство никогда не преступало там границ вежливости. Эмилия, встревоженная такой скрытностью, возмечтала, что сможет больше узнать от сестры, чем от брата. При поддержке дядюшки, столь же искушенного в светских маневрах, как и в маневрах флота, она сделала попытку вывести на сцену новое действующее лицо, до сих пор безмолвное: мадемуазель Клару Лонгвиль. Вскоре все обитатели усадьбы выразили горячее желание познакомиться с такой прелестной особой и развлечь ее. Было передано и принято приглашение на бал в семейном кругу. Женщины не теряли надежды заставить разговориться шестнадцатилетнюю девушку.

Несмотря на небольшие тучки, принесенные

неудовлетворенным любопытством и скопившиеся под влиянием подозрений, душа мадемуазель де Фонтэн утопала в ярком сиянии, и она радостно наслаждалась жизнью, думая теперь не только о самой себе: она начинала считаться с интересами других. Потому ли, что счастье делает нас добрее, потому ли, что Эмилия была слишком занята, чтобы мучить близких, но она стала менее язвительной, более терпимой, более мягкой. Удивленные родственники не могли нарадоваться перемене в ее характере. Быть может, ее эгоизм просто перерождался в любовь. Поджидать прихода своего робкого и тайного обожателя доставляло ей глубокую радость. Хотя между ними не было произнесено ни одного слова любви, она знала, что любима; и с каким же искусством умела она заставить юношу раскрывать перед ней все сокровища его необычайно разносторонних знаний. Она заметила, что ее тоже внимательно изучают, и пыталась побороть недостатки, привитые ей воспитанием. Не было ли это первой данью, принесенной любви, и жестоким упреком по отношению к самой себе? Она желала понравиться — и обворожила; она полюбила — и стала предметом обожания. Родители, зная, что ее надежно охраняет собственная гордыня,

предоставляли ей полную свободу наслаждаться маленькими невинными радостями, придающими такое нежное очарование первой любви. Не раз случалось, что Максимилиан и мадемуазель де Фонтэн гуляли вдвоем по аллеям парка, где природа была нарядной, словно женщина в бальном уборе. Не раз вели они те бесцельные и бессвязные беседы, где в самых пустых по смыслу фразах скрывается самое глубокое чувство. Часто они вместе любовались солнечным закатом и его пышными красками. Они собирали маргаритки, обрывали с них лепестки и распевали самые страстные дуэты, пользуясь созданными Перголезе или Россини мелодиями как верными посредниками для передачи своих тайн.

Наступил день бала. Клара Лонгвиль и ее брат, к фамилии которых лакеи упрямо добавляли дворянскую частицу «де», были героями празднества. В первый раз в жизни мадемуазель де Фонтэн с удовольствием следила за блестящим успехом другой девушки. Она искренне расточала Кларе нежные ласки и те мелкие знаки внимания, которыми обычно женщины обмениваются лишь для того, чтобы вызвать ревность мужчин. Но у Эмилии была иная цель: она хотела выведать тайну. Однако шестнадцатилетняя мадемуазель

Лонгвиль проявила еще больше тонкости и находчивости, нежели ее брат; она даже не казалась скрытной, но ловко умела переводить разговор на темы, чуждые материальным интересам, внося в свои речи столько очарования, что мадемуазель де Фонтэн почувствовала к ней нечто вроде зависти и прозвала ее «сиреной». Эмилия замышляла заставить Клару разговориться, а на деле Клара выспрашивала ее; Эмилия хотела разгадать Клару — и была сама ею разгадана. Эмилия часто досадовала, что обнаружила свой характер несколькими необдуманными словами, которые лукаво вырвала у нее Клара, хотя скромный и невинный вид этой юной девушки рассеивал всякое подозрение в коварстве. Настала минута, когда мадемуазель де Фонтэн пришлось горько раскаяться в неосторожном выпаде против людей низкого происхождения, на что ее подстрекнула Клара.

— Мадемуазель, — обратилось к ней обворожительное создание, — я столько слышала про вас от Максимилиана, что из привязанности к нему испытывала живейшее желание вас узнать; а пожелать вас узнать — не значит ли желать вас полюбить?

— Дорогая Клара, я боялась, что вам не понра-

вятся мои суждения о людях незнатного рода.

— О, не беспокойтесь. В наше время подобные споры лишены всякого смысла. Меня лично они не задевают: я вне этого.

Как ни высокомерен был этот ответ, он доставил мадемуазель де Фонтэн живейшую радость; подобно всем страстным натурам, она истолковала его, как толкуют оракула, — то есть в том смысле, какой наиболее согласовался с ее желаниями, — и возвратилась к танцам в самом радужном настроении, любуясь Лонгвилем, внешность и изящество которого, пожалуй, даже превосходили совершенства созданного ею идеала. Она испытывала удовлетворение от мысли, что он дворянин; ее черные глаза сверкали, она танцевала с тем упоением, какое испытываешь близ любимого существа. Никогда еще между влюбленными не было такого взаимного понимания, как в эту минуту; не раз, когда законы контрданса сочетали их, чувствовали они трепет и дрожь в кончиках пальцев.

Прелестная пара провела все лето среди сельских празднеств и увеселений, незаметно отдаваясь чувству, самому сладостному в жизни, скрепляя его множеством разных пустяков, понятных всякому, — ведь все любовные истории

более или менее похожи одна на другую. Оба они изучали друг друга, насколько можно изучить, когда любишь.

— Никогда еще любовное приключение не вело таким быстрым шагом к браку по любви, — говорил старый дядя, наблюдавший за молодыми людьми с тем же вниманием, с каким естествоиспытатель рассматривает в микроскоп каких-нибудь насекомых.

Эти слова напугали супругов де Фонтэн. Старый вандеец перестал относиться к замужеству дочери так безразлично, как некогда ей обещал. Он отправился в Париж навести справки, но ничего не узнал. Обеспокоенный такой таинственностью и не зная еще, каковы будут результаты расследования о семье Лонгвилей, порученного им одному парижскому должностному лицу, он счел своей обязанностью предупредить дочь, чтобы она вела себя осмотрительнее. Эмилия выслушала отцовское предостережение с притворной покорностью, полной иронии.

— По крайней мере, дорогая Эмилия, если ты любишь его, не признавайся ему!

— Да, батюшка, я люблю его, это правда, но я подожду вашего разрешения, чтобы сказать ему об этом.

— Однако подумай, Эмилия, ты же еще ничего не знаешь ни о его семье, ни о его положении.

— Если и не знаю, то лишь потому, что не хочу знать. Но, батюшка, ведь вы сами выразили желание видеть меня замужем, вы предоставили мне свободу выбора. Мой выбор сделан бесповоротно, чего же еще надо?

— Надо узнать, милое дитя, действительно ли твой избранник сын пэра Франции, — насмешливо отвечал почтенный дворянин.

Эмилия помолчала с минуту. Затем подняла голову, взглянула на отца и спросила с некоторым беспокойством:

— Разве род Лонгвилей…

— Их род угас в лице старого герцога де Ростен-Лембур, погибшего на эшафоте в 1793 году. Он был последним отпрыском последней младшей ветви.

— Но, отец, бывают весьма почтенные семьи, происходящие от побочной линии. В истории Франции немало принцев, у которых на гербе стояла косая полоса.

— Твой образ мыслей сильно переменился, — с улыбкой заметил старый дворянин.

Следующий день был последним, который семья Фонтанов проводила в усадьбе Плана́.

Эмилия, сильно встревоженная словами отца, с живейшим нетерпением ждала часа, когда обычно приходил молодой Лонгвиль, надеясь добиться у него решительного слова. После обеда она вышла и углубилась в парк, направляясь к «роще признаний», где, как она знала, будет ее искать нетерпеливый юноша; и, спеша туда, она раздумывала, каким образом, не выдавая себя, выпытать столь важную для нее тайну. Задача довольно трудная! До сих пор чувство, соединявшее ее с этим незнакомцем, не было подтверждено открытым признанием. Так же как и Максимилиан, она втайне упивалась сладостью первой любви, но каждый из них, не уступая другому в гордости, как будто страшился признаться, что любит.

Максимилиан Лонгвиль, обеспокоенный довольно основательными подозрениями Клары относительно характера Эмилии, то поддавался порывам юношеской страсти, то колебался, желая узнать и испытать женщину, которой собирался вверить свое счастье. Влюбленность не мешала ему разгадать ложные предрассудки Эмилии, портившие эту юную натуру; но он хотел знать, любим ли он, прежде чем вступить с нею в борьбу, ибо не желал рисковать ни любовью своей, ни своим будущим. Поэтому он упорно хранил

молчание, которое, однако, опровергали его пылкие взгляды, его обращение и все его поступки. С другой стороны, естественная девичья гордость, еще усугубленная у мадемуазель де Фонтэн нелепым чванством своей знатностью и красотой, препятствовала ей первой сказать слово любви, а все возрастающая страсть порою побуждала ее добиваться признания юноши. Таким образом, оба влюбленных чутьем понимали состояние друг друга, не открывая своих тайных опасений. В иные моменты жизни молодым существам нравится неопределенность. Именно потому, что и она и он слишком долго медлили заговорить, оба как будто обратили это ожидание в жестокую игру. Максимилиан решил, что он удостоверится в ее любви по тому усилию, какого будет стоить признание его гордой возлюбленной; Эмилия надеялась, что он с минуты на минуту нарушит свое слишком почтительное молчание.

Сидя на деревянной скамье, Эмилия размышляла обо всем, что произошло за эти три месяца, полных очарования. Подозрения отца меньше всего способны были затронуть ее, она даже пыталась опровергнуть их разными доводами, которые ей, неопытной девушке, представлялись убедительными. Прежде всего, она не допускала

и мысли, что ошиблась в своем избраннике. За все лето она не могла не подметить у Максимилиана ни одного жеста, ни одного слова, обличавшего в нем низкое происхождение или профессию; больше того, его манера спорить обнаруживала человека, занятого высшими государственными интересами.

«К тому же, — думала она, — откуда чиновнику, банковскому служащему или коммерсанту взять столько досуга, чтобы жить целое лето среди полей и лесов, чтобы ухаживать за мной, располагая своим временем так же свободно, как дворянин, которому вся жизнь впереди обеспечена?»

Она предалась мечтам, гораздо более увлекательным, нежели эти соображения, как вдруг легкий шорох листьев возвестил, что уже несколько минут за ней и, конечно, с восхищением наблюдает Максимилиан.

— Разве вы не знаете, что подглядывать за девушками очень дурно? — сказала она, улыбаясь.

— Особенно, когда они углублены в свои тайны, — лукаво отвечал Максимилиан.

— Почему бы мне не иметь тайн? Ведь у вас же они есть?

— Так вы и в самом деле думали о своих тайнах? — продолжал он, смеясь.

— Нет, я думала о ваших. Свои-то я знаю.

— Но, быть может, — тихо спросил юноша, взяв под руку мадемуазель де Фонтэн, — быть может, мои тайны те же, что ваши, а ваши — те же, что мои?

Пройдя несколько шагов, они очутились в роще, окутанной в закатных лучах золотисто-красной дымкой. Волшебство природы придавало особую торжественность этой минуте. Непринужденное и свободное обращение юноши, а также бурное волнение его сердца, передававшееся руке Эмилии учащенным биением пульса, привели ее в восторженное состояние, тем более упоительное, что вызвано оно было самым простым и невинным поводом. Строгая сдержанность, в которой воспитываются девушки высшего круга, придает необычайную силу вспышкам их чувства, и здесь-то их подстерегает грозная опасность, если на их пути встретится пылкий влюбленный. Впервые Эмилия и Максимилиан прочли во взорах друг друга столько признаний, неизъяснимых словами! Поддавшись увлечению, они легко позабыли мелочные требования гордости и холодные предостережения рассудка. Первые минуты они молчали, и только красноречивое пожатие рук выдавало их сладостные мысли.

— Сударь, мне надо задать вам один вопрос, — дрожащим голосом, взволнованно промолвила мадемуазель де Фонтэн, нарочно замедлив шаг. — Но поймите, бога ради, что он подсказан мне тем странным положением, в какое я поставлена перед моей семьей.

Ужасное для Эмилии молчание наступило после этих слов, которые она пролепетала, почти заикаясь. Гордая девушка не могла выдержать сверкающего взгляда любимого человека, так как смутно почувствовала всю низость вопроса, который готовилась задать.

— Вы дворянин?

Произнеся эти слова, она готова была провалиться сквозь землю.

— Мадемуазель, — торжественно произнес Лонгвиль с выражением, полным сурового достоинства, — обещаю вам сказать всю правду, если вы искренне ответите на мой вопрос.

Он выпустил руку девушки, которая вдруг почувствовала себя одинокой в целом свете, и сказал:

— Ради чего вы спрашиваете меня о моем происхождении?

Она стояла неподвижная, застывшая и безмолвная.

— Мадемуазель, — продолжал Максимилиан, — нам лучше покончить на этом, раз мы не понимаем друг друга. Я люблю вас, — прибавил он глухим и растроганным голосом. — Ну вот видите! — сказал он весело, услышав радостное восклицание, невольно сорвавшееся с губ девушки. — Зачем же вы спрашиваете, дворянин ли я?

«Разве мог бы он так говорить, если бы не был дворянином?» — подсказал Эмилии внутренний голос, который словно шел из самых глубин ее души. Она грациозно вскинула головку, как будто почерпнув новые силы во взгляде юноши, и протянула ему руку в знак сердечного согласия.

— А вы думали, что я так уж дорожу высоким званием? — спросила она с тонким лукавством.

— У меня нет титула, который я мог бы предложить моей жене, — отвечал он не то шутливо, не то серьезно. — Но если я выберу девушку из знатной семьи, с детства привыкшую к роскоши и утехам богатства, я знаю, к чему обязывает меня такой выбор. Любовь дарует все, — прибавил он весело, — но только любовникам. Супругам же нужно нечто более существенное, чем купол небес и ковер лугов.

«Он богат, — подумала она, — а что до титула, должно быть, он просто хочет испытать меня!

Вероятно, ему сказали, что я помешана на знатности и решила выйти только за пэра Франции. Мои кривляки-сестры вполне могли сыграть со мной такую шутку».

— Уверяю вас, сударь, — сказала она вслух, — у меня были превратные представления о жизни и свете; но теперь, — продолжала она, глядя на него с таким выражением, что чуть не свела его с ума, — теперь я знаю, в чем заключаются истинные сокровища.

— Я жажду верить, что вы говорите от чистого сердца, — ответил он с ласковой серьезностью. — Дорогая Эмилия, этой зимой, меньше чем через два месяца, я буду горд тем, что смогу предложить вам, если вы дорожите преимуществами богатства. Это единственная тайна, какую я сохраню здесь, — сказал он, указывая на сердце, — ибо от успеха ее зависит мое счастье, я не смею назвать его нашим.

— Ах, назовите, назовите!

Беседуя самым нежным образом, они медленно возвратились в гостиную и присоединились к остальным. Никогда еще мадемуазель де Фонтэн не находила своего избранника таким очаровательным и остроумным; его стройная фигура, его любезные манеры казались ей еще привлека-

тельнее после недавнего их разговора, подтвердившего, что она завладела сердцем, достойным зависти всех женщин. Они спели итальянский дуэт с таким чувством, что слушатели наградили их восторженными аплодисментами. Они распрощались с таинственным и многозначительным видом, тщетно пытаясь скрыть свое счастье. Словом, в этот день девушка почувствовала, что какая-то цепь еще теснее связала ее судьбу с судьбой незнакомца. Твердость и достоинство, проявленные им во время объяснения, когда они открылись друг другу в своих чувствах, внушили мадемуазель де Фонтэн то уважение, без какого немыслима истинная любовь. Когда они с отцом остались в гостиной одни, почтенный вандеец подошел к ней, нежно взял ее за руки и спросил, удалось ли ей что-либо выяснить относительно состояния и семьи господина Лонгвиля.

— Да, дорогой батюшка, — отвечала она, — я счастливее, чем могла надеяться. Словом, господин Лонгвиль — единственный, за кого я хотела бы выйти замуж.

— Хорошо, Эмилия, — промолвил граф, — теперь я знаю, что мне делать.

— Разве вы имеете в виду какое-нибудь препятствие? — спросила она с искренней тревогой.

— Милое дитя, этот молодой человек нам совершенно неизвестен. Но если ты его любишь, он будет мне дорог, как родной сын, лишь бы он не оказался бесчестным человеком.

— Бесчестным человеком! — воскликнула Эмилия. — На этот счет я совершенно спокойна. Дядюшка, который представил его нам, может за него поручиться. Скажите же, дядюшка, был ли он когда-нибудь морским разбойником, пиратом или корсаром?

— Так я и знал, что меня ввяжут в эту историю! — вскричал старый моряк со смехом.

Он оглянулся кругом, но племянница его уже упорхнула из гостиной, словно блуждающий огонек, как он имел обыкновение говорить.

— Что же это, дядя? — обратился к нему господин Фонтэн. — Как вы могли скрывать от нас, что вам известно об этом юноше? Вы же видели, как мы все беспокоимся. Господин Лонгвиль действительно из хорошей семьи?

— Я не знаю его рода ни со стороны Евы, ни со стороны Адама! — воскликнул граф де Кергаруэт. — Доверившись выбору этой ветреной девчонки, я привел к ней ее Сен-Пре[19]; а как

---

[19] Примечания: 19

Сен-Пре — герой-возлюбленный романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» (1761).

мне это удалось — мое дело. Я знаю только, что этот молодец великолепно стреляет из пистолета, прекрасный охотник, чудесно играет на бильярде, в шахматы и в триктрак; он фехтует и ездит верхом не хуже покойного шевалье Сен-Жоржа[20]. Он знает толк в отечественных винах. Он вычисляет, как Барем[21], искусно рисует, танцует и поет. Какого черта вам еще нужно? Если уж он не настоящий дворянин, то покажите мне буржуа, который бы обладал всеми этими совершенствами, найдите мне человека, кто бы держал себя с таким благородством! Разве у него есть какое-нибудь занятие? Разве он роняет свое достоинство, бегая по канцеляриям, разве гнет спину перед выскочками, которых вы величаете главноуправляющими? Он ведет себя безукоризненно. Это настоящий мужчина. Да вот, кстати, я нашел у себя в жилетном кармане визитную карточку, он дал ее мне, решив, что я хочу отправить его на тот свет, бедный простофиля! Нынешняя молодежь не больно-то хитра… Вот, смотрите.

— Улица Сантье, дом номер пять, — произнес господин де Фонтэн, стараясь припомнить, какое

---

[20] Примечания: 20

Сен-Жорж — щеголь, законодатель мод XVIII века.

[21] Примечания: 21

Бертран-Франсуа Барем (1640–1703) — автор учебника по арифметике.

из полученных им сведений могло относиться к юному незнакомцу. — Что бы это значило, черт возьми? Там ведь помещается контора «Пальма́, Вербруст и Компания», они ведут оптовую торговлю кисеей, коленкором и набойкой. Ага, все ясно! Депутат Лонгвиль имеет долю в их предприятии. Все это так, но я знаю только одного сына Лонгвиля, ему тридцать два года, и он совсем не похож на нашего; тому отец выделил пятьдесят тысяч франков ренты, чтобы он мог жениться на дочери министра; отец надеется получить звание пэра, как и всякий другой. Я никогда не слыхал от него об этом Максимилиане. Да и есть ли у него дочь? Кто такая эта Клара? Впрочем, почему бы любому проходимцу не присвоить себе имя Лонгвиля? Но фирма «Пальма́, Вербруст и Компания», сколько помнится, наполовину разорена какой-то спекуляцией не то в Мексике, не то в Индии. Я все это выясню.

— Ты говоришь сам с собой, точно ты на сцене, а меня не принимаешь в расчет! — вдруг вмешался старый моряк. — Разве ты не знаешь, что у меня хватит мешков в трюме, чтобы восполнить недостаток его состояния, если только он дворянин?

— Ну, если он действительно сын Лонгвиля, он ни в чем не нуждается. Однако, — добавил

господин де Фонтэн, покачав головой, — его отец даже не покупал себе дворянства. До революции он был прокурором, и частица «де», присвоенная им после Реставрации, принадлежит ему с тем же правом, как и половина его состояния.

— Ба! Ба! Да здравствуют те, чьи отцы были повешены! — весело воскликнул моряк.

Спустя три-четыре дня после этого достопамятного разговора, в прекрасное ноябрьское утро, когда взоры парижан радует вид бульваров, посеребренных иглистым инеем первой изморози, мадемуазель де Фонтэн в новой шубке, фасон которой она намеревалась ввести в моду, выехала на прогулку со своими невестками, столько терпевшими в свое время от ее насмешек. Три дамы решили прокатиться по Парижу не столько из желания обновить элегантную коляску и туалеты, которые должны были задать тон модам зимнего сезона, сколько горя нетерпением посмотреть изящную пелерину, — ее заметила одна из их приятельниц в большом бельевом магазине на углу улицы Мира. Как только дамы вошли в лавку, баронесса де Фонтэн дернула Эмилию за рукав и указала ей на Максимилиана Лонгвиля, который, сидя за конторкой, с приказчичьей любезностью отсчитывал сдачу с золотой монеты

белошвейке и, казалось, о чем-то с ней совещался. «Прекрасный незнакомец» держал в руке несколько образчиков материи, что не оставляло никаких сомнений в его почтенном ремесле. Эмилию охватила лихорадочная дрожь, которой, впрочем, никто не заметил. Благодаря светскому умению владеть собой она прекрасно скрыла клокотавшее в ее сердце негодование и ответила невесткам: «Так я и знала!» — таким неподражаемым тоном, с таким богатством интонаций, что ей могла бы позавидовать самая прославленная актриса того времени. Она направилась прямо к конторке. Лонгвиль поднял голову, с убийственным хладнокровием сунул в карман образчики, поклонился мадемуазель де Фонтэн и подошел ближе, бросив на нее испытующий взгляд.

— Мадемуазель, — сказал он белошвейке, последовавшей за ним с озабоченным видом, — я велю отправить этот счет на проверку; наша фирма считает это необходимым. Впрочем, постойте, — шепнул он молодой женщине, протягивая ей тысячефранковый билет, — возьмите, давайте уладим это дело между собой. Надеюсь, вы простите меня, мадемуазель, — продолжал он, обратившись к Эмилии. — Будьте снисходительны и извините тиранию деловых обязанностей.

— Право, сударь, для меня все это совершенно безразлично, — отрезала мадемуазель де Фонтэн, глядя на него с таким самоуверенным и насмешливо-беззаботным видом, что можно было подумать, будто она видит его впервые.

— Вы говорите серьезно? — спросил Максимилиан прерывающимся голосом.

Эмилия повернулась к нему спиною с непередаваемой дерзостью. Эти короткие реплики, которыми они обменялись, ускользнули от любопытства обеих невесток. Когда дамы, купив пелерину, уселись в коляску, Эмилия, занявшая переднее место, невольно бросила последний взгляд на Максимилиана: он стоял в глубине отвратительной лавки, скрестив руки на груди, и вся его поза показывала, как мужественно переносит он несчастье, которое внезапно на него обрушилось. Глаза их встретились, и они обменялись презрительным взглядом. Каждый из них надеялся, что жестоко ранит любящее сердце. В одно мгновение оба очутились так же далеко друг от друга, как будто один из них находился в Китае, а другой в Гренландии. Разве не веет от тщеславия мертвящим, все иссушающим дыханием? Став жертвой самой яростной борьбы, раздиравшей когда-либо девичье сердце, мадемуазель де

Фонтэн пожала горькие плоды, взращенные в ее душе мелочностью и предрассудками. Лицо ее, всегда такое свежее и бархатистое, пожелтело, пошло красными пятнами, на бледных щеках проступил зеленоватый оттенок. В надежде скрыть от спутниц свое смятение она с хохотом указывала им то на неуклюжего прохожего, то на какой-нибудь нелепый туалет; но смех ее звучал неестественно. Молчаливое сочувствие невесток казалось ей еще более оскорбительным, чем насмешки, которыми те могли бы ей отплатить за прежние издевательства. Она призвала на помощь все свое остроумие, чтобы вовлечь их в разговор, она пыталась дать выход своему гневу в безрассудных парадоксах, осыпая коммерсантов самыми язвительными сарказмами и остротами весьма дурного тона. Вернувшись домой, она слегла в горячке, принявшей довольно опасную форму. По истечении месяца заботы родных и врачей возвратили ее к жизни, на радость всей семье. Родители надеялись, что этот урок был достаточно суровым, чтобы смирить нрав Эмилии, которая мало-помалу вернулась к прежним привычкам и снова закружилась в вихре света. Она весело уверяла, что нет ничего позорного в ее ошибке. Если бы, подобно отцу, она имела

влияние в палате депутатов, говорила Эмилия, то добилась бы проведения закона, по которому всех коммерсантов, в особенности торговцев коленкором, метили клеймом на лбу, как беррийских баранов, вплоть до третьего поколения. Ей хотелось, чтобы для дворян, и только для них, восстановили старинный французский костюм, который так шел придворным Людовика XV. Главная беда нынешней монархии, по ее словам, состояла в том, что теперь лавочник ничем не отличается по виду от пэра Франции. Множество острот подобного рода сыпались с ее уст, лишь только какой-нибудь случай наводил ее на эту тему. Но те, кто любил Эмилию, замечали в ней, несмотря на ее веселость, скрытую печаль. Очевидно, Максимилиан Лонгвиль все еще царил в этом надменном сердце. Порою она становилась кроткой, как в то быстро промелькнувшее лето, видевшее расцвет ее любви, порою же бывала еще несноснее, чем когда-либо. Домашние охотно прощали ей капризы, вызванные тайными, но всем понятными страданиями. Граф де Кергаруэт приобрел над ней некоторую власть, потакая ее все возраставшей расточительности, — к этому своеобразному утешению охотно прибегают молодые парижанки.

Первый бал, на который отправилась мадемуазель де Фонтэн, состоялся у неаполитанского посланника. Заняв место в одной из блестящих кадрилей, она вдруг увидела в нескольких шагах от себя Лонгвиля, который слегка кивнул ее партнеру.

— Этот молодой человек ваш друг? — с пренебрежительным видом спросила Эмилия своего кавалера.

— Это мой брат, — ответил тот.

Эмилия вздрогнула.

— Ах, — продолжал тот восторженным тоном, — право же, это самая благородная душа на свете!

— Вы знаете, как меня зовут? — спросила Эмилия, быстро перебивая его.

— Нет, мадемуазель. Сознаюсь, что преступно не запомнить имени, которое у всех на устах, мне бы следовало сказать — у всех в сердцах; но у меня есть веское оправдание: я только что из Германии. Мой посланник проводит отпуск в Париже, и сегодня он поручил мне сопровождать на бал его прелестную супругу, которая сидит вон там в углу.

— Настоящая трагическая маска, — заметила Эмилия, осмотрев посланницу с ног до головы.

— Таков уж ее бальный наряд, — ответил юноша, смеясь. — Придется мне все же пригласить ее танцевать! Потому-то мне и захотелось вознаградить себя заранее.

Мадемуазель де Фонтэн слегка наклонила головку.

— Я был крайне удивлен, что встретил здесь моего брата, — продолжал болтливый секретарь посольства. — Приехав из Вены, я узнал, что бедный мальчик лежит больной. Мне очень хотелось повидать его перед балом; но политика так мало оставляет нам времени для семейных привязанностей. Padrona della casa[22] не разрешила мне навестить моего бедного Максимилиана.

— Ваш брат не пошел по дипломатической части, как вы? — спросила Эмилия.

— Нет, — сказал секретарь вздыхая, — бедный юноша пожертвовал собою ради меня! Брат и сестра моя Клара отказались от состояния отца, чтобы он мог выделить мне майорат. Мой отец мечтает стать пэром, подобно всем, кто голосует за правительство, и уже заручился обещанием, что ему дадут это звание, — добавил он, понизив голос. — Собрав кое-какие средства, мой брат

---

[22] Примечания: 22
Хозяйка дома *(ит.).*

стал пайщиком банкирского дома; и мне известно, что недавно ему удалась одна спекуляция с Бразилией, которая может сделать его миллионером. Можете себе представить, как я радуюсь, что своими дипломатическими связями способствовал его успеху. Я как раз с нетерпением жду из Бразильской миссии депеши, которая сможет разгладить чело Максимилиана. Как вы его находите?

— Но ваш брат не походит на человека, поглощенного денежными делами.

Молодой дипломат бросил испытующий взгляд на внешне спокойное лицо своей дамы.

— Как? — сказал он с улыбкой. — Барышни тоже умеют угадывать любовные мечты за непроницаемым челом?

— Ваш брат влюблен? — спросила Эмилия, не в силах сдержать своего любопытства.

— Да. Сестра Клара, о которой он заботится с отеческой нежностью, писала мне, что он влюбился нынешним летом в весьма красивую особу; но с тех пор я не имел никаких известий о его увлечении. Подумайте только, бедному Максимилиану приходилось вставать в пять часов утра, чтобы покончить со всеми делами и поспеть к четырем часам в поместье своей красавицы!

Зато он вконец загнал прекрасного породистого скакуна, которого я прислал ему в подарок. Простите мою болтливость, мадемуазель! Я ведь приехал из Германии, и уже скоро год, как не слышал правильной французской речи, я отвык от французских лиц и сыт по горло немецкими; право же, в своем неистовом патриотизме я готов обратиться с речью к химерам Парижского собора. Впрочем, если я болтаю с откровенностью, мало уместной для дипломата, то в этом повинны вы, мадемуазель. Не вы ли указали мне на брата? Когда разговор заходит о нем, я становлюсь поистине неистощимым. Я хотел бы поведать всем на свете, как он добр и великодушен. Дело шло ведь ни больше ни меньше как о ста тысячах франков дохода, приносимого поместьем Лонгвиль.

Итак, мадемуазель де Фонтэн получила весьма важные сведения и отчасти была этим обязана ловкости, с какой сумела выспросить своего простодушного кавалера, узнав, что он брат отвергнутого ею возлюбленного.

— Неужели вам не тяжко видеть, как ваш брат торгует кисеей и коленкором? — спросила Эмилия, окончив третью фигуру кадрили.

— Откуда вы это знаете? — удивился дипломат. — Слава богу! Кажется, я уже научился,

расточая потоки слов, говорить только то, что хочу, как и все знакомые мне дипломаты.

— Но вы сами это сказали, уверяю вас.

Господин Лонгвиль посмотрел на мадемуазель де Фонтэн удивленным и испытующим взглядом. В его душу закралось подозрение. Он перевел глаза на брата, потом на свою даму, понял все, всплеснул руками, расхохотался и сказал:

— Какой же я глупец! Вы самая красивая дама на балу, мой брат украдкой на вас посматривает и танцует, не обращая внимания на лихорадку, а вы делаете вид, что его не замечаете. Составьте его счастье, — продолжал он, отводя Эмилию к ее старому дядюшке, — я не стану ревновать; но мне всегда будет немного странно называть вас сестрой…

Между тем оба влюбленных по-прежнему безжалостно не замечали друг друга. Около двух часов ночи был сервирован легкий ужин в огромной галерее, где столы расставили, как в ресторане, чтобы люди одного круга могли объединяться по собственному выбору. В силу совпадения, нередко благоприятствующего влюбленным, место мадемуазель де Фонтэн оказалось рядом со столиком, вокруг которого разместилось самое изысканное общество. Максимилиан присоединился к этому

кружку. Эмилия, внимательно прислушиваясь к беседе за соседним столом, уловила обрывки разговора, какой обычно так легко завязывается между молодой женщиной и юношей, если тот наделен обаянием и красотой Максимилиана Лонгвиля. Собеседницей молодого банкира была неаполитанская герцогиня, глаза которой метали молнии, а белоснежная кожа сверкала, как атлас. Ее интимность с Лонгвилем, которую тот умышленно подчеркивал, показалась мадемуазель де Фонтэн тем оскорбительнее, что теперь она чувствовала к своему бывшему жениху во сто раз больше нежности, чем когда-либо.

— Да, сударь, в моей стране истинная любовь умеет приносить величайшие жертвы, — говорила герцогиня, жеманясь.

— В Италии женщины более пылки, чем француженки, — промолвил Максимилиан, бросая пламенный взгляд на Эмилию. — Во француженках говорит одно тщеславие.

— Сударь, — вмешалась вдруг мадемуазель де Фонтэн, — разве не бесчестно клеветать на свою родину? Преданная любовь встречается во всех странах.

— Неужели вы думаете, мадемуазель, — возразила итальянка с язвительной усмешкой, — что

парижанка способна последовать за любимым на край света!

— Ах, сударыня, это же разные вещи! Можно уйти в пустыню и жить в шалаше, но нельзя согласиться сесть за прилавок! — И Эмилия закончила фразу невольным презрительным жестом.

Так по вине злополучного воспитания Эмилия дважды погубила свое зарождающееся счастье и сама испортила себе жизнь. Задетая притворной холодностью Максимилиана и кокетливыми улыбками незнакомой итальянки, она не удержалась от ядовитой насмешки, что всегда доставляло ей злорадное удовольствие.

— Мадемуазель, — вполголоса сказал ей Лонгвиль, улучив момент, когда приглашенные с шумом подымались из-за стола, — поверьте, что никто не шлет вам таких горячих пожеланий счастья, как я; разрешите мне заверить вас в этом на прощание. На днях я уезжаю в Италию.

— Вероятно, причиной тому какая-нибудь герцогиня?

— Нет, мадемуазель, смертельная болезнь.

— Не ваше ли это воображение? — спросила Эмилия, взглянув на него с беспокойством.

— Нет, — отвечал он, — есть раны, которые не заживают никогда.

— Вы не уедете! — сказала властная девушка, улыбаясь.

— Я уеду, — торжественно повторил Максимилиан.

— Вернувшись, вы найдете меня замужем, предупреждаю вас! — продолжала она кокетливо.

— Искренне этого желаю.

— Дерзкий! — воскликнула она. — Как жестоко вы мстите!

Две недели спустя Максимилиан Лонгвиль уехал с сестрой Кларой в знойные и поэтические края прекрасной Италии, оставив мадемуазель де Фонтэн во власти самых горьких сожалений. Молодой секретарь посольства вступился за честь брата и сумел жестоко отомстить Эмилии за ее высокомерие, разгласив причину разрыва между влюбленными. Он сторицей отплатил своей даме на балу за все ее издевательства над Максимилианом и насмешил не одну сиятельную особу, описывая прекрасную ненавистницу прилавка, амазонку, проповедующую крестовый поход против банкиров, гордячку, чья любовь испарилась при виде пол-аршина кисеи. Граф де Фонтэн принужден был употребить все свое влияние и устроить Огюсту Лонгвилю назначение в Россию, лишь бы избавить дочь от насмешек,

которыми нещадно осыпал ее этот молодой и опасный преследователь. Вскоре затем правительство, вынужденное увеличить число пэров, чтобы укрепить аристократическую партию верхней палаты, пошатнувшуюся от нападок одного знаменитого писателя, пожаловало господину Гиродену де Лонгвилю звание пэра Франции и виконта. Господин де Фонтэн тоже получил звание пэра, чем был обязан как своей преданности династии в трудные времена, так и своему имени, которого недоставало в наследственной палате.

К этому времени Эмилия, придя в возраст, начала, по-видимому, серьезно задумываться о своей судьбе, так как ее тон и манеры сильно переменились: вместо того, чтобы изощряться в колкостях по адресу дядюшки, она подавала ему палку с преувеличенной нежностью, вызывая улыбку у шутников; она поддерживала его под руку, каталась с ним в коляске и сопровождала его во всех прогулках; она уверяла даже, что любит аромат его трубки, и читала ему вслух его любимую газету «Котидьен» среди клубов табачного дыма, которые лукавый моряк нарочно пускал ей в лицо; она выучилась играть в пикет, чтобы составить компанию старому графу; наконец, эта взбалмошная девушка терпеливо выслушивала

бесконечно повторяющиеся рассказы о морском сражении «Бель-Пуль», о маневрах «Виль-де-Пари», о первом плавании де Сюффрена или о битве при Абукире. Хотя старый моряк и любил говорить, что он слишком хорошо знает свои долготы и широты и его не возьмет на абордаж молоденькая яхта, однако в одно прекрасное утро по парижским гостиным разнесся слух о бракосочетании мадемуазель де Фонтэн с графом де Кергаруэт. Молодая графиня давала блестящие празднества, чтобы забыться, но нашла, вероятно, одну лишь суету в этом вихре развлечений: роскошь не могла скрыть пустоты ее жизни и страданий тоскующей души; несмотря на вспышки притворной веселости, ее красивое лицо по большей части выражало затаенную печаль. Впрочем, Эмилия окружала нежным вниманием своего престарелого супруга, который шутливо говорил иногда, удаляясь вечером, под звуки бального оркестра, на свою половину:

— Я сам себя не узнаю. Неужели надо было дожить до семидесяти двух лет, чтобы отчалить лоцманом на борту Прекрасной Эмилии, после того как я уже провел двадцать лет на супружеских галерах!

Поведение графини отличалось такой строго-

стью, что самые проницательные критики не могли ни к чему придраться. Наблюдатели решили, что вице-адмирал оставил за собой право распоряжаться своим состоянием, чтобы крепче приструнить жену: предположение обидное как для дяди, так и для племянницы. Впрочем, супруги обращались друг с другом с таким тактом, что даже наиболее заинтересованные молодые люди не могли понять, был ли старый граф мужем или только отцом своей жене. Он часто повторял, что принял на борт потерпевшую крушение и что не в его правилах было злоупотреблять гостеприимством, если ему случалось спасти даже неприятеля от ярости бури. Несмотря на то, что графиня жаждала царить в парижском свете и старалась ни в чем не уступать герцогиням де Мофриньез, де Шолье, маркизам д'Эспар и д'Эглемон, графиням Ферро, де Монкорне, де Ресто, госпоже де Кан и мадемуазель де Туш, она отвергла, однако, страсть юного виконта де Портандюэра, влюбившегося в нее без памяти.

Два года спустя после своего замужества, сидя в одном из старинных салонов Сен-Жерменского предместья, где все восхищались ее добродетелью, достойной древних времен, Эмилия услыхала, как доложили о виконте де Лонгвиле.

Она играла в пикет с епископом де Персеполис в уголке гостиной, где никто не мог заметить ее волнения; повернув голову, она увидела, как вошел ее бывший жених во всем блеске молодости и красоты. Смерть отца и старшего брата, не вынесшего сурового петербургского климата, возложила на голову Максимилиана наследственный плюмаж шляпы пэров; его богатство не уступало его познаниям и талантам; не далее как вчера он привел в восхищение палату своим молодым, кипучим красноречием. Теперь он предстал перед безутешной графиней гордый, независимый, украшенный всеми совершенствами, каких она требовала некогда от своего воображаемого идеала. Все матери, имевшие дочек на выданье, кокетливо заигрывали с молодым человеком, приписывая ему всевозможные добродетели на основании его приятных манер; но Эмилия знала лучше всех, что виконт де Лонгвиль обладает той твердостью характера, в которой умные жены видят залог счастья. Она перевела взгляд на адмирала, который, по его любимому выражению, собирался долго еще продержаться на борту, и прокляла заблуждения своей юности.

В эту минуту господин де Персеполис сказал с

истинно пастырской любезностью:

— Сударыня, вы сбросили червонного короля, я выиграл. Но не сожалейте о проигрыше, я приберегу эти деньги для моих бедных семинаристов.

Париж, декабрь 1829 г.

Побочная семья

Графине Луизе де Тюрхейм на память и в знак искреннего уважения от ее покорного слуги
де Бальзака

Улица Турнике-Сен-Жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша; извиваясь вдоль садиков Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа, как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием, он был уничтожен только в 1823 году, когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садиков бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тисерандери, но и там ширина ее едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не мог-

ла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе не тушили их. Впрочем, и в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Марэ до набережных, покажется, что он спустился в погреб, как только в конце улицы дю-Шом он свернет на Ом-Арме и по улицам Бийет и де-Порт выйдет на Турнике-Сен-Жан.

Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и Тисерандери, нетрудно было заметить торчавшие из его стены обломки двух толстых железных колец — все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал некогда протягивать каждый вечер

для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и, чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Входная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома, с улицы Турнике, имелась квартирка в три окна, прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшие рядом в алькове, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажигались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху; она сидела на скамейке возле камина и

помешивала угли в жаровне, на которой тушилось рагу — излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты. В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы Х, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушаньем, состряпанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней и столовой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин с отбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин — все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное, морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым, заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою бурую раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывало едва уловимое выражение хитрости; из-под круглого, плоского тюлевого чепца выбивались седые волосы; большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а мно-

гочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах дома. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего достатка, только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальной участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня: она не сходила с места и, склонившись над пяльцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы шестидесятилетней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, по-видимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, разделявший их, лампу. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой — еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Воспользовав-

шись выступом решетки, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей; в нем росли душистый горошек, настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвились вокруг прутьев. Чахлые растения давали блеклые цветы — лишний штрих, вносивший что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подземелье. Когда по дороге в Латинский квартал мимо проходил студент, пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые родятся, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя именно они его и кормят. Рантье, осмотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя: что станется с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды?

Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во Дворец правосудия или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний Адонис, долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу; ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа — очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света, — неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть также, какой-нибудь честный чиновник с окладом в тысячу двести франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с каким трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее столь же незаметной судьбой, свой упорный труд — с ее трудом, предложив девушке по крайней мере поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как вьюнки на ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие серые глаза старухи-матери. Утром, после скудного завтрака, она брала тамбур скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от

времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра внимательно наблюдала за людьми, обычно проходившими в это время по улице; она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь — так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть, и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову; стыдливость, а вероятнее всего, мучительное сознание своей бедности приковывали ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук, или примелькавшийся прохожий, шедший на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой, под ее глазами легли темные тени, но лицо никогда

не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья; для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие, ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного; для веселья, от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки, для веселья — этого цветка надежды, которое помогало ей быстро забывать огорчения и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы и выложить на висках два шаловливых завитка, резко выделявшихся на белой коже. В повороте этой головки было столько грации, темный узел волос, лежащий на точеной шейке, так красноречиво говорил о юной прелести девушки, что наблюдательный человек, видя, как упорно она работает, не поднимая глаз при звуке его шагов, мог заподозрить ее в кокетстве. Весь ее облик был так пленителен, что не один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико.

— Смотри, Каролина, новый прохожий, и гораздо лучше прежних.

Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу: незнакомец уже был далеко.

— Куда же он исчез? — спросила она.

— Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре, я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы: в первый день в шесть часов, позавчера — в четыре, а вчера — в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде. Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в Марэ. Смотри, — прибавила она, бросив взгляд на улицу, — господин в коричневом костюме надел парик; сегодня его не узнать!

Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха-мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу; при этом она бросила на дочь взгляд настолько странный,

что самому Лафатеру[23] вряд ли удалось бы его объяснить; в нем было все — восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотою дочери. Около четырех часов вечера старуха толкнула ногой Каролину. И та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появление которого на улице должно было оживить отныне однообразие ежедневного зрелища. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Он был одет во все черное, и в его осанке чувствовалось достоинство. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула; ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привычкой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему у него такой землистый цвет лица — виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на двадцать ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих

[23] Примечания: 23

Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) — швейцарский писатель, заложивший основы криминальной антропологии.

душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины, и слегка впалые щеки хранили на себе ту печать, которой злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешенье возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стал удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в этот час была так удушлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляпы. Каролина успела заметить, что высокий лоб и волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление; впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения старухи и, не слушая ее надоедливой болтовни, молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось

хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее «беспечность» следует приписать упорному и, к несчастью, подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость и от которого вскоре должны были потускнеть ее глаза и сбежать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица.

В течение двух долгих месяцев *черный господин*, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице Турнике; нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром; да и возвращался он в разное время — не то что другие чиновники, которые заменяли госпоже Крошар часы. Наконец, за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомца внушил некоторое опасе-

ние старухе-матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скобяной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна, слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему госпожа Крошар была задета за живое, видя своего «черного господина» неизменно серьезным и сосредоточенным; взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль, словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливое личико Каролины Крошар выступило таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки, и это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица, и с красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень

внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха-мать, раздосадованная безразличием «черного господина», принялась так громко стучать своими шпульками, что, может быть, именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ним в окошко. Неизвестный обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость и у обоих возникло предчувствие, что они станут думать друг о друге. Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно; Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно как с той, так и с другой стороны; в глазах прохожего появилось дружелюбное выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела; старуха-мать наблюдала за обоими с довольным видом. С того памятного утра «черный господин» стал проходить по улице Турнике дважды в день, и если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали это как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чи-

новник обычно не задерживается в присутствии и уходит домой в определенный час.

В течение трех первых месяцев зимы Каролина и прохожий виделись таким образом по два раза в день — в те короткие мгновения, когда он проходил мимо ее окон. День от дня это мимолетное свидание принимало более дружелюбный характер и в конце концов создало между ними нечто вроде братской близости. Каролина и незнакомец, казалось, уже стали понимать друг друга; вглядываясь в знакомые черты, они изучили их до тонкости. Вскоре появления прохожего стали как бы визитами, которые он наносил Каролине; если случайно «черный господин» проходил мимо, не послав ей мимолетной улыбки, в которую складывался его выразительный рот, или ласкового взгляда своих карих глаз, ей весь день чего-то не хватало. Она походила на стариков, для которых чтение газеты стало таким привычным удовольствием, что на следующий день после большого праздника они чувствуют себя выбитыми из колеи и по рассеянности или от нетерпения отправляются за газетой, помогающей им на несколько минут заполнить пустоту своего существования. Как для незнакомца, так и для Каролины эти беглые встречи приобрели

интерес непринужденной, дружеской беседы. Девушка не могла утаить от внимательного взгляда своего молчаливого друга грусти, беспокойства или недомогания, а ему не удавалось скрыть свои заботы от Каролины. «У него были вчера неприятности», — эта мысль часто приходила в голову вышивальщице при виде изменившегося лица «черного господина». «О, ему пришлось много работать!» — восклицала Каролина, судя по каким-то другим признакам, которые только она умела различать. Незнакомец тоже угадывал, когда девушка проводила воскресенье за работой, чтобы закончить платье, узор которого ему хотелось бы видеть. Он замечал беспокойство, омрачавшее это хорошенькое личико при приближении срока уплаты за квартиру, и угадывал, когда Каролина не спала ночь, сидя за пяльцами; но главное, он видел, что с каждым днем их знакомства рассеивались грустные мысли, старившие ее нежные и веселые черты. Когда зима высушила стебли и листья садика, разбитого на подоконнике, а окно закрылось, незнакомец, улыбнувшись понимающей улыбкой, заметил необычайное освещение на уровне головки Каролины. Скупость, с которой женщины расходовали топливо, красные пятна на их

лицах выдали «черному господину» крайнюю бедность их маленького хозяйства; но едва только выражение глубокого сочувствия появлялось в его взгляде, Каролина гордо отвечала на это притворной веселостью. Однако чувство, пробудившееся у Каролины и незнакомца, оставалось погребенным в глубине их сердец; ничто не открыло ни ему, ни ей силы и искренности этого чувства. Безмолвные друзья, они даже не слышали голоса друг друга. Более тесный союз страшил их как несчастье. Казалось, что каждый из них боялся принести другому более тяжкое горе, чем то, которое ему хотелось разделить. Что останавливало их? Стыдливость дружбы? Опасения, подсказанные эгоизмом или жестоким недоверием, разъединяющим людей в стенах большого города? Или, быть может, внутренний голос предупреждал их о грозящей опасности? Было бы трудно объяснить чувство, которое и привлекало их друг к другу, и отталкивало, пробуждало то равнодушие, то любовь, сближало в безотчетном стремлении и разъединяло в действительности. Возможно, каждому из них хотелось сохранить свои иллюзии. Иногда казалось, что незнакомец опасается услышать грубые слова из девичьих уст, свежих и чистых, как цветок, а Каролина

считает себя недостойной этого таинственного человека, в котором все говорит о власти и богатстве. Что касается госпожи Крошар, то эта нежная мать теперь почти сердилась на нерешительность дочери и недовольно посматривала на «черного господина», тогда как прежде всегда улыбалась ему любезно, почти подобострастно. Никогда еще она так горько не жаловалась дочери на то, что ей, больной старухе, приходится заниматься стряпней, никогда еще ревматизм и катар горла не вызывали у нее таких жалобных стонов; наконец, за эту зиму ей не удалось сплести столько тюля, сколько Каролине нужно было для вышивания. Потому-то в конце декабря, когда хлеб бывает особенно дорог (а в 1816 году цена на хлеб так возросла, что зима оказалась особенно тяжелой для бедняков), прохожий заметил на лице девушки, имени которой он не знал, глубокую озабоченность, и даже его приветливой улыбке не удалось ее рассеять. Вскоре он понял по глазам Каролины, по ее изнуренному виду, что она проводит ночи за работой. Однажды, в конце того же месяца, прохожий, вопреки обыкновению, возвращался по улице Турнике-Сен-Жан около часу ночи. Подходя к дому, где жила Каролина, он еще издали услышал в ночной тишине плаксивый

голос старухи и другой, более скорбный, молодой голос, звуки которых сливались с шумом дождя, падавшего вперемешку со снегом. Он осторожно приблизился к дому, затем, рискуя быть арестованным, притаился у окна, чтобы послушать, о чем говорят мать и дочь, одновременно наблюдая за ними сквозь одну из дыр в пожелтевших муслиновых занавесках, похожих на капустные листья, изъеденные гусеницами. Любопытный прохожий увидел на столе, разделявшем пяльцы и тамбур, гербовую бумагу; между двумя шарами с водой стояла лампа. При свете ее незнакомец без труда узнал повестку о вызове в суд. Госпожа Крошар плакала, а в голосе Каролины слышались гортанные нотки, искажавшие ее мягкий, ласкающий тембр.

— Зачем отчаиваться, матушка? Господин Молине не продаст нашей мебели и не выгонит нас, пока я не закончу этого платья; еще две ночи, и я отнесу его госпоже Роген.

— А что, если она, как обычно, не заплатит сразу? Да и денег-то этих не хватит. За квартиру отдадим, а с булочником чем рассчитаемся?

Свидетель этой сцены давно привык разбираться в выражении лиц, и ему показалось, что в отчаянии матери было столько же фальши,

сколько искренности в горе ее дочери. Он тотчас же отошел от окна. Вернувшись несколько минут спустя, он вновь посмотрел сквозь отверстие в муслиновых занавесках. Мать уже легла, девушка, склонившись над пяльцами, трудилась с неутомимым усердием. На столе рядом с повесткой лежал треугольный ломоть хлеба, очевидно положенный сюда не только для подкрепления сил девушки в бессонную ночь, но и как напоминание о награде, которая ждет ее за проявленное мужество. Незнакомец вздрогнул от жалости и боли. Он бросил свой кошелек в окно — туда, где стекло было выбито, — с таким расчетом, чтобы кошелек упал к ногам девушки; затем, даже не насладившись ее удивлением, поспешно скрылся. Сердце у него сильно билось, щеки пылали. На следующий день грустный и замкнутый незнакомец прошел мимо Каролины, напустив на себя сугубо озабоченный вид. Однако ему не удалось избежать благодарности девушки; еще до его появления она открыла окно и принялась разрыхлять ножом покрытую снегом землю в деревянном ящике. Этот неловкий и трогательный предлог дал ясно понять незнакомцу, что на этот раз она не хочет смотреть на него сквозь стекло. Устремив на своего благодетеля глаза, полные

слез, вышивальщица поклонилась ему, как бы говоря: «Я могу вам отплатить только сердцем». Но «черный господин» сделал вид, что ничего не понимает в выражении этой искренней признательности. Вечером, когда он возвращался, Каролина, которая в это время заклеивала бумагой разбитое стекло, улыбнулась ему улыбкой, подобной обещанию, сверкнув ослепительной белизной зубов. С тех пор «черный господин» избрал другой путь и больше не показывался на улице Турнике.

Как-то в субботу, в первых числах мая, Каролина поливала из стакана жимолость в ящике и, заметив между рядами черных домов клочок голубого неба, сказала:

— Матушка, поедемте-ка завтра погулять в Монморанси.

Не успела она весело произнести эту фразу, как появился «черный господин», более грустный и подавленный, чем когда-либо. Робкий и ласковый взгляд, брошенный ему Каролиной, мог быть понят как приглашение. И на другой день, когда госпожа Крошар в длинном пальто из красновато-коричневой мериносовой ткани, в шелковой шляпе и полосатой шали — подделке под кашемир — явилась на угол улиц Фобур-Сен-Дени и

Анген, чтобы сесть в «кукушку»[24], она увидела там своего незнакомца, явно поджидавшего кого-то. Радостная улыбка появилась на его лице, когда он заметил Каролину. Ножки ее были обуты в прюнелевые башмачки цвета «блошиной спинки», ветер, столь опасный для дурно сложенных женщин, раздувал белое платье, обрисовывая пленительные формы; а лицо, выглядывавшее из-под соломенной шляпки, подбитой розовым шелком, было, казалось, озарено небесным сиянием; широкий коричневый пояс подчеркивал стройность талии, тонкой, как тростинка, а темные волосы, разделенные прямым пробором и зачесанные на уши, оттеняли белоснежный лоб и придавали девушке целомудренно-наивный вид, соответствовавший всему ее облику. От предвкушения удовольствия Каролина казалась такой же легкой, как рисовая соломка ее шляпки; заметив «черного господина», она вся загорелась надеждой, и это сияние затмило и праздничный ее наряд, и красоту. Неизвестный, видимо, колебался и, быть может, только при виде внезапной радости, вызванной его присутствием, решился сопутствовать вышивальщице. Он нанял кабри-

[24] Примечания: 24

Кукушка — вид экипажа, в котором козлы располагаются позади кузова.

олет, запряженный довольно хорошей лошадью, и предложил госпоже Крошар с дочерью занять в нем место для поездки в Сен-ле-Таверни. Мать согласилась без лишних слов, но, когда экипаж уже катил по дороге в Сен-Дени, она вспомнила о щепетильности и стала высказывать опасения, что они с дочерью, пожалуй, стеснят своего спутника.

— Может быть, сударь, вы желали поехать один в Сен-Ле? — спросила она с притворным добродушием, но тут же стала жаловаться на жару и в особенности на свой бронхиальный катар, который, по ее словам, всю ночь не дал ей сомкнуть глаз. Как только экипаж достиг Сен-Дени, госпожа Крошар, видимо, заснула; но ее похрапывание показалось подозрительным «черному господину»; он нахмурил брови и крайне недоверчиво посмотрел на старуху.

— Она спит, — наивно сказала Каролина, — кашель совсем замучил ее со вчерашнего вечера, и, наверное, она очень устала.

Вместо ответа спутник многозначительно улыбнулся, словно говоря девушке: «Невинное создание, ты не знаешь своей матери». Тем не менее, когда экипаж мягко покатил по длинной, обсаженной тополями аллее, ведущей в Обон,

«черный господин», несмотря на свою недоверчивость, решил, что госпожа Крошар действительно уснула; а может быть, ему просто не хотелось разбираться, насколько притворным был этот сон. Красота ли неба, чистый ли деревенский воздух или пьянящий аромат распускающихся тополей, вербы и цветов боярышника тронули сердце «черного господина», призывая его пробудиться по примеру природы, или натянутость стала ему в тягость, а быть может, блестящие глаза Каролины ответили сочувствием на его беспокойные взгляды, но только он завел со своей юной спутницей беседу, неопределенную, как шелест деревьев под порывами легкого ветерка, своенравную, как полет бабочки в голубом воздушном просторе, непринужденную, как нежно-мелодичный голос полей, и, как этот голос, полную таинственной любви. Ведь в это время года природа похожа на трепетную невесту в подвенечном наряде и склоняет к наслаждению даже самые ледяные сердца! Какое сердце могло бы остаться холодным, какие уста не выдали бы затаенных мыслей, когда, миновав темные улицы Марэ, впервые с прошлого года проезжаешь утром по чудесной, живописной долине Монморанси, глядя на ее беспредельные дали

и сознавая, что можешь перевести свой взгляд на глаза, в которых тоже отражается беспредельность, но только беспредельность любви! Незнакомец нашел Каролину скорее веселой, чем остроумной, скорее сердечной, чем образованной; но если в ее смехе слышались шаловливые нотки, то слова сулили искреннее чувство. Когда на тонкие вопросы спутника девушка отвечала с непосредственностью, свойственной низшим классам, не знающим недомолвок светских людей, лицо «черного господина» оживало и словно перерождалось. Оно постепенно теряло омрачавшее его грустное выражение; затем мало-помалу на этом лице появился отблеск молодости и красоты, и Каролина почувствовала себя счастливой и гордой. Хорошенькая вышивальщица угадала, что ее благодетель давно лишен нежности и любви и уже не верит в женскую преданность. Наконец остроумное замечание, промелькнувшее в легкой болтовне Каролины, согнало с лица незнакомца последнюю тень, скрывавшую его молодость и изменявшую его истинное выражение. Он, по-видимому, окончательно отмахнулся от докучливых мыслей и проявил душевный пыл, о котором позволяло догадываться его лицо. Незаметно беседа приняла столь дружеский ха-

рактер, что, когда экипаж остановился у первых домов широко раскинувшегося селения Сен-Ле, Каролина уже называла незнакомца господином Роже. Только тут старуха-мать пробудилась.

— Каролина, она, должно быть, все слышала, — прошептал подозрительный Роже на ухо девушке.

Каролина ответила восхитительной улыбкой сомнения, и ее улыбка рассеяла тень, которая вновь омрачила лицо этого недоверчивого человека, опасавшегося тайного расчета со стороны матери. Ничему не удивляясь, госпожа Крошар все одобрила и последовала за дочерью и господином Роже в парк Сен-Ле, куда молодые люди сговорились отправиться, чтобы осмотреть цветущие луга и живописные рощи, прославленные королевой Гортензией, которая так любила эти места.

— Боже мой, до чего здесь красиво! — воскликнула Каролина, поднявшись на зеленую возвышенность, откуда начинается лес Монморанси: девушка увидела у своих ног огромную долину с разбросанными там и сям деревнями, синеватые холмистые дали, колокольни, луга и поля, а до слуха ее долетел разноголосый шум, похожий на рокот морского прибоя. Путники

прошли по берегу искусственно созданной речки до «швейцарской долины» и остановились у Шале, куда не раз приходили королева Гортензия и Наполеон. Когда Каролина с благоговением уселась на поросшую мхом деревянную скамью, где некогда отдыхали короли, принцессы и император, госпоже Крошар захотелось рассмотреть поближе перекинутый между скалами мостик, видневшийся вдалеке, и она направилась к этой сельской достопримечательности, оставив дочь под охраной господина Роже; однако она предупредила девушку, что не будет терять их из виду.

— Как, милое дитя, — воскликнул Роже, — неужели вы никогда не желали богатства и наслаждений роскоши? Неужели вам не хочется носить те красивые платья, которые вы вышиваете?

— Я бы солгала вам, господин Роже, если бы сказала, что не думаю о счастье, которым наслаждаются богатые. О да, я часто мечтаю, особенно перед сном, о том, как было бы хорошо, если бы моей бедной матушке не приходилось больше ходить во всякую погоду за провизией для нашего маленького хозяйства, ведь у нее больные ноги! Мне хотелось бы, чтобы по утрам прислуга подавала ей в постель очень сладкий кофе с насто-

ящим очищенным сахаром. Бедная моя старушка любит читать романы. Так вот, я предпочла бы, чтобы она портила себе глаза за чтением, а не за работой, передвигая с утра до ночи шпульки. Ей необходимо также немного хорошего вина. Словом, я хотела бы знать, что она счастлива; она такая добрая!

— Значит, она всегда была добра к вам?

— О да, — ответила девушка с глубочайшей искренностью. И после короткой паузы, во время которой молодые люди наблюдали за госпожой Крошар, а та, достигнув середины мостика, грозила им пальцем, Каролина продолжала: — О да, очень добра. Как она заботилась обо мне, когда я была маленькая!.. Она продала все свое столовое серебро, чтобы отдать меня в учение к старой деве, у которой я научилась вышивать. А мой несчастный отец! Сколько труда она положила, чтобы скрасить его последние минуты! — При этой мысли девушка вздрогнула и закрыла лицо руками. — Ну, да что там! Не будем вспоминать о прошлых горестях, — проговорила она, стараясь вновь развеселиться. Заметив, что Роже растроган, она покраснела и больше не решалась на него взглянуть.

— Чем занимался ваш отец? — спросил он.

— До революции отец был танцором в Опере, — сказала она вполне непринужденно, — а мать — хористкой. Отцу на сцене не раз приходилось руководить военными действиями. А когда он случайно оказался при взятии Бастилии, некоторые из осаждающих узнали его и спросили, не решится ли он командовать атакой, но настоящей, не такой, как в театре. Мой отец был храбрый человек, он согласился и повел восставших; затем он был произведен в капитаны, вступил в ряды армии Самбры-и-Мезы и вскоре так проявил себя, что получил повышение, стал полковником. Но он был серьезно ранен при Люцене, проболел целый год и вернулся в Париж умирающим. Когда к власти пришли Бурбоны, мать уже не могла выхлопотать пенсии, и мы впали в нищету, нам пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба. С некоторых пор моя старушка стала прихварывать. Теперь у нее уже нет прежнего смирения; она жалуется, я ее понимаю: она знала радость, счастье; я же не могу сожалеть о наслаждениях, потому что не испытала их. Я прошу у неба лишь одного…

— Чего? — с живостью спросил Роже, задумчиво глядевший на девушку.

— Чтобы дамы всегда носили вышитый тюль и

никогда не было бы недостатка в работе.

Искренность этих признаний тронула молодого человека, и он уже не так враждебно посмотрел на госпожу Крошар, когда та медленным шагом приблизилась к ним.

— Ну, что, детки, всласть поболтали? — спросила она с насмешливой снисходительностью. — Подумать только, господин Роже, что *маленький капрал*[25] сидел там, где вы находитесь, — продолжала она после минутного молчания. — Несчастный! — прибавила она. — Мой муж без памяти любил его. Хорошо, что Крошар умер: он слишком бы страдал, зная, куда *они* его запрятали.

Роже приложил палец к губам, и славная старуха проговорила, качая головой:

— Ладно, буду держать язык за зубами. Но, — прибавила госпожа Крошар, расстегивая ворот лифа и показывая золотой крест с красной лентой, который она носила на черном шелковом шнурке, — они не помешают мне хранить то, чем он наградил моего бедного Крошара, и я, конечно, унесу этот орден с собою в могилу…

Такие слова считались в те времена крамоль-

---

[25] Примечания: 25
Имеется в виду Наполеон.

ными, и Роже прервал старуху, быстро встав с места. Они вернулись в деревню по аллеям парка. Молодой человек отлучился на несколько минут, чтобы заказать обед у лучшего ресторатора Таверни, потом зашел за женщинами и повел их по лесным тропинкам в ресторацию. Обед прошел очень оживленно. Роже уже не напоминал мрачную тень, проходившую некогда по улице Турнике. Он походил не на «черного господина», а скорее на доверчивого юношу, готового отдаться течению жизни, как и эти две беззаботные труженицы, у которых завтра же, возможно, не будет хлеба. Он, казалось, переживал радость первых лет жизни, в его улыбке мелькало что-то ласковое, детское. Когда около пяти часов вечера веселый обед закончился несколькими бокалами шампанского, Роже первый предложил отправиться на деревенский бал, устроенный под сенью каштанов, где они с Каролиной присоединились к танцующим. Пальцы молодой пары сплетались сами собой, сердца бились от одной и той же надежды, и под голубым сводом неба, при свете косых красных лучей заходящего солнца глаза влюбленных приобрели блеск, затмивший для каждого из них сияние небосвода. Странным могуществом обладает мысль или желание! Все

им казалось возможным! В те чарующие мгновения, когда радость озаряет даже будущее, душа не предвидит ничего, кроме счастья. Для них обоих этот чудесный день уже был полон воспоминаний, с которыми ничто не могло сравниться в прошлом. Неужели источник прекраснее реки, надежда лучше обладания, а желание привлекает нас больше того, что дает действительность?

— Вот и день уже прошел! — вырвалось у Роже, когда кончились танцы; Каролина взглянула на него с состраданием, заметив на его лице легкую тень грусти.

— Почему бы вам не быть таким же довольным в Париже, как и здесь? — спросила она. — Разве счастье только в Сен-Ле? Мне кажется, что теперь я уж никогда не буду чувствовать себя несчастной.

Роже вздрогнул при этих словах, внушенных тем невольным порывом нежности, который увлекает женщин дальше, чем они хотели бы, точно так же, как показная добродетель делает их более жестокими, чем они есть на самом деле. В первый раз с тех пор, как Каролина и Роже обменялись взглядом, положившим начало их дружбе, им пришла одна и та же мысль; если они и не высказали этой мысли, то поняли ее

одновременно, испытав ощущение, похожее на благодетельное тепло очага, которое заставляет позабыть о зимней стуже. Затем, точно опасаясь наступившего молчания, они направились к ожидавшему их экипажу, но, прежде чем сесть в него, дружески взялись за руки и побежали по темной аллее впереди госпожи Крошар. Когда они потеряли из виду тюлевый чепец, который мелькал белым пятнышком среди листвы, указывая им, где находится в эту минуту старуха-мать, Роже остановился и с сильно бьющимся сердцем взволнованно сказал: «Каролина!..» Девушка отпрянула в смущении, поняв скрытую за этим просьбу. Все же она протянула руку, которую Роже горячо поцеловал, но девушка тотчас же отняла ее, так как, поднявшись на цыпочки, увидела мать. Госпожа Крошар сделала вид, будто ничего не заметила. Можно было подумать, что, вспомнив о своих прежних ролях, она решила фигурировать здесь только a parte[26].

История этой молодой пары недолго продолжалась на улице Турнике. Каролину и Роже вскоре можно было встретить в центре современного Парижа, где в недавно построенных домах суще-

---

[26] Примечания: 26
В стороне *(ит.).*

ствуют квартирки, словно нарочно отделанные для того, чтобы люди проводили в них медовый месяц. Свежесть росписи и обоев здесь под стать счастью молодых супругов, а убранство комнат отличается той же прелестью новизны, что их любовь. Все соответствует там молодости и бурным страстям. В середине улицы Тетбу стоял дом, каменные стены которого не утратили белизны, на колоннах вестибюля и на входной двери не было ни единого пятна, а внутри все блестело глянцем свинцовых белил, вошедших в моду после возобновления наших сношений с Англией. На третьем этаже этого дома приютилась квартирка, так прелестно отделанная архитектором, словно он предугадал ее назначение. Простая чистенькая передняя, оштукатуренная до половины человеческого роста, вела в гостиную и маленькую столовую. Гостиная сообщалась с уютной спальней, к которой примыкала ванная комната. Над каминами висели большие зеркала в красивых рамах. Двери были расписаны с большим вкусом, а карнизы отличались строгостью и простотой линий. Истинный ценитель отметил бы здесь прежде всего чувство меры и изысканность отделки, свойственные произведениям наших современных архитекторов. Уже около

месяца Каролина жила в этой квартирке, обставленной одним из тех мастеров, которые работают под руководством художника. Достаточно будет краткого описания спальни, чтобы дать понятие о чудесах, представших перед взором Каролины, когда ее впервые привел туда Роже. Стены этой важнейшей в квартире комнаты были обтянуты серой тканью с зелеными шелковыми аграмантами. Мебель легкой, изящной формы, обитая светлым кашемиром, говорила о том, что она создана по последнему капризу моды; комод из грушевого дерева с тонкой коричневой инкрустацией был полон роскошных уборов и драгоценностей; письменный стол в том же стиле предназначался для того, чтобы писать надушенные любовные записки; кровать, задрапированная в античном вкусе, навевала мысли о сладострастной неге воздушной мягкостью муслиновых покрывал; серые шелковые занавески с зеленой бахромой были неизменно задернуты, чтобы смягчать яркий дневной свет; бронзовые часы изображали Амура, украшающего венком голову Психеи. И наконец, красноватый ковер с готическим рисунком еще ярче подчеркивал все мелочи этого восхитительного уголка. Перед большим зеркалом сидела за туалетным столи-

ком бывшая вышивальщица, теряя терпение от медлительности Плезира, знаменитого парикмахера.

— Можно ли надеяться, что вы закончите сегодня мою прическу? — спросила она.

— Сударыня, у вас такие длинные, такие густые волосы, — ответил Плезир.

Каролина не могла удержаться от улыбки; лесть мастера парикмахерского искусства, очевидно, пробудила у нее воспоминание о друге, всегда страстно хвалившем красоту ее волос, которые он обожал. Когда парикмахер ушел, появилась горничная, и Каролина стала советоваться с ней, какое надеть платье для Роже. Было начало сентября 1816 года, становилось холодно; пришлось выбрать платье из зеленого гренадина, отделанное серебристо-серым мехом. Как только туалет был закончен, Каролина выбежала в гостиную и распахнула стеклянную дверь, которая выходила на изящный балкон, украшавший фасад дома. Скрестив руки на груди, она облокотилась на коричневые железные перила и застыла в прелестной позе, вглядываясь в ту часть бульвара, что зеленеет в конце улицы Тетбу; она не замечала восхищения прохожих, которые оборачивались, чтобы взглянуть на нее. В узком

просвете между домами, который можно было бы сравнить с глазком, проделанным артистами в театральном занавесе, виднелось множество элегантных экипажей и фигуры людей, причем все это мелькало с быстротой китайских теней. Не зная, придет ли Роже пешком или приедет в экипаже, бывшая вышивальщица с улицы Турнике всматривалась и в прохожих, и в тильбюри — легкие двуколки, недавно ввезенные во Францию англичанами. Но когда после пятнадцатиминутного ожидания ни зоркие глаза, ни сердце Каролины не указали ей в толпе того, кого она ждала, выражение нежности сменилось у нее гримаской неудовольствия. Каким пренебрежением, каким равнодушием дышало красивое юное личико Каролины при виде всех этих существ, которые кишели, как муравьи, у ее ног! Ее серые лукавые глаза сияли. Поглощенная своей любовью, она избегала восторженных взглядов с таким же старанием, с каким даже самые гордые женщины стремятся собрать эту дань поклонения во время прогулок по Парижу, и, конечно, ничуть не заботилась о том, сотрется ли завтра же из памяти прохожих, которые любовались ею, воспоминание о ее склоненном белом личике, о ее маленькой ножке, видневшейся сквозь ре-

шетку балкона, о ее живых, кокетливых глазах и хорошеньком вздернутом носике. Она видела перед собой только одно лицо, была поглощена единственной мыслью. Когда голова знакомой гнедой лошади появилась из-за высоких домов, Каролина вздрогнула и поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть белые вожжи и окраску тильбюри. Это он. Роже заворачивает за угол, видит балкон, подстегивает лошадь, та ускоряет ход и вскоре останавливается у коричневой входной двери, которая ей знакома так же хорошо, как и ее хозяину. Слыша радостный возглас хозяйки, горничная открывает дверь, не дожидаясь звонка. Роже вбегает в гостиную, прижимает Каролину к груди и целует ее с той страстной нежностью, которая прорывается при редких встречах двух любящих людей. Он увлекает ее, или, вернее, движимые одной и той же волей, не разжимая объятий, они направляются в свою прелестную комнатку, уютную и благоуханную. Перед камином их ждет диванчик, они опускаются на него и с минуту молча смотрят друг на друга, выражая свои мысли долгим взглядом, а счастье — крепким пожатием рук.

— Радость моя! Я заждалась тебя! — проговорила наконец Каролина. — Знаешь, ведь мы не

виделись три дня, три долгих дня. Целую вечность! Но что с тобой? Ты огорчен?

— Моя бедная Каролина…

— Ну, вот… «моя бедная Каролина»…

— Нет, не смейся, мой ангел: нам не удастся пойти сегодня в Фейдо.

Каролина сделала недовольную гримаску, но тотчас же ее лицо прояснилось.

— Какая я глупая! Могу ли я думать о театре, когда вижу тебя? Смотреть на тебя — разве это не единственное зрелище, которое я обожаю? — воскликнула она, гладя волосы Роже.

— Я должен быть у генерального прокурора, мы разбираем сейчас одно очень щекотливое дело. Я встретил прокурора в зале заседаний, и, так как мне придется выступать по этому делу от имени суда, он пригласил меня обедать; но, дорогая, ты можешь пойти в Фейдо с мамой, я заеду туда за вами, если совещание кончится рано.

— Пойти в театр без тебя? — воскликнула она с удивлением. — Какое же это удовольствие, если ты не разделишь его со мной?.. Ах, Роже, вы заслуживаете… поцелуя, — прибавила она, с наивной страстностью бросаясь ему на шею.

— Каролина, я должен заехать домой переодеться. До квартала Марэ далеко, а мне еще надо

закончить несколько дел.

— Сударь, — заметила Каролина, перебивая его, — будьте осторожны. Маменька предупредила меня, что как только мужчина начинает ссылаться на дела, — это значит, что он разлюбил.

— Каролина, ведь я же приехал, ведь я урвал этот час у моей безжалостной…

— Молчи, — сказала она, прижимая пальчик к губам Роже, — молчи, разве ты не понимаешь, что я шучу?

Они перешли в гостиную, и Роже заметил там вещь, которую утром принес столяр-краснодеревщик. То были старые пяльцы из розового дерева, кормившие Каролину и ее мать, когда они жили на улице Турнике-Сен-Жан; пяльцы были отделаны заново, и на них уже была натянута начатая по тюлю вышивка, поражавшая красивым и сложным узором.

— Ну что ж, дорогой, сегодняшний вечер я проведу за работой. Вышивая, я мысленно перенесусь к тем дням, когда ты проходил под нашими окнами, не говоря ни слова, но все же поглядывая на меня, к тем дням, когда думы о тебе не давали мне всю ночь сомкнуть глаз. Милые мои пяльцы — самое прекрасное украшение моей гостиной,

хотя я и получила их не от тебя. Ты еще ничего не знаешь, — сказала она, садясь на колени Роже, который опустился в кресло, не в силах преодолеть свое волнение. — Выслушай меня! Я хочу отдавать бедным все, что заработаю вышиванием. Ты сделал меня богатой. Как люблю я прелестное поместье Бельфей — и не за его красоту, а за то, что это ты мне его подарил! Но скажи мне, Роже, я хотела бы называться Каролиной де Бельфей, можно? Ты должен знать: законно ли это, допустимо ли?

Когда Роже, ненавидевший фамилию Крошар, утвердительно кивнул головой, Каролина проворно соскочила на пол и захлопала в ладоши.

— Мне кажется, — воскликнула она, — что тогда я буду связана с тобой еще крепче. Обычно девушка отказывается от своей фамилии и принимает фамилию мужа… — Назойливая мысль, которую она тотчас же отогнала, заставила ее покраснеть, она взяла Роже за руку и подвела его к открытому фортепьяно. — Вот послушай, — проговорила она, — я теперь хорошо разучила сонату. — И легкие пальчики проворно забегали по клавишам, но вдруг она почувствовала, что руки Роже обхватили ее за талию и подняли на воздух.

— Каролина, мне пора, дорогая.

— Ты уходишь? Ну что же, иди, — сказала она, надувшись; но, взглянув на часы, улыбнулась и воскликнула: — Все же мне удалось удержать тебя лишних четверть часа!

— Прощайте, мадемуазель де Бельфей, — проговорил он с нежной иронией.

Она подставила губы для поцелуя и проводила своего Роже до порога; когда же звук его шагов затих на лестнице, она выбежала на балкон. Ей хотелось видеть, как он садится в тильбюри и берет вожжи, поймать его последний взгляд, слышать щелканье бича, стук колес по мостовой, проводить глазами великолепную лошадь, шляпу ее хозяина, золотой галун грума и, наконец, еще долго смотреть вслед экипажу после того, как он скроется за темным углом улицы.

Пять лет спустя после переезда Каролины де Бельфей в красивый дом на улице Тетбу там можно было вторично наблюдать одну из тех сцен семейной жизни, которые еще теснее сближают два любящих существа. Мальчуган лет четырех играл посреди голубой гостиной, против окна, выходившего на балкон. Он поднимал страшный шум, стегая картонную лошадку, которая, по его мнению, недостаточно быстро двигалась на

своей подставке-качалке. На его миловидном личике, обрамленном множеством белокурых локонов, ниспадавших на вышитый воротничок, появилась ангельская улыбка, когда мать, сидевшая в глубоком мягком кресле, сказала ему:

— Не шуми так, Шарль, разбудишь сестренку.

Тогда любопытный ребенок слез с лошадки и, как бы опасаясь звука собственных шагов, на цыпочках засеменил по ковру; приблизившись к Каролине, он положил пальчик в рот и застыл в одной из детских поз, которые так прелестны в своей непосредственности; затем приподнял белое кисейное покрывало, скрывавшее светлое личико девочки, уснувшей на коленях матери.

— Значит, Эжени спит? — произнес он с глубоким удивлением. — Почему она спит, когда мы уже проснулись? — прибавил он, широко раскрыв большие черные глаза.

— Это известно одному Богу, — ответила Каролина, улыбаясь.

Мать и ребенок загляделись на маленькую девочку, окрещенную этим утром. В то время Каролине было двадцать четыре года, и ее красота достигла полного расцвета среди безоблачного счастья и неизменных радостей любви. Все в ней дышало женственностью. С восторгом вы-

полняя малейшее желание ненаглядного Роже, она приобрела кое-какие познания, которых ей недоставало: научилась довольно хорошо играть на фортепьяно и премило петь. Незнакомая с обычаями светского общества, которое все равно оттолкнуло бы ее (она и сама не стала бы выезжать в свет, даже если бы была там принята, ибо счастливая женщина не ведет светского образа жизни), Каролина не переняла ни особого изящества манер, ни умения вести многословный, но пустой разговор, принятый в гостиных; зато она старательно усвоила все, что необходимо знать матери, единственное честолюбие которой заключается в том, чтобы хорошо воспитать своих детей. Никогда не разлучаться с сыном, неустанно, с колыбели, твердить ему наставления, которые лучше всего прививать юным душам, — любовь к добру и красоте, предохранять его от дурных влияний и сочетать тяжелый уход няньки со сладостными обязанностями матери — таковы были ее единственные радости. С первых же дней любви это скромное и кроткое создание настолько примирилось с жизнью, ограниченной пределами волшебного мира, в котором заключалось все ее счастье, что после шестилетнего нежнейшего союза она ничего

не знала о своем друге, кроме имени Роже. В ее спальне висела гравюра с картины «Амур и Психея»: Психея со светильником в руке приближается, чтобы взглянуть на Амура, вопреки его запрещению. Этот сюжет напоминал Каролине о том, что любопытство может погубить ее счастье. У нее были такие скромные желания, что за все эти шесть лет она ни разу не оскорбила неуместным тщеславием Роже, сердце которого было настоящей сокровищницей доброты. Ни разу не пожелала она ни бриллиантов, ни других драгоценностей и постоянно отказывалась от роскоши иметь собственный выезд, хотя Роже десятки раз искушал ее этой покупкой. Ожидать на балконе появления его коляски, ходить с ним в театр, совершать в хорошую погоду прогулки по окрестностям Парижа, мечтать о свидании, видеться с любимым, вновь мечтать — такова была история ее жизни, бедной событиями, но богатой любовью.

Баюкая на коленях дочь, родившуюся несколько месяцев тому назад, Каролина с удовольствием погрузилась в воспоминания о прошлом. Особенно охотно она грезила о сентябрьских каникулах, когда Роже ежегодно увозил ее в Бельфей, чтобы провести там чудесные дни ранней осени,

как будто принадлежащие одновременно всем временам года. Природа тогда особенно щедро дарит цветы и фрукты, вечера бывают теплые, утра — прозрачно-тихие, и осенняя грусть часто сменяется радостным сиянием лета. В первые дни любви Каролина приписывала ровное, мягкое обращение Роже их редким, всегда желанным встречам и особому укладу жизни, при котором им не приходилось постоянно бывать вместе как супругам. И Каролина с наслаждением припомнила, как она мучилась напрасными опасениями и со страхом наблюдала за ним во время их первого пребывания в маленьком поместье Бельфей, расположенном в Гатинэ. Напрасное шпионство любви! Каждый раз счастливый сентябрь месяц пролетал, точно сон, среди ничем не нарушаемого блаженства. Она всегда видела на устах этого доброго человека нежную улыбку, которая казалась отражением ее собственной улыбки. Глаза Каролины наполнились слезами при воспоминании об этих картинах, необычайно ярко оживших в памяти; ей показалось, что она недостаточно любит Роже, и захотелось считать свое двусмысленное положение своеобразною данью судьбе, даровавшей ей такую любовь. Наконец, охваченная непреодолимым любопытством, она

в тысячный раз стала доискиваться, почему такой любящий человек наслаждался лишь тайным, незаконным счастьем. Она измышляла тысячи романов, но лишь для того, чтобы уклониться от правды, которую давно отгадала, хотя и закрывала на нее глаза. Каролина встала, держа спящую малютку на руках, и перешла в столовую, чтобы наблюдать там за приготовлениями к обеду. Этот день — шестое мая 1822 года — был годовщиной поездки в Сен-Ле, во время которой решилась ее судьба. Каждый год в этот день они с Роже справляли праздник любви. Каролина выдала для этого обеда парадное столовое белье, заказала изысканный десерт. С радостью позаботившись обо всем, что касалось Роже, она уложила дочку в красивую колыбель и вышла на балкон. Вскоре она увидела кабриолет, которым ее друг, уже достигший зрелого возраста, заменил прежний элегантный тильбюри. Ответив на первые горячие ласки Каролины и шалуна, называвшего его папой, Роже подошел к колыбели и склонился над ней, любуясь спящей дочерью. Он поцеловал ее в лобик, потом вынул из кармана фрака большой лист бумаги, испещренный черными строчками.

— Каролина, — сказал он, — вот приданое мадемуазель Эжени де Бельфей.

Мать с благодарностью взяла дарственную запись на крупную сумму государственного займа.

— Почему Эжени получит три тысячи франков дохода, а Шарль только тысячу пятьсот?

— Шарль, ангел мой, будет мужчиной, — ответил он, — ему достаточно и полутора тысяч; с таким доходом дельный человек не узнает нищеты. Если твой сын, вопреки ожиданиям, окажется ничтожеством, я не хочу способствовать его глупостям. Если же он будет честолюбив, то это скромное состояние внушит ему любовь к труду. А Эжени — женщина, ей нужно приданое.

Отец стал играть с Шарлем, резвость которого говорила о независимом характере и свободном воспитании. Ребенок нисколько не боялся отца, и ничто не нарушало того очарования, которое вознаграждает человека за обязанности отцовства. В этом тесном семейном кругу было по-настоящему радостно и хорошо.

Вечером, к большому удивлению Шарля, волшебный фонарь развернул на белом полотне занимательные и таинственные картины. Не раз наивная радость ребенка вызывала неудержимый смех Каролины и Роже. Позже, когда мальчика уложили спать, проснулась малютка и властным криком напомнила, что она голодна.

При свете лампы, стоявшей около камина в этой уютной и веселой комнате, Роже всецело отдался счастью, созерцая пленительную картину, которую представляли собой Каролина в ореоле темных кудрей, падавших на плечи, сверкающие свежей белизной, как только что распустившаяся лилия, и младенец, приникший к ее обнаженной груди. Свет лампы еще ярче оттенял прелесть молодой матери, мягко озаряя ее самое, ее белые одежды, головку ребенка и создавая повсюду живописные сочетания света и тени. Лицо этой спокойной, молчаливой женщины показалось Роже еще милее, и он ласково взглянул на ее красиво изогнутые алые губы, с которых ни разу не слетело ни одно резкое слово. Такое же нежное чувство промелькнуло в глазах Каролины, и она искоса взглянула на Роже, быть может, чтобы насладиться впечатлением, которое она на него производила, а быть может, чтобы отгадать, чем закончится вечер. «Неизвестный» понял этот кокетливый, выразительный взгляд и проговорил с притворной грустью:

— Мне надо ехать. Я должен еще закончить одно очень важное дело, по которому меня ждут дома. Долг прежде всего, не правда ли, дорогая?

Каролина посмотрела на него нежно и грустно,

но с той покорностью, за которой угадывается боль принесенной жертвы.

— Прощай, — сказала она. — Иди! Если ты задержишься еще хоть час, я не так легко отпущу тебя.

— Ангел мой, — ответил он тогда улыбаясь, — я получил трехдневный отпуск, и все считают, что я нахожусь в двадцати лье от Парижа.

Через несколько дней после шестого мая — годовщины прогулки в Сен-Ле — Каролина де Бельфей спешила утром на улицу Сен-Луи в Марэ, в тот дом, где она бывала каждую неделю. Рассыльный принес ей известие, что госпожа Крошар, ее мать, умирает от осложнения, вызванного катаром и ревматизмом. В то время как извозчик погонял лошадей по настойчивой просьбе Каролины, подкрепленной обещанием щедрых чаевых, богобоязненные старухи, которыми вдова Крошар окружила себя последнее время, привели священника в удобную и чистую квартиру третьего этажа, занимаемую бывшей хористкой. Служанка госпожи Крошар не знала, что красивая барышня, у которой часто обедала хозяйка, — ее дочь, и одна из первых стала настаивать на приглашении священника, надеясь, что это духовное лицо окажется ей самой не ме-

нее полезным, чем умирающей. В промежутке между партиями в бостон или во время прогулок по саду Тюрк старухам, с которыми любила посудачить вдова Крошар, удалось пробудить в очерствевшем сердце приятельницы угрызения совести при мысли о прошлом, смутную тревогу о будущем, страх перед адом и туманные надежды на прощение, основанное на искреннем возврате к религии. Итак, в это печальное утро три старухи, жившие на улице Сен-Франсуа и на улице Вье-Тампль, расположились в гостиной, где по вторникам их принимала госпожа Крошар. Каждая из них по очереди вставала с кресла и направлялась в соседнюю комнату, чтобы посидеть у изголовья бедной старухи и внушить ей те ложные надежды, которыми успокаивают умирающих. Но когда, по их мнению, конец был уже близок, а приглашенный врач заявил, что не отвечает за жизнь пациентки, старухи стали советоваться: не следует ли известить мадемуазель де Бельфей? Выслушав мнение служанки Франсуазы, они решили отправить рассыльного на улицу Тетбу и предупредить родственницу, чье влияние казалось этим четырем женщинам весьма опасным. Они надеялись, однако, что рассыльный слишком поздно уведомит молодую

особу, пользовавшуюся чрезмерной любовью госпожи Крошар. Приятельницы лишь потому так заботливо ухаживали за вдовой, имевшей, по-видимому, не менее тысячи экю дохода, что ни одна из них, даже сама Франсуаза, не предполагала у нее наследников. Роскошь, окружавшая мадемуазель де Бельфей (госпожа Крошар никогда не называла ее дочерью, верная обычаям, существовавшим прежде в Опере), почти оправдывала план раздела имущества умирающей, созревший у четырех женщин.

Вскоре одна из колдуний, ухаживавших за больной, просунула в дверь трясущуюся голову и сказала встревоженным приятельницам:

— Пора посылать за аббатом Фонтаноном. Через два часа она уже ничего не будет соображать и у нее не хватит сил написать ни единого слова.

Старая, беззубая служанка тут же вышла из дому и вскоре вернулась с человеком в черном сюртуке.

У священника было самое обыденное лицо и узкий лоб — признак ограниченности. Толстые, отвислые щеки и двойной подбородок свидетельствовали об эгоистическом благополучии, а напудренные волосы придавали ему слащаво-любезный вид, но лишь до тех пор, пока он не

поднимал своих маленьких глазок навыкате, которые вполне подошли бы к лицу какого-нибудь татарина.

— Господин аббат, — говорила Франсуаза, — я вам очень благодарна за советы; не забудьте, что я не щадя сил ухаживала за своей дорогой хозяйкой.

Служанка, шаркая шлепанцами, шла за священником и что-то бормотала с похоронным выражением лица, но мгновенно умолкла, увидев, что дверь квартиры отворена, а самая пронырливая из трех вдов дежурит на площадке, чтобы перехватить духовника. Любезно выслушав потоки приторно благочестивых речей трех приятельниц умирающей, священник вошел в спальню госпожи Крошар и уселся у ее изголовья. Приличия ради три колдуньи и старая Франсуаза проявили известную сдержанность и остались в гостиной, где они старались перещеголять друг друга, строя скорбные мины, которые в совершенстве удаются лишь старухам с морщинистыми лицами.

— Вот беда-то! — воскликнула Франсуаза, вздыхая. — Это уж четвертая хозяйка, которую мне, на свое несчастье, придется хоронить. Первая оставила мне сто франков пожизненной ренты,

вторая — пятьдесят экю, а третья — тысячу экю наличными. Вот все, что у меня есть после тридцатилетней службы.

Воспользовавшись своим правом свободно расхаживать по квартире, служанка отправилась в чуланчик, откуда можно было слышать слова священника.

— Я с удовольствием замечаю, дочь моя, — говорил Фонтанон, — что вы благочестивы: вы носите образок.

Госпожа Крошар с трудом подняла руку; умирающая, очевидно, не вполне сознавала, что делает, ибо она показала священнику императорский орден Почетного легиона. Тот отшатнулся, узнав лицо Наполеона, однако тут же наклонился к своей духовной дочери, и она стала что-то говорить ему, но так тихо, что несколько минут Франсуазе ничего не удавалось расслышать.

— Проклятье тяготеет надо мной! — воскликнула вдруг старуха. — Не покидайте меня! Как, господин аббат, вы считаете, что мне придется ответить за душу дочери?

Тут священник настолько понизил голос, что Франсуаза не могла разобрать ни единого слова.

— Господи! Как же это! — плача, проговорила вдова. — Ведь негодяй не оставил мне ничего,

чем бы я могла распорядиться. Он соблазнил мою бедную Каролину, разлучил меня с ней и назначил мне только три тысячи ливров дохода с капитала, принадлежащего дочери.

— У хозяйки есть дочь, а капиталу никакого, всего только пожизненная рента! — воскликнула Франсуаза, вбегая в гостиную.

Три старухи переглянулись с глубочайшим изумлением. Та из них, у которой нос чуть не касался подбородка, — черта, свидетельствующая о большой доле лицемерия и хитрости, — подмигнула приятельницам и, едва Франсуаза повернулась к ним спиной, сделала знак, означавший: «Прислуга — тонкая бестия, она уже сумела попасть в три завещания». Итак, старухи не тронулись с места; но вскоре появился аббат, и стоило ему сказать несколько слов, как три колдуньи кубарем скатились с лестницы, оставив Франсуазу одну с хозяйкой. Госпожа Крошар, страдания которой стали невыносимы, тщетно звонила служанке, та ограничивалась возгласами: «Слышу! Иду! Сейчас!» — а дверцы шкафов и комодов хлопали, словно Франсуаза отыскивала затерявшийся лотерейный билет. Когда припадок подходил к роковому концу, мадемуазель де Бельфей вбежала к матери, спеша успокоить ее

ласковыми словами:

— Ах, бедная моя маменька, как я виновата перед тобой! Ты больна, а я и не знала об этом, сердце ничего не подсказало мне. Но вот я пришла…

— Каролина…

— Что?

— Они привели ко мне священника.

— Но надо позвать доктора, — продолжала мадемуазель де Бельфей. — Франсуаза, доктора! Почему твои приятельницы не послали за доктором?

— Они привели ко мне священника, — продолжала старуха, вздыхая.

— Как она страдает! И никакого успокоительного питья, никаких лекарств!

Мать сделала еле заметное движение, но проницательный взгляд Каролины отгадал ее желание, и молодая женщина умолкла, чтобы выслушать умирающую.

— Они привели ко мне священника… под видом исповеди. Берегись, Каролина, — с трудом проговорила старая хористка, делая над собой последнее усилие, — священник выпытал у меня фамилию твоего благодетеля.

— Но кто же мог сказать тебе ее, бедная мама?

Старуха попыталась хитро подмигнуть дочери и в этот миг испустила дух. Если бы мадемуазель де Бельфей была в состоянии наблюдать за лицом матери, она увидела бы то, что никому не доступно: она увидела бы, как смеется Смерть.

Чтобы понять сущность этой сцены, следует на время забыть об ее действующих лицах и выслушать рассказ о предшествующих событиях, так как последнее из них непосредственно связано со смертью госпожи Крошар. Тогда из этих двух частей получится единая история, которая, по законам парижской жизни, пошла по двум различным путям.

В конце октября 1805 года молодой адвокат, лет двадцати шести от роду, спускался около трех часов ночи по парадной лестнице дворца, где жил канцлер Империи. Слегка подмораживало. Очутившись во дворе в своем бальном костюме, он не мог удержаться от восклицания, в котором наряду с досадой проступало редко покидающее французов веселье. Действительно, сквозь ограду дворца не было видно ни одного извозчика, а вдалеке не слышалось ни одного звука, напоминающего хриплый голос парижского кучера или цоканье лошадиных подков по мостовой. Только лошади министра юстиции, засидевшегося у

Камбасереса за партией в буйот, время от времени били копытами о землю, и эти удары гулко отдавались во дворе, едва освещенном фонарями кареты. Молодой человек внезапно обернулся, почувствовав, что кто-то дружески хлопнул его по плечу; он узнал министра юстиции и поклонился ему. Когда лакей уже откидывал подножку кареты, бывший законодатель Конвента, отгадав затруднение адвоката, сказал ему весело:

— Ночью все кошки серы, и министр юстиции не скомпрометирует себя, если подвезет адвоката! В особенности, — прибавил он, — если этот адвокат — племянник старого коллеги, одного из светил государственного совета, подарившего Франции Кодекс Наполеона.

Итак, по приглашению главы имперской юстиции адвокат сел в карету.

— Где вы живете? — спросил министр, прежде чем лакей, ожидавший распоряжений, успел захлопнуть дверцу.

— На набережной Августинцев, ваше превосходительство.

Лошади тронули, и молодой человек оказался с глазу на глаз с министром, к которому напрасно пытался обратиться во время роскошного обеда, данного Камбасересом, так как тот явно избегал

его весь вечер.

— Ну-с, господин де Гранвиль, мы на хорошем пути.

— Да, пока я еду рядом с вашим превосходительством.

— Я не шучу, — сказал министр. — Ваш испытательный срок закончился два года тому назад, а благодаря вашим выступлениям на процессах Симеза и Отсэра вы сильно выдвинулись.

— Я полагал до сих пор, что моя преданность этим несчастным эмигрантам мне вредит.

— Вы очень молоды, — сказал министр серьезно. — Но сегодня вечером, — прибавил он, помолчав, — вы чрезвычайно понравились канцлеру. Вступайте в прокуратуру, нам не хватает людей. Племянник человека, к которому мы с Камбасересом относимся с живейшим участием, не должен оставаться адвокатом из-за отсутствия протекции. Ваш дядя помог нам пережить весьма тяжелые времена, а подобные услуги не забываются. — Министр опять помолчал. — У меня вскоре освободятся три места в суде первой инстанции и в парижском имперском суде, — продолжал он, — зайдите ко мне тогда и выберите то из них, которое вам подойдет. А до тех пор работайте, но не являйтесь ко мне в приемные

часы. Во-первых, я завален работой, а во-вторых, конкуренты могут отгадать наши намерения и повредить вам в глазах патрона. Мы с Камбасересом нарочно не перемолвились с вами сегодня ни единым словом и тем самым предохранили вас от опасности прослыть фаворитом.

В ту минуту, когда министр произносил последние слова, карета остановилась на набережной Августинцев. Молодой адвокат сердечно поблагодарил своего великодушного покровителя и стал громко стучать в дверь, так как холодный ветер уже подбирался под его одежду. Наконец старый привратник открыл дверь и, когда адвокат проходил мимо его каморки, крикнул охрипшим голосом:

— Господин Гранвиль, для вас есть письмо!

Молодой человек взял письмо, невзирая на холод, остановился и посмотрел на почерк при слабом свете уличного фонаря, фитиль которого грозил вот-вот погаснуть.

— Это от отца! — воскликнул он, беря свечу, которую не без труда зажег привратник. Он быстро поднялся к себе и прочел следующие строки:

«Садись в первую же почтовую карету; если тебе удастся немедленно приехать домой, тебя ждет богатство. У мадемуазель Анжелики Бонтан

умерла сестра, она теперь единственная дочь, и нам известно, что ты ей не безразличен. Госпожа Бонтан должна оставить дочери около сорока тысяч франков годового дохода, не считая приданого, которое она за ней даст. Я подготовил почву. Наши друзья удивятся, узнав, что мы, старинные дворяне, готовы породниться с семьей Бонтанов. Папаша Бонтан был ярым якобинцем и скупил за бесценок множество земель из национального имущества. Но, во-первых, это были монастырские угодья, которые никогда не вернутся прежним владельцам, а, во-вторых, если ты уж поступился своим дворянством, став адвокатом, почему бы нам не сделать еще одной уступки современным идеям? У девицы Бонтан будет триста тысяч франков, я дам тебе сто тысяч; да, кроме того, поместье твоей матери стоит около пятидесяти тысяч экю. При таком положении, дорогой сын, ты можешь не хуже всякого другого добиться звания сенатора, если только захочешь стать должностным лицом. Мой шурин, член государственного совета, конечно, палец о палец не ударит, чтобы продвинуть тебя, но, так как он холост, его должность когда-нибудь перейдет к тебе в порядке преемственности, если только ты не станешь сенатором благодаря собственным

заслугам. Ты взлетишь, таким образом, достаточно высоко, чтобы спокойно ожидать грядущих событий. Прощай, целую тебя».

Молодой Гранвиль лег спать, строя тысячи всевозможных предположений, одно радужнее другого. Он находился под могущественным покровительством канцлера, министра юстиции, а также своего дяди с материнской стороны, одного из составителей Кодекса. Молодому человеку предстояло начать карьеру на завидном посту, выступая перед верховным судом, и он уже видел себя одним из членов прокуратуры, среди которых Наполеон избирал высших чиновников Империи. Кроме того, ему предлагали состояние, достаточно завидное, чтобы поддержать свой ранг в обществе, на что, конечно, не хватило бы скромного дохода в пять тысяч, который давало унаследованное от матери поместье. Эти честолюбивые мечты сменились грезой о счастье; он вызвал в памяти наивное личико Анжелики Бонтан, подруги детских игр. Пока он был мальчиком, родители не препятствовали его дружбе с хорошенькой дочкой соседа. Но затем, когда он стал ненадолго приезжать в Байе на каникулы, отец и мать, кичившиеся своим дворянством, заметили его склонность к девушке и запретили

ему мечтать о ней. Таким образом, за последние десять лет Гранвиль видел лишь урывками ту, которую называл своей «маленькой невестой». Ускользнув из-под бдительного надзора своих семейств, молодые люди едва успевали обменяться несколькими банальными словами при беглых встречах в церкви или на улице. Самой большой радостью для них были сельские праздники, называемые в Нормандии собраниями, где они могли издали, украдкой наблюдать друг за другом. Во время последних каникул Гранвиль дважды встретил Анжелику и, заметив опущенный взор и грустный вид своей «маленькой невесты», понял, что она подпала под чью-то деспотическую власть.

Прибыв в семь часов утра в контору почтовых сообщений на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, Гранвиль нашел, к счастью, свободное место в почтовой карете, как раз отправлявшейся в город Кан. С глубоким волнением увидел начинающий адвокат колокольни собора Байе. Жизнь еще не обманула его надежд, и сердце легко раскрывалось навстречу прекрасным чувствам, волнующим юные души. После веселого, но слишком затянувшегося обеда, устроенного в честь его приезда отцом и несколькими

друзьями, молодой человек, горя нетерпением, отправился в сопровождении отца в хорошо знакомый дом на улице Тентюр. Его сердце усиленно забилось, когда отец, которого продолжали величать в Байе графом де Гранвилем, громко постучал в облупившиеся зеленые ворота. Было около четырех часов вечера. Молодая служанка в полотняном чепчике встретила господ коротким реверансом и сказала, что хозяйки должны скоро вернуться от вечерни. Граф с сыном вошли в низкую комнату, служившую гостиной и похожую на монастырскую приемную. Панели из полированного орехового дерева придавали ей мрачный вид, по стенам в строгом порядке было расставлено несколько мягких стульев и старинных кресел. Вместо украшений на камине стояло зеленоватое зеркало, а по бокам его — два старинных изогнутых канделябра времен Утрехтского мира. Против камина, на деревянной обшивке стены, молодой Гранвиль увидел огромное распятие из черного дерева и слоновой кости, а вокруг него освященные ветви букса. Хотя все три окна гостиной выходили в провинциальный садик с симметричными клумбами, обсаженными рядами букса, в комнате было так темно, что едва удавалось различить

на стенах три картины духовного содержания кисти какого-то крупного мастера; эти картины были куплены во время революции стариком Бонтаном, который, будучи начальником округа, никогда не забывал о собственной выгоде. Вокруг все сверкало поистине монастырской чистотой — от тщательно натертого пола до полотняных занавесок в зеленую клетку. Сердце молодого человека невольно сжалось в этом безмолвном доме, где жила Анжелика. Привычка вращаться в блестящих парижских гостиных и вихрь светских развлечений изгладили из памяти Гранвиля воспоминания о мрачном однообразии провинциальной жизни. И теперь этот контраст настолько поразил его, что он внутренне содрогнулся. Оказаться в кругу мелочных мыслей и понятий сразу же после общества, собирающегося у Камбасереса, где жизнь бьет ключом, в людях чувствуется размах и на всем лежит яркий отблеск императорской славы, — не было ли это столь же разительной противоположностью, как попасть из Италии прямо в Гренландию? «Жизнь здесь — прозябание», — подумал адвокат, рассматривая эту комнату, похожую на гостиную сектанта-методиста. Заметив удрученное состояние сына, старый граф взял его за руку, подвел к

окну, за которым уже сгущались сумерки, и, пока служанка зажигала наполовину обгоревшие свечи в высоких подсвечниках, попытался рассеять тень, набежавшую на лицо молодого человека.

— Послушай, дитя мое, — сказал он сыну, — вдова папаши Бонтан — сущая ханжа. Верно, накопила грехов, а теперь замаливает... Я вижу, ты морщишься при виде этой дыры. Выслушай же, в чем дело. Старуху осаждают попы, они убедили ее, что еще не поздно попасть на небо; и, желая задобрить апостола Петра, хранителя райских ключей, она решила его подкупить; ходит ежедневно к обедне, не пропускает ни одной церковной службы, причащается каждое божье воскресенье и развлекается, реставрируя часовни. Она подарила собору столько церковных облачений, стихарей и риз, украсила балдахин таким количеством перьев, что в нынешнем году, когда праздновался День Тела Господня, в церковь пришло не меньше народа, чем на место казни: всем хотелось полюбоваться во время крестного хода на священников в великолепном облачении и на заново вызолоченную церковную утварь. Зато дом Бонтанов — земля обетованная. Посмотри-ка на эти три картины — Доменикино, Корреджо и Андреа дель Сарто, — они стоят боль-

ших денег. Я едва уговорил старую сумасбродку, чтобы она не жертвовала их в пользу церкви.

— Но Анжелика? — с живостью спросил молодой человек.

— Если ты не женишься на ней, Анжелика погибла, — сказал граф. — Наши добрые пастыри посоветовали ей жить девственницей и мученицей. Мне стоило огромного труда пробудить ее сердечко. Ведь, узнав, что она стала единственной наследницей, я заговорил с ней о тебе, но, как только вы поженитесь, ты увезешь ее в Париж. Замужество, водоворот и мишура светской жизни отвлекут ее от мыслей об исповедальнях, постах, власяницах и обеднях, которыми только и живут эти ханжи.

— Но будут ли изъяты из распоряжения духовенства те пятьдесят тысяч франков дохода, которые госпожа Бонтан...

— Вот мы и коснулись сути дела, — многозначительно заметил граф. — Мысль о том, чтобы привить черенок фамилии Бонтан генеалогическому древу де Гранвилей, изрядно щекочет гордость вдовы Бонтан. Если дочь выйдет за тебя замуж, мамаша передаст ей все состояние в полную собственность, оставив за собой лишь право пользования доходом. Духовенство, разумеется,

противится этому браку, но я уже велел сделать церковное оглашение; все готово, и через неделю ты будешь вне пределов досягаемости цепких когтей мамаши и ее аббатов. Ты возьмешь в жены самую красивую девушку в Байе, и плутовка не доставит тебе хлопот, так как она воспитана в строгих правилах. Ее плоть, как они выражаются, умерщвлялась постами, молитвами и, — прибавил он шепотом, — неумолимой дланью родной матери.

Раздался слабый стук в дверь, и граф умолк, решив, что сейчас войдет госпожа Бонтан с дочерью. На пороге появился суетливый мальчик-слуга, но, смущенный присутствием посторонних господ, поманил рукой служанку, которая подошла к нему. На мальчике была голубая суконная куртка, короткие полы которой болтались вокруг бедер, и голубые панталоны в белую полоску; волосы были острижены в кружок, и он весьма походил на церковного служку, столько притворного благочестия было написано у него на лице — выражение, свойственное всем обитателям дома, хозяйка которого ханжа.

— Мадемуазель Гатьена, не знаете ли вы, где лежат книги для службы богоматери? Дамы из конгрегации Сердца Господня устраивают сего-

дня в церкви молебствие.

Гатьена отправилась за книгами.

— А долго ли продлится служба, дружок? — спросил граф.

— О, самое большее полчаса.

— Пойдем взглянем на это, там бывают хорошенькие женщины, — сказал отец сыну. — К тому же посещение собора не повредит нам в общественном мнении.

Молодой адвокат нерешительно последовал за отцом.

— О чем задумался? — спросил граф.

— Задумался… задумался… А ведь я прав, отец.

— Ты еще ничего не сказал.

— Да, но я подумал, что от прежнего состояния у вас осталось десять тысяч ливров годового дохода, которые вы мне оставите, надеюсь, как можно позднее; если же вы намерены дать мне сто тысяч франков с тем, чтобы я вступил в глупейший брак, то разрешите мне попросить у вас только половину и остаться холостым. Я избегну таким образом несчастья и буду пользоваться состоянием, равным тому, которое могла бы принести мне ваша мадемуазель Бонтан.

— Ты с ума сошел!

— Нет, отец. Выслушайте меня. Министр юсти-

ции обещал мне третьего дня место в парижской прокуратуре. Ваши пятьдесят тысяч франков, деньги, которые у меня есть сейчас, и мой будущий оклад — все это составит двенадцать тысяч франков годового дохода. Так зачем же мне вступать в выгодный, но несчастный брак? Без него судьба моя будет во сто крат завиднее.

— Сразу видно, — ответил отец, улыбаясь, — что ты не жил при старом режиме. Разве нас, мужчин, может связать жена!..

— Но, отец, в наши дни брак стал…

— Что?! — воскликнул граф, прерывая сына. — Неужели правда то, что твердят мои старые товарищи по эмиграции? Неужели революция оставила нам в наследство суровые нравы, отравила нашу молодежь сомнительными принципами? Ты, пожалуй, еще начнешь мне толковать о нации, об общественной морали и бескорыстии, точь-в-точь как мой шурин-якобинец. Бог ты мой, что сталось бы с нами, не будь сестер императора!

Этот еще бодрый старик, которого крестьяне из его владений до сих пор называли сеньором де Гранвилем, произнес последние слова своей игривой тирады уже под сводом собора. Он обмакнул пальцы в святую воду и, несмотря на святость

места, стал напевать мотив из оперы «Роза и Колá»[27]; затем провел сына боковыми приделами, останавливаясь у каждой колонны, чтобы окинуть взглядом церковь и ряды верующих, выстроившихся, как солдаты на параде. Должно было начаться молебствие Сердцу Господню. Дамы — члены конгрегации — уже разместились около клироса, и граф с сыном, пробравшись поближе к нему, прислонились к одной из наименее освещенных колонн, откуда взор мог охватить всю массу склоненных голов, похожую на луг, испещренный цветами. Внезапно в двух шагах от Гранвиля зазвенел голос, столь нежный, что, казалось, он не мог принадлежать человеческому существу, и поднялся ввысь, подобно трели первого весеннего соловья. Хоть с этим голосом сливалось множество других женских голосов и аккомпанемент органа, все же он отозвался в сердце молодого Гранвиля с такой силой, словно бы это были полные и чистые звуки гармониума. Парижанин обернулся и увидел девушку, склонившую головку; лицо ее было скрыто большими полями белой шелковой шляпы, но он подумал, что только с ее уст могла слететь эта дивная ме-

[27] Примечания: 27

«Роза и Колá» — опера французского композитора Пьера-Александра Монсиньи (1764).

лодия. Ему показалось, что он узнал Анжелику, несмотря на пальто из коричневой мериносовой ткани, совершенно скрывавшее ее фигуру, и он дотронулся до руки отца.

— Да, это она, — сказал граф, взглянув в сторону девушки. Затем старый аристократ кивнул старухе с бледным хитрым лицом и с темными кругами под глазами; она уже успела заметить вновь прибывших, хотя ее взгляд, казалось, ни на минуту не отрывался от молитвенника, который она держала. Анжелика подняла лицо к алтарю, как бы для того, чтобы вдохнуть одуряющий запах ладана, клубы которого уже начинали окутывать молящихся. И тогда, при таинственном свете, который разливали по темному храму свечи и висящее посреди большое паникадило, перед юношей предстал девичий образ, сразу поколебавший только что принятое решение. Белая муаровая шляпа с атласной лентой, завязанной под маленьким подбородком с ямочкой, обрамляла лицо с удивительно правильными чертами. Золотистые волосы, разделенные прямым пробором над узким, но изящно очерченным лбом, ложились на щеки, как тень листвы на цветущие чайные розы. Дуги бровей отличались чистотой рисунка, встречающейся у красивых

китаянок. Орлиный нос был на редкость четко очерчен, а розовые лепестки губ казались любовно выведенными кистью искусного художника. Бледно-голубые глаза светились целомудренной наивностью. Гранвиль заметил в лице Анжелики некоторую замкнутость и сухость, но приписал это благочестивым чувствам, переполнявшим ее душу. Так как в церкви было холодно, слова молитвы слетали с ее уст в виде благоуханного облачка, обнажая при этом два ряда жемчужных зубов. Молодой человек невольно наклонился, чтобы вдохнуть ее божественное дыхание. Это движение привлекло внимание Анжелики; взгляд девушки, неподвижно устремленный на алтарь, упал на Гранвиля, и хотя его силуэт лишь неясно вырисовывался в полумраке, она узнала товарища детских игр. Воспоминание оказалось могущественнее молитвы, и необычайное сияние разлилось по ее лицу; она покраснела. Адвокат вздрогнул от радости, увидев, что надежды на загробную жизнь поблекли перед надеждой на любовь, а земные воспоминания затмили славу алтаря. Но его торжество длилось недолго. Анжелика опустила вуаль и, вполне овладев собой, снова запела, причем в ее голосе не слышалось ни малейшего волнения. Гранвиль почувствовал

себя во власти одного непреодолимого стремления, и все его благоразумие улетучилось. К концу службы нетерпение молодого адвоката настолько увеличилось, что он не стал дожидаться, когда вдова Бонтан с дочерью вернутся домой, а тут же подошел поздороваться со своей «маленькой невестой». Знакомство робко возобновилось на паперти собора, в присутствии верующих. Госпожа Бонтан преисполнилась гордости, когда граф де Гранвиль предложил ей руку; а граф, вынужденный сделать это публично, был очень недоволен сыном за столь неуместную поспешность.

В течение двух недель, которые протекли между официальной помолвкой виконта де Гранвиля и Анжелики Бонтан и торжественным днем их свадьбы, молодой человек подолгу засиживался в мрачной приемной, к которой уже успел привыкнуть. Он хотел приглядеться к характеру Анжелики, так как рассудок заговорил в нем на следующий же день после их встречи. Почти всегда он заставал невесту за одним и тем же занятием: сидя у столика из дерева св. Люции, она метила белье для приданого. Анжелика никогда первая не заговаривала о религии. Если молодой адвокат забавлялся, играя дорогими

четками, лежавшими в зеленом бархатном мешочке, или же с усмешкой рассматривал ладанку — необходимую принадлежность этого орудия благочестия, Анжелика с умоляющим взглядом мягко отнимала у него четки и, молча положив их обратно в мешочек, тотчас же прятала его. Когда же Гранвиль позволял себе легкомысленно отзываться о некоторых религиозных обрядах, хорошенькая нормандка отвечала на его слова улыбкой непоколебимого убеждения.

— Надо или быть неверующим, или же верить всему, чему учит нас церковь, — говорила она. — Неужели вы хотели бы, чтобы мать ваших детей была женщина без религиозных убеждений? Кто осмелится быть судьей между неверующими и Богом? Могу ли я, со своей стороны, отвергать то, что признается церковью?

Благочестие юной Анжелики казалось таким трогательным, она бросала на молодого адвоката такие проникновенные взгляды, что минутами ему самому хотелось уверовать. Глубокое убеждение невесты в том, что она находится на правильном пути, пробудило в сердце будущего чиновника судебного ведомства сомнения, которые девушка пыталась углубить. В то время Гранвиль совершил огромную ошибку, приняв за

любовь обман чувств, влечение страсти. Анжелика была так счастлива возможностью примирить голос сердца с голосом долга, отдавшись зародившейся с детства склонности, что адвокат, введенный в заблуждение, не мог разобрать, какой же голос звучит в ней сильнее. Ведь молодые люди всегда готовы поверить обещаниям хорошенького личика и судить о душе по красоте внешнего облика. Необъяснимое чувство побуждает их верить, что нравственное совершенство всегда совпадает с совершенством физическим. Если бы религия воспретила Анжелике отдаться своему чувству, оно вскоре увяло бы в ее сердце, как растение, политое кислотой. Но разве мог счастливый влюбленный распознать столь глубоко затаенный фанатизм? Такова была история любви Гранвиля в течение этих двух недель, прожитых им с таким же нетерпеливым волнением, с каким человек проглатывает книгу с интригующей развязкой. Жених внимательно присматривался к Анжелике, и она показалась ему кротчайшей из женщин, он даже готов был благодарить госпожу Бонтан, сумевшую внушить дочери религиозные принципы и этим подготовить ее к жизненным невзгодам. В день подписания рокового брачного контракта вдо-

ва Бонтан взяла с зятя торжественную клятву, что он будет уважать религиозные убеждения жены, предоставит ей полную свободу совести, позволит ходить в церковь, исповедоваться и причащаться так часто, как ей того захочется, и никогда не станет навязывать ей своей воли при выборе духовника. В эту торжественную минуту Анжелика взглянула на жениха, и в глазах ее было столько чистоты и невинности, что Гранвиль, не колеблясь, принес требуемую клятву. На бледных губах аббата Фонтанона, духовного наставника всего семейства, промелькнула улыбка. Легким кивком головы Анжелика Бонтан обещала своему другу никогда не злоупотреблять предоставляемой ей свободой. Что касается старого графа, то он потихоньку насвистывал мотив: «Пойди посмотри, не идут ли они!»[28]

Свадьбу праздновали, как это принято в провинции, несколько дней, а затем Гранвиль с молодой женой уехал в Париж, куда его призвало назначение товарищем прокурора при имперском суде департамента Сены. Когда супруги стали подыскивать квартиру, Анжелика воспользовалась влиянием, которое дает всем женщинам

[28] Примечания: 28

Слова из популярной песенки, созданной французским поэтом и драматургом *Антуаном Удар де Ламоттом* (1672–1731).

медовый месяц, и убедила мужа нанять большое помещение в нижнем этаже особняка, на углу улиц Вье-Тампль и Нев-Сен-Франсуа. Главная причина ее выбора заключалась в том, что квартира находилась в двух шагах от церкви на Орлеанской улице, а также по соседству с часовней на улице Сен-Луи. «У хорошей хозяйки всегда должны быть под рукой запасы», — пошутил муж. Анжелика справедливо заметила, что квартал Марэ, где они поселились, расположен неподалеку от Дворца правосудия и что там живут все чиновники судебного ведомства, у которых они были с визитом. Довольно большой сад тоже придавал ценность этой квартире в глазах молодоженов: детям — если Господь пошлет им детей — будет где побегать; кроме того, при доме имелся обширный двор и хорошие конюшни. Товарищ прокурора предпочел бы жить в квартале Шоссе д'Антен, где все молодо и полно жизни, где можно увидеть последние новинки моды, где по бульварам гуляет нарядная публика, а до театров и всяких мест развлечений рукой подать, но ему пришлось уступить вкрадчивым просьбам молодой жены, которая умоляла мужа исполнить ее первое желание, и в угоду ей он похоронил себя в Марэ. Занимаемая Гранвилем

должность отнимала у него довольно много времени, так как работа эта была для него новой. Вот почему он прежде всего занялся устройством кабинета и библиотеки. Обосновавшись в кабинете, где вскоре появились целые кипы судебных дел, он предоставил жене руководить убранством остальных комнат. Он охотно переложил на Анжелику первые хозяйственные хлопоты — источник стольких радостей и воспоминаний для молодых женщин, ибо ему было совестно оставлять ее одну чаще, чем это полагается в медовый месяц. Но как только товарищ прокурора освоился с работой, он разрешил жене вытаскивать его из кабинета, чтобы показывать мебель и украшения, которые он видел до сих пор лишь порознь, пока они не заняли предназначенного для них места.

Если права поговорка, что о женщине можно судить по двери ее дома, то обстановка квартиры должна еще лучше отражать характер хозяйки. В чем тут было дело, в безвкусных ли обоях, выбранных госпожой де Гранвиль, или в том, что ее характер успел наложить отпечаток на все окружающее, — но муж был удивлен холодным и чопорным видом комнат; он не заметил в них ничего изящного — все было нестройно, ничто

не радовало глаз. Дух чопорности и прямолинейности, которым была проникнута приемная в Байе, вновь оживал в его собственном доме и сказывался даже в плафонах с круглыми лепными украшениями и арабесками в виде длинных путаных и безвкусных завитков. Желая оправдать жену, молодой человек еще раз прошел по всей квартире, вернулся в переднюю и вновь осмотрел эту длинную и высокую комнату. Цвет, в который, по приказанию жены, была выкрашена деревянная обшивка стен, оказался слишком мрачным, а темно-зеленый бархат скамеек придавал всему еще более строгий вид. Правда, передняя не имеет большого значения, но она все же дает представление о доме, подобно тому как об уме человека судят по первой же произнесенной им фразе. Передняя — своего рода предисловие, которое должно все предвещать, ничего не обещая. Молодой товарищ прокурора удивился, как могла жена выбрать лампу в виде античного фонаря, находившуюся посреди этой голой комнаты, где пол был выложен черным и белым мрамором, а рисунок обоев изображал каменную ограду, кое-где покрытую зеленым мхом. На стене висел дорогой, но старый барометр, словно для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть,

насколько тут неуютно и пусто. При виде этой обстановки молодой человек взглянул на жену и заметил, что она довольна красной каймой на перкалевых занавесках, довольна барометром и благонравной статуей, украшающей большой камин в готическом стиле, и у него не хватило жестокости или мужества рассеять столь глубокое заблуждение. Вместо того чтобы осудить жену, Гранвиль осудил самого себя; он обвинил себя в нарушении основной обязанности, требовавшей, чтобы он руководил в Париже первыми шагами девушки, воспитанной в Байе. Нетрудно представить себе убранство остальных комнат, судя по этому образцу. Но что можно было ждать от молодой женщины, которая приходила в ужас от голых ног кариатиды и с отвращением отталкивала канделябр, подсвечник или вазу, замечая на них обнаженный египетский торс? В те времена школа Давида была в зените славы. Вся Франция находилась под влиянием совершенного рисунка Давида и его любви к античным формам, превратившей живопись этого художника как бы в цветную скульптуру. Но ни одно из измышлений роскоши, свойственной временам Империи, не приобрело права гражданства у госпожи де Гранвиль. Белые штофные обои и тусклая позолота

ее огромной квадратной гостиной сохранились, казалось, со времен Людовика XV, причем для украшения этой комнаты архитектор не поскупился на ромбовидные решетки и на отвратительные орнаменты в виде гирлянд, появлению которых мы обязаны бездарным и плодовитым художникам того времени. Если бы по крайней мере здесь царила гармония, если бы новенькой мебели красного дерева была придана изогнутая форма, введенная в моду извращенным вкусом Буше, тогда убранство дома Анжелики можно было бы принять за прихоть молодоженов, живущих в XIX столетии так, словно они задержались в XVIII веке. Но множество вещей резало здесь глаз своим смешным несоответствием. Консоли, часы, подсвечники напоминали воинские доспехи, столь дорогие сердцу парижан после побед, одержанных Империей. Все эти греческие каски, скрещенные мечи и щиты, вызванные к жизни воинственным пылом французов и украшавшие мебель даже самого мирного назначения, совершенно не вязались с изящными, прихотливыми арабесками — увлечением маркизы де Помпадур. Набожность ведет к утомительному смирению, не исключающему гордыни. Проявилась ли в этом скромность госпожи де Гранвиль, или таков

был ее вкус, но, по-видимому, она питала отвращение к мягким и светлым цветам, а возможно, просто полагала, что пурпурно-коричневые тона больше всего соответствуют достоинству чиновника судебного ведомства. Да и как могла девушка, привыкшая к строго-нравственному укладу жизни, не презирать мягкие диваны, внушающие сладострастные мысли, изящные и коварные будуары, где зарождаются грехи? Бедный товарищ прокурора был в отчаянии. По тону, каким он высказывал одобрение и соглашался с похвалами, которые жена расточала самой себе, она заметила, насколько ему все не понравилось. Поняв свою неудачу, она проявила такое искреннее огорчение, что Гранвиль усмотрел в нем доказательство любви, а не уязвленного самолюбия. Разве могла лучше обставить квартиру девушка, внезапно вырванная из круга узких провинциальных понятий и незнакомая с кокетливым изяществом парижской жизни? Не желая взглянуть правде в глаза, товарищ прокурора предпочел думать, что ее выбором руководили поставщики. Будь он менее влюблен, он понял бы, что торговцы, быстро угадывающие требования клиентов, благословляли небо, которое послало им ханжу, лишенную вкуса, и помогло

избавиться от старомодных аляповатых вещей. Он стал утешать хорошенькую нормандку:

— Счастье, дорогая Анжелика, не в изяществе обстановки, а в женской нежности, уступчивости и любви.

— Но ведь любить вас — мой долг, и нет иного долга, который я готова выполнять с большей радостью, — кротко заметила Анжелика.

Природа вложила в сердце женщины такое желание нравиться и такую потребность в любви, что даже у молодой святоши мысли о загробной жизни и о спасении души должны были поблекнуть перед первыми радостями Гименея. С апреля — времени их свадьбы — и до начала зимы супруги жили в полном согласии. Любовь и труд обычно делают человека довольно равнодушным к окружающей обстановке. Гранвиль меньше, чем кто-либо другой, мог заметить некоторые мелочи своей домашней жизни, так как он полдня проводил во Дворце правосудия, где решались вопросы жизни и имущества людей. Если по пятницам ему за столом подавались только постные блюда и он безуспешно требовал в этот день чего-нибудь мясного, жена, которой евангелие воспрещало всякую ложь, все же умела отвести от себя подозрение при помощи

маленьких хитростей, дозволенных в интересах религии, ссылаясь то на свою забывчивость, то на отсутствие нужных припасов на рынке, а зачастую обвиняла во всем повара и даже доходила до того, что принималась его бранить. В те времена молодые чиновники судебного ведомства не соблюдали, как теперь, постных дней, больших постов и постов накануне праздников. Вот почему Гранвиль не обратил сперва внимания на правильное чередование постных обедов, тем более что они были на редкость изысканны, ведь жена, желая обмануть его, заказывала в эти дни паштеты, чирков, водяных курочек и рыбу со всевозможными острыми приправами. Итак, товарищ прокурора жил в полном согласии с учением церкви и, сам того не ведая, спасал свою душу. Он не знал, ходит ли жена к обедне в будни, но по воскресеньям проявлял вполне понятную снисходительность и лично сопровождал Анжелику в церковь, как бы желая вознаградить ее за то, что она иногда жертвовала ради него вечерней службой. Гранвиль не понял сперва всей строгости религиозных устоев жены. Летом жара мешает бывать в театре, и он ни разу не предложил жене посмотреть какую-нибудь нашумевшую пьесу. Таким образом, серьезный

вопрос о театре даже не поднимался. Наконец, в начале брака мужчина редко бывает требовательным в наслаждениях, если он женился на девушке ради ее красоты. Молодежь отличается скорее пылкостью, чем утонченностью в любви, к тому же первая интимная близость всегда полна очарования. Как распознать в женщине холодность, достоинство или сдержанность, когда наделяешь ее собственными восторгами, когда возлюбленная преображается, озаренная отблеском твоего собственного огня? Только достигнув известной супружеской умиротворенности, можно заметить, что святоша ждет любви со скрещенными руками. Итак, Гранвиль считал себя довольно счастливым, пока одно роковое событие не повлияло на дальнейшую судьбу его супружеской жизни. В ноябре 1808 года каноник собора Байе, некогда духовный наставник госпожи Бонтан и ее дочери, приехал в Париж с честолюбивым намерением получить приход в столице, который он, вероятно, считал ступенью к епископскому сану. Вновь подчинив своей власти духовную дочь, он пришел в ужас, увидев, насколько она изменилась в атмосфере Парижа, и решил помочь ей исправиться. Госпожа де Гранвиль была испугана укорами бывшего каноника,

человека лет тридцати восьми, отличавшегося от парижского духовенства, столь снисходительного и просвещенного, нетерпимостью, сухостью и ханжеством провинциального католицизма, преувеличенные требования которого связывают путами робкие души: грешница покаялась и вернулась к своему янсенизму. Было бы скучно описывать день за днем мелкие события, которые постепенно сделали несчастной эту семью. Достаточно будет, пожалуй, упомянуть о важнейших фактах, отказавшись от добросовестного перечисления их в хронологическом порядке. Первое разногласие между молодыми супругами было все же довольно знаменательно. Когда Гранвиль стал вывозить жену в свет, она охотно посещала почтенные семейства, бывала на обедах, концертах и ездила к деловым знакомым мужа, стоявшим выше него в служебной иерархии, но неизменно ссылалась на мигрень, как только ей предстояло отправиться на бал. Гранвиля вывели из терпения эти притворные недомогания, и однажды он скрыл пригласительное письмо на бал, полученное от члена государственного совета, а вечером, видя, что жена вполне здорова, обманул ее и, сославшись на устное приглашение, словно невзначай приехал вместе с ней на волшебное

празднество.

— Дорогая, — сказал он жене по возвращении домой, обиженный ее грустным видом, — наше семейное и общественное положение, наше богатство налагают на вас обязанности, отменить которые не может ни один божественный закон. Разве вы не гордость мужа? Вам придется ездить на все балы, где бываю я, и появляться там в надлежащем виде.

— Но, друг мой, что же было такого неудачного в моем туалете?

— Речь идет о вашей манере держать себя, дорогая. Когда к вам подходит молодой человек, начинает с вами разговаривать, вы напускаете на себя такую ледяную холодность, что шутник может заподозрить в неустойчивости вашу добродетель. Вы словно боитесь скомпрометировать себя улыбкой. Право, можно подумать, что вы просите у Бога прощения за грехи, которые совершаются вокруг вас. Свет, ангел мой, не монастырь. Но раз ты заговорила о туалете, то признаюсь, что в этом ты тоже обязана следовать моде и обычаям света.

— Неужели вы желаете, чтобы я выставляла напоказ свое тело, по примеру всех этих бесстыдных женщин, которые так обнажаются, что

нескромные взгляды могут скользить по их голым плечам, по…

— Существует большая разница, дорогая, — прервал ее товарищ прокурора, — между тем, чтобы обнажать грудь и изящно декольтировать платье. Тройной ряд тюлевого рюша на воротнике вашего платья закрывает шею до самого подбородка. Можно подумать, будто портниха нарочно изуродовала по вашей же просьбе линию ваших плеч и груди, а ведь любая кокетка добивается именно того, чтобы платье обрисовывало самые сокровенные формы ее тела. Бюст у вас был прикрыт таким количеством складок, что ваша чопорность всем показалась смешной. Вам было бы неприятно, если бы я повторил те нелепые предположения, которые высказывались на ваш счет.

— Тем, кому нравятся эти непристойности, не придется нести бремени наших грехов, — сухо ответила молодая женщина.

— Вы не танцевали? — спросил Гранвиль.

— Я никогда не буду танцевать, — возразила она.

— А если я вам скажу, что вы обязаны танцевать? — раздраженно продолжал товарищ прокурора. — Да, вы должны следовать моде,

носить бриллианты, цветы в волосах. Подумайте же, моя милая, что богатые люди — а мы богаты — обязаны поддерживать роскошь в государстве! Не лучше ли содействовать процветанию мануфактур, чем тратить деньги на милостыню, раздаваемую руками духовенства?

— Вы рассуждаете, как чиновник, — сказала Анжелика.

— А вы — как монахиня, — резко возразил Гранвиль.

Спор обострился. Госпожа де Гранвиль отвечала мужу с неизменной кротостью и голосом чистым, как звук церковного колокольчика, но в словах ее чувствовалось упорство, вызванное влиянием духовенства. Когда Анжелика сослалась на права, предоставленные ей клятвенным обещанием Гранвиля, и на своего духовника, запретившего ей посещать балы, товарищ прокурора постарался доказать, что священник искажает предписания церкви. Отвратительный спор вспыхнул с еще бóльшим ожесточением как с той, так и с другой стороны, когда Гранвиль вздумал повести жену в театр. Наконец, лишь для того, чтобы подорвать вредное влияние духовника жены, товарищ прокурора придал ссоре такой оборот, что разгневанная госпожа де Гран-

виль написала в римскую курию, желая узнать, может ли жена в угоду мужу декольтироваться, посещать балы и театры, не погубив своей души. Ответ святейшего Пия VII не заставил себя ждать. В нем строго осуждались непокорность жены и советы духовника. Это письмо — настоящий супружеский катехизис — было, казалось, продиктовано нежным голосом Фенелона[29] и дышало его изяществом и кротостью. «Женщине должно быть хорошо повсюду, куда бы ни привел ее супруг. Если она грешит по его приказанию, то не ей придется отвечать за это». Вот два места из послания папы, которые дали госпоже де Гранвиль и ее духовному отцу повод обвинить главу католической церкви в безбожии. Но еще до получения пастырского послания товарищ прокурора заметил, что в его доме строго соблюдаются посты, и, не желая поститься по принуждению жены, приказал прислуге подавать ему круглый год скоромное. Хотя это распоряжение вызвало неудовольствие госпожи де Гранвиль, товарищ прокурора, которого весьма мало трогал вопрос как о скоромном, так и о постном, все же стойко выдержал характер. Всякое мыслящее суще-

[29] Примечания: 29

Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон (1651–1715) — французский писатель, автор знаменитого романа «Приключения Телемака» (1695).

ство, даже самое слабое, бывает оскорблено в своих лучших чувствах, если ему приходится совершать под давлением чужой воли поступок, казавшийся до того вполне естественным. Из всех видов тирании самый гнусный тот, который мешает человеку самостоятельно действовать и мыслить: ведь это значит отречься от собственной личности прежде, нежели сумеешь ее проявить. Самое ласковое слово замирает на устах, нежнейшее чувство гаснет, когда нам кажется, что нас принуждают к ним. Вскоре молодой товарищ прокурора отказался принимать друзей, устраивать обеды и празднества; его дом словно облекся в траур. Если хозяйка дома — святоша, на всем там лежит печать ханжества. В таком доме слуги неизменно находятся под женским надзором, и выбирают их из числа так называемых благочестивых людей, которым присущи совершенно особые физиономии. Подобно тому, как симпатичнейший малый приобретает типическую внешность жандарма, поступив в полицию, так и люди, ревностно соблюдающие церковные обряды, становятся похожими друг на друга. Привычка опускать очи долу и принимать глубоко сокрушенный вид является личиной, которую прекрасно умеют носить обманщики.

Кроме того, святоши образуют своего рода общину и все знакомы между собой; слуги, которых они рекомендуют друг другу, составляют как бы особое племя, ибо хозяева оберегают его по примеру любителей лошадей, которые не допускают в свои конюшни ни одной лошади без аттестата, составленного по всем правилам. Чем внимательнее приглядываются мнимые нечестивцы к богобоязненному семейству, тем яснее видят там что-то неприятное: они замечают в доме набожных людей следы скупости и тайны, как у ростовщиков, и ту пахнущую ладаном сырость, которая застаивается в холодном воздухе часовен. Мелочный распорядок жизни, узость мысли, которая чувствуется там во всем, можно определить одним словом — *ханжество.* В этих мрачных, зловещих домах ханжеством пропитаны мебель, гравюры, картины; ханжество там и в словах, и в молчании, и в лицах. Превращение людей и вещей в воплощенное ханжество — необъяснимая тайна, но таковы факты. Каждый из нас имел возможность наблюдать, что ханжи ходят, садятся и говорят не так, как ходят, садятся и говорят обыкновенные люди. У них в доме чувствуешь себя стесненным, у них не посмеешься; неподвижность, симметрия царствуют

во всем — от чепца хозяйки до ее подушечки для булавок; там не встретишь ни одного искреннего взгляда, люди кажутся тенями, а сама хозяйка словно восседает на ледяном троне. Однажды утром несчастный Гранвиль с болью и грустью увидел у себя в доме все признаки ханжества. В свете встречаются дома, в которых одни и те же результаты бывают вызваны различными причинами. Скука заключает эти злосчастные дома в заколдованный круг, внутри которого чувствуются ужас и безграничность пустоты. Семейный очаг похож там не на склеп, нет, а на нечто худшее — на монастырь. Окруженный этой ледяной атмосферой, товарищ прокурора стал присматриваться к жене взглядом, уже не отуманенным страстью, и с глубокой грустью понял узость ее кругозора, о котором свидетельствовали маленький, слегка вдавленный лоб и низко растущие волосы; в безупречной правильности черт ее лица он уловил нечто застывшее, непреклонное и вскоре возненавидел прельстившую его сначала притворную кротость. Он предугадывал, что, случись несчастье, с ее тонких губ могут слететь слова: «Это тебе во благо, друг мой». Цвет лица госпожи де Гранвиль приобрел мертвенный оттенок, а в чертах застыло строгое

выражение, убивавшее радость у всех, кто с ней встречался. Чем была вызвана эта перемена? Аскетическим ли выполнением обрядов, которому так же далеко до благочестия, как скаредности до бережливости, или же сухостью, свойственной душам ханжей, — трудно сказать; но красота, лишенная жизни, — быть может, просто обман. Невозмутимая улыбка, появлявшаяся на губах молодой женщины при виде Гранвиля, казалась иезуитской формулой счастья, посредством которой она думала удовлетворить всем требованиям брака. Ее милосердие было оскорбительно, ее бесстрастная красота казалась чудовищной, а нежные слова раздражали: ведь она повиновалась не чувству, а долгу. У женщин бывают недостатки, которые могут изгладиться под влиянием жестоких уроков, преподанных жизнью или мужем, но ничто не преодолеет тирании ложных религиозных понятий. Желание достигнуть вечного блаженства, презрев мирские наслаждения, способно восторжествовать над всем и все помочь перенести. Не есть ли это обожествленный эгоизм, мое я, намеревающееся продолжить свою жизнь по ту сторону могилы? Вот почему сам папа оказался виновным перед судом непогрешимого каноника и молодой святоши. Быть

всегда правым — одно из чувств, заменяющих все остальные в душах деспотичных святош. С некоторых пор между супругами началась скрытая борьба за убеждения, и Гранвиль скоро устал от этого поединка, которому не видно было конца. Какой мужчина, даже с сильным характером, станет проявлять настойчивость, столкнувшись с лицемерно-влюбленным выражением лица и с непреклонным упорством, противопоставленным малейшим его желаниям? Что делать с женщиной, которая пользуется вашей страстью, чтобы охранять свою бесстрастность от всяких покушений, которая пребывает кротко-неумолимой, с наслаждением готовится к роли жертвы и смотрит на мужа как на бич господень, как на источник мук, избавляющих ее от испытаний чистилища? Где найти слова, достаточно выразительные, чтобы описать этих женщин, которые внушают ненависть к добродетели, искажают самые трогательные заповеди религии, выраженные апостолом Иоанном в словах «Любите друг друга»? Если в магазине появлялась шляпа, осужденная остаться на витрине или быть посланной в колонии, Гранвиль мог быть уверен: жена нарядится в нее; если выпускалась материя неудачной расцветки или рисунка, госпожа де

Гранвиль облекалась в нее. Святоши способны всякого привести в отчаяние своими безобразными туалетами. Отсутствие вкуса — один из недостатков, неразрывно связанных с ложным благочестием. Таким образом, в личной жизни, где прежде всего хочется встретить взаимное понимание, Гранвиль остался одиноким; он всюду стал ездить один: в свет, на празднества, в театр. Дома ничто не привлекало его. Большое распятие, висевшее между кроватями супругов, было как бы символом судьбы Гранвиля: оно изображало Сына Божьего, преданного смерти, Бога-Человека, убитого в расцвете жизни и молодости. Слоновая кость на этом кресте была менее холодна, чем Анжелика, распинавшая мужа во имя добродетели. Между их кроватями угнездилось несчастье, так как в наслаждениях Гименея молодая женщина не видела ничего, кроме долга. В среду на первой неделе великого поста здесь появился призрак воздержания с мертвенно-бледным лицом и предписал резким голосом строжайшее соблюдение поста, но на этот раз Гранвиль не счел удобным писать папе, чтобы узнать мнение консистории о том, как следует соблюдать посты, постные дни и кануны больших праздников. Молодой товарищ прокурора

чувствовал себя безмерно несчастным; он даже не мог жаловаться, да и на что? Он был женат на молодой, хорошенькой женщине, благонравной и преданной своим обязанностям, образце всяческих добродетелей! Она каждый год дарила ему по ребенку, всех их кормила сама и воспитывала в строгих правилах.

Добродетельная Анжелика была провозглашена ангелом. Старухи, составлявшие ее общество (в те времена женщинам молодым еще не приходило в голову рисоваться строжайшим благочестием), единодушно восхищались самоотверженностью госпожи де Гранвиль и видели в ней если не девственницу, то по меньшей мере мученицу. Они винили во всем не чрезмерную узость религиозных устоев жены, а безжалостность и чувственность мужа. Гранвиль, поглощенный службою, лишенный развлечений, удрученный и утомленный одиночеством, к тридцати двум годам незаметно впал в глубочайшую апатию. Жизнь стала ему в тягость. Он был слишком высокого мнения об обязанностях, которые налагал на него занимаемый пост, чтобы явить пример беспорядочной жизни; он решил забыться в работе и начал писать большой труд о праве. Но недолго наслаждался он монастырским спокой-

ствием, на которое рассчитывал. Увидев, что муж отказался от светских развлечений и усердно работает дома, неземная Анжелика попыталась окончательно наставить его на путь истинный. Воззрения мужа, несовместимые с христианской религией, причиняли ей большое горе; она иногда плакала, думая о том, что ее супруг может умереть нераскаянным и что тогда она навсегда потеряет надежду вырвать его из геенны огненной. Итак, Гранвилю пришлось вплотную столкнуться с узкими понятиями, бессодержательными рассуждениями и ограниченными мыслями, при помощи которых жена, полагавшая, что уже одержала первую победу, пыталась добиться второй — вернуть супруга в лоно церкви. Это был последний удар. Что может быть тягостнее глухой борьбы, где упрямство святоши пытается одержать верх над логикой чиновника судебного ведомства? Что может быть ужаснее ядовитых булавочных уколов, которым сильные люди предпочитают удары кинжала? Гранвиль все чаще стал проводить время вне дома, где все было ему невыносимо. Дети, угнетенные холодным деспотизмом матери, не смели пойти с отцом в театр, и Гранвиль не мог доставить им ни малейшего удовольствия без того, чтобы не

подвергнуть их наказанию грозной матери. Этот любящий человек был доведен до равнодушия, до эгоизма — худшего, чем смерть. Из этого ада он спас по крайней мере сыновей, рано поместив их в коллеж и сохранив за собой право руководить ими. Он редко вмешивался в отношения матери к дочерям, но решил выдать девочек замуж, как только они подрастут. Прими он крайние меры, никто не стал бы на его сторону; жена при поддержке внушительной свиты благородных старух заставила бы весь свет осудить его. У Гранвиля, следовательно, не оставалось иного выхода, как жить в полнейшем одиночестве; он был подавлен несчастьем, и лицо его, поблекшее от горя и работы, стало неприятно ему самому. В довершение всего он избегал знакомств и связей со светскими женщинами, отчаявшись найти у них утешение.

В течение пятнадцати лет, с 1806 по 1821 год, в поучительной и грустной истории этой семьи не произошло ни одного примечательного события. Потеряв сердце мужа, госпожа де Гранвиль осталась такой же, как и в те дни, когда считала себя счастливой. Она неустанно молила Бога и угодников просветить ее относительно собственных недостатков, неприятных супругу, и наставить

ее на путь истинный, дабы она могла вернуть в лоно семьи заблудшую овцу; но чем усерднее были ее молитвы, тем реже Гранвиль показывался дома. Уже около пяти лет этот бывший товарищ прокурора, которому при Реставрации поручались высшие посты в судебном ведомстве, жил в антресоли своего особняка, чтобы избежать близости с женой. Каждое утро происходила сцена, которая, если верить светскому злословию, повторяется во многих семействах из-за несходства характеров, нравственных и физических недугов или же странностей, приводящих множество браков к несчастьям, описанным в настоящей повести. Часов в восемь утра горничная, несколько напоминавшая монахиню, звонила у двери апартаментов графа де Гранвиля. При входе в гостиную, смежную с кабинетом графа, она повторяла камердинеру одним и тем же тоном неизменную фразу:

— Барыня приказала спросить, хорошо ли провели ночь его сиятельство и будет ли она иметь удовольствие завтракать вместе с ними.

— Барин, — отвечал камердинер, переговорив с хозяином, — просит кланяться ее сиятельству и передать его извинения: ему надо ехать по важному делу во Дворец правосудия.

Минуту спустя горничная вновь появлялась и спрашивала от имени хозяйки, будет ли та иметь счастье видеть его сиятельство перед отъездом.

— Они уже уехали, — отвечал слуга, хотя зачастую кабриолет графа еще стоял во дворе.

Этот разговор через посредников превратился в ежедневный ритуал. Камердинер де Гранвиля, его любимец, не раз служивший причиной ссоры между супругами из-за его неверия и распущенности, отправлялся иногда для вида в пустой кабинет хозяина и выходил оттуда с обычным ответом. Огорченная супруга неизменно подстерегала мужа при его возвращении и появлялась в подъезде, чтобы предстать перед ним как олицетворенное угрызение совести. Мелочная придирчивость, свойственная елейным людям, составляла сущность характера госпожи де Гранвиль, которая в тридцать пять лет казалась сорокалетней. Когда Гранвиль, принужденный соблюдать приличия, разговаривал с женой или оставался обедать дома, она, счастливая тем, что может навязать ему свое общество, свои кисло-сладкие речи и невыносимую скуку — неразлучную спутницу ханжей, — старалась подчеркнуть его вину в глазах прислуги и своих добродетельных приятельниц. Графу

де Гранвилю, в то время прекрасно принятому при дворе, было предложено место председателя судебной палаты в провинции, но он обратился в министерство с просьбой оставить его в Париже. Этот отказ, причины которого были известны лишь министру юстиции, навел на самые странные догадки близких приятельниц и духовника графини. Гранвиль, имевший сто тысяч ливров годового дохода, принадлежал к одному из лучших родов Нормандии; его назначение председателем судебной палаты было ступенью к пэрству. Откуда же это отсутствие честолюбия? Почему забросил он свой большой труд о праве? Чем вызван рассеянный образ жизни, который вот уже лет шесть отвлекает его от дома, от семьи, от работы — от всего, чем, казалось, он должен бы дорожить? Добиваясь епископского сана, духовник графини рассчитывал не только на услуги, оказанные им одной конгрегации, ревностным сторонником которой он был, но и на поддержку семейств, подчинившихся его духовной власти; вот почему он был разочарован отказом де Гранвиля и постарался его оклеветать, высказывая следующие предположения: не потому ли граф питает отвращение к провинции, что его пугает необходимость упорядочить свой образ жизни?

Ведь в провинции ему пришлось бы показывать пример и жить с графиней, от которой может его отдалять лишь преступная страсть. Разве такая безупречная женщина, как графиня, может заметить беспутное поведение мужа? Добрые приятельницы поддержали эти домыслы, которые, к несчастью, не были игрой воображения, и госпожа де Гранвиль была как громом поражена. Не имея понятия о нравах высшего света, незнакомая с любовью и ее безрассудствами, Анжелика была далека от мысли, что в браке встречаются иные разногласия, чем те, которые отвратили от нее сердце Гранвиля, и считала, что муж ее не способен совершать ошибки, какие являются в глазах всех жен преступлением. Когда граф совсем отдалился от нее, она вообразила, что эта кажущаяся бесстрастность вполне естественна. Наконец, так как госпожа де Гранвиль отдала ему весь запас любви, предназначавшийся мужчине, а догадки духовника разрушали ее последние иллюзии, она встала на защиту мужа, хотя и не была в силах заглушить подозрение, так искусно зароненное в ее душу. Тревожные предчувствия до такой степени повлияли на слабый разум графини, что она заболела изнурительной лихорадкой. Все это происходило постом 1822 года;

госпожа де Гранвиль не пожелала отказаться от строгого поста, предписанного ей благочестием, и постепенно дошла до полного истощения; врачи стали опасаться за ее жизнь. Равнодушные взгляды Гранвиля убивали ее. Уход и внимание мужа походили на заботы, которыми племянник окружает старика-дядюшку. Хотя графиня отказалась от своей системы придирок и упреков и пыталась встречать мужа ласковыми словами, все же в них иногда проглядывала колкость святоши, и часто одно слово разрушало старания целой недели. К концу мая теплое дыхание весны и более питательная пища несколько укрепили силы госпожи де Гранвиль. Однажды утром, возвратившись от обедни, она села на каменную скамью в своем садике; тепло солнечных лучей напомнило графине о первых днях замужества, и она мысленно обратилась к своей прежней жизни, чтобы понять, чем нарушила она обязанности матери и супруги. В эту минуту появился аббат Фонтанон в неописуемом волнении.

— Что случилось, отец мой? — спросила она с дочернею заботливостью.

— Как бы я хотел, чтобы все несчастья, ниспосланные вам десницей всевышнего, выпали на мою долю, — ответил нормандец, — но, ува-

жаемый друг, перед такими испытаниями вам остается только смириться.

— Да разве может постигнуть меня кара ужаснее той, которую посылает мне провидение, пользуясь моим супругом как орудием своего гнева?

— Приготовьтесь, дочь моя, к худшему злу, чем то, которого мы некогда опасались с вашими благочестивыми приятельницами.

— В таком случае я должна благодарить Господа, что он соблаговолил избрать вас для изъявления мне своей воли, — ответила графиня. — Тем самым сокровища его милосердия сопутствуют громам и молниям его гнева; так некогда, изгнав Агарь, он указал ей в пустыне источник водный.

— Он соразмерил наказание с глубиной вашей покорности и бременем ваших грехов.

— Говорите, я ко всему готова. — Тут графиня возвела очи горé и прибавила: — Говорите, господин Фонтанон.

— Вот уже семь лет, как господин де Гранвиль совершает грех прелюбодеяния с наложницей, от которой у него двое детей; он растратил на содержание этой побочной семьи более пятисот тысяч франков, которые по праву принадлежат его законной семье.

— Я хочу во всем убедиться собственными глазами, — проговорила графиня.

— И не помышляйте об этом! — воскликнул аббат. — Вы должны простить, дочь моя, и молиться, чтобы Господь просветил вашего супруга, если только вы не пожелаете прибегнуть к средствам, предоставляемым вам законами человеческими.

Продолжительный разговор аббата Фонтанона с его духовной дочерью произвел в ней резкую перемену; проводив аббата, графиня появилась среди слуг чуть ли не с румянцем на лице и испугала их своей лихорадочной суетливостью: она велела подать карету, потом распрячь лошадей, за один час раз двадцать меняла приказания, но наконец около трех часов приняла, по-видимому, важное решение и уехала, поразив домашних внезапным нарушением всех своих привычек.

— Вернется ли барин к обеду? — спросила она перед отъездом у камердинера, с которым обычно не разговаривала.

— Не обещали быть, ваше сиятельство.

— Вы отвезли его утром в суд?

— Так точно, ваше сиятельство.

— А ведь сегодня понедельник.

— Понедельник, ваше сиятельство.

— Разве он бывает теперь в суде по понедель-

никам?

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул слуга, слыша, как, садясь в карету, графиня сказала кучеру:

— На улицу Тетбу.

Мадемуазель де Бельфей плакала. Безмолвно стоя подле своей подруги, Роже держал ее за руку и смотрел то на маленького Шарля, который молчал, ничего не понимая в горе плачущей матери, то на колыбель спящей Эжени, то на Каролину, слезы которой походили на дождь, пронизанный светлыми лучами солнца.

— Да, это правда, мой ангел, — сказал Роже после продолжительного молчания, — в этом весь секрет: я женат. Но когда-нибудь, надеюсь, мы будем с тобой неразлучны. С марта месяца моя жена находится в безнадежном положении; я не желаю ей смерти, но если Богу будет угодно призвать ее к себе, она будет, мне кажется, счастливее в раю, чем на этом свете, — земные страдания и земные радости ей одинаково чужды.

— Как я ненавижу эту женщину! Как могла она сделать тебя несчастным? Однако этому несчастью я обязана своим блаженством.

— Будем надеяться, Каролина! — воскликнул Роже, целуя ее. — Пусть не пугает тебя то, что

мог наговорить этот аббат. Правда, духовник моей жены — человек опасный по тому влиянию, которым он пользуется в конгрегации, но, если он попытается расстроить наше счастье, я сумею принять меры.

— Что же ты сделаешь?

— Мы уедем в Италию. Придется бежать…

В соседней гостиной послышался крик; вздрогнув, Роже и мадемуазель де Бельфей бросились туда и увидели графиню, лежащую без чувств. Когда госпожа де Гранвиль пришла в себя, она глубоко вздохнула, заметив возле себя графа и свою соперницу, которую она молча оттолкнула с выражением глубочайшего презрения.

Мадемуазель де Бельфей встала и хотела выйти.

— Вы у себя дома, сударыня, останьтесь, — сказал Гранвиль, удерживая Каролину за руку.

Граф поднял умирающую жену, донес до кареты и сел туда вместе с ней.

— Как вы дошли до того, что вы стали избегать меня, желать моей смерти? — спросила графиня слабым голосом, глядя на мужа с возмущением и болью. — Разве я не была молода? Вы находили меня красивой, в чем же вы можете упрекнуть меня? Разве я вам изменяла, разве я не была

добродетельной и благоразумной женой? В моем сердце жил только ваш образ, ничей другой голос не ласкал моего слуха. Какой долг я нарушила, в чем отказала вам?

— В счастье, — ответил граф убежденно. — Вы знаете, сударыня, Богу можно служить по-разному. Иные христиане воображают, что попадут в рай, если станут ходить в церковь, читать «Отче наш», выстаивать обедни и избегать грехов. Таким христианам, сударыня, уготован ад, они не любили Бога ради него самого, они не служили ему так, как он того требует, не приносили ему никакой жертвы; несмотря на внешнюю кротость, они жестоки по отношению к ближнему. Они видят только закон, букву, но не сущность христианства. Так поступили и вы со своим земным супругом. Вы пожертвовали моим счастьем ради спасения своей души, вы были заняты молитвой, когда я приходил к вам с сердцем, преисполненным радости, вы плакали, когда своим присутствием могли бы вносить веселье в мой рабочий кабинет, вы ни разу не пошли навстречу моим желаниям.

— Но ведь ваши желания были преступны! — с жаром воскликнула графиня. — Неужели же, чтоб угодить вам, я должна погубить свою душу?!

— То была бы жертва, и у другой, более любящей, хватило мужества мне ее принести, — холодно сказал Гранвиль.

— О боже, ты слышишь его! — воскликнула она плача. — Разве он достоин молитв, постов и бдений, которыми я изнуряла себя, чтобы искупить его и свои грехи? Для чего же нужна тогда добродетель?

— Чтобы попасть в рай, моя милая. Нельзя быть одновременно женой человека и Христа: это было бы двоебрачием; надо сделать выбор между мужем и монастырем. Ради будущей жизни вы изгнали из своей души всякое чувство любви и преданности, которое Бог повелел вам питать ко мне, и сберегли для мира только ненависть…

— Разве я не любила вас? — спросила она.

— Нет, сударыня.

— Что же такое любовь? — невольно спросила графиня.

— Любовь, моя милая? — повторил Гранвиль с оттенком иронического удивления. — Вам этого не понять. Холодное небо Нормандии не может быть небом Испании. Очевидно, разгадка нашего несчастья заключается в вопросе о климатах. Подчиняться нашим прихотям, угадывать их, находить радость в страдании, пренебрегать

ради нас общественным мнением, самолюбием, даже религией и рассматривать все эти жертвы как крупицы фимиама, сжигаемого в честь кумира, — вот что такое любовь…

— Любовь бесстыдной оперной дивы, — проговорила графиня с отвращением. — Такой пожар не может долго длиться, скоро от него останутся угли или пепел, сожаление или отчаяние. По-моему, сударь, супруга должна дать вам искреннюю дружбу, ровную любовь и…

— Вы говорите о любви так же, как негры говорят о снеге, — ответил граф с сардонической улыбкой. — Поверьте, скромнейшая маргаритка бывает пленительнее самых надменных, ярких, но окруженных шипами роз, которые привлекают нас весной своим пьянящим благоуханием и ослепительными красками. Впрочем, — продолжал он, — я отдаю вам должное. Вы так хорошо придерживались буквы закона, что, пожелай я доказать, в чем вы виновны передо мной, мне пришлось бы войти в некоторые подробности, оскорбительные для вас, и разъяснить вещи, которые показались бы вам ниспровержением всякой морали.

— Вы осмеливаетесь говорить о морали, выходя из дома, где вы промотали состояние своих детей,

из притона разврата! — воскликнула графиня, возмущенная недомолвками мужа.

— Довольно, сударыня, — сказал граф, хладнокровно прерывая жену. — Если мадемуазель де Бельфей богата, то это никому не принесло ущерба. Мой дядя имел право распоряжаться своим состоянием, у него было несколько наследников, но еще при жизни, из чистой дружбы к той, которую он считал своей племянницей, он подарил ей поместье де Бельфей. Что касается остального, то и этим я обязан его щедрости.

— Так мог поступать только якобинец! — воскликнула благочестивая Анжелика.

— Сударыня, вы забываете, что ваш отец был одним из этих якобинцев, которых вы осуждаете так беспощадно. Гражданин Бонтан подписывал смертные приговоры в то время, когда мой дядя оказывал Франции ценные услуги.

Госпожа де Гранвиль замолчала. Но после минутной паузы воспоминание о только что виденной сцене пробудило в ней ревность, которую ничто не может заглушить в сердце женщины, и графиня сказала тихо, как бы про себя:

— Можно ли так губить свою душу и души других!

— Э, сударыня, — заметил граф, утомленный

разговором, — быть может, когда-нибудь вам самой придется ответить за все это. — При последних словах графиня содрогнулась. — В глазах снисходительного судьи, который станет взвешивать наши поступки, — продолжал он, — вы, несомненно, будете правы: вы сделали меня несчастным из добрых намерений. Не думайте, что я ненавижу вас; я ненавижу людей, которые извратили ваше сердце и ваш ум. Вы молились за меня, а мадемуазель де Бельфей отдала мне свое сердце, окружила меня любовью. Вам же приходилось быть поочередно то моей возлюбленной, то святой, молящейся у подножия алтаря. Отдайте мне должное и сознайтесь, что я не порочен, не развращен. Я веду нравственный образ жизни. Увы, по прошествии семи лет страдания потребность в счастье незаметно привела меня к другой женщине, к желанию создать другую семью. Не думайте, впрочем, что я один так поступаю: в этом городе найдется тысяча мужей, вынужденных по различным причинам вести двойную жизнь.

— Великий боже! — воскликнула графиня. — Как тяжек стал мой крест! Если супруг, которого в гневе своем ты даровал мне, может обрести на земле счастье только ценою моей смерти, призо-

ви меня в лоно свое!

— Если бы у вас были и раньше такие похвальные чувства и такая самоотверженность, мы были бы счастливы, — холодно проговорил граф.

— Ну хорошо, — продолжала Анжелика, проливая потоки слез, — простите меня, если я заблуждалась. Да, сударь, я готова во всем повиноваться вам, я уверена, чего бы вы ни потребовали от меня, все будет правильно и справедливо; отныне я буду такой, какой вы желаете видеть супругу.

— Сударыня, если вы хотите, чтобы я признался в том, что больше не люблю вас, у меня хватит жестокого мужества открыть вам глаза. Можно ли приказывать своему сердцу? Может ли одна минута изгладить память о пятнадцати годах страдания? Я больше не люблю вас. В этих словах такая же глубокая тайна, как и в словах «я люблю». Почет, уважение, внимание можно завоевать, потерять и вновь приобрести; что же касается любви, то я мог бы тысячу лет убеждать себя в необходимости любить и все же не пробудил бы в себе этого чувства, особенно по отношению к женщине, которая намеренно себя состарила.

— Ах, граф, я искренне желаю, чтобы ваша возлюбленная никогда не сказала вам этих слов,

особенно же таким тоном и с таким выражением…

— Угодно ли вам надеть сегодня вечером платье в греческом стиле и отправиться в Оперу?

Внезапная дрожь, пробежавшая по телу графини, послужила безмолвным ответом на этот вопрос.

В начале декабря 1833 года, в полночь, по улице Гайон проходил седой, как лунь, человек, изможденное лицо которого говорило скорее о том, что его состарили несчастья, чем годы. Приблизившись к невзрачному трехэтажному дому, он остановился и внимательно посмотрел на одно из окон чердачного помещения, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Слабый огонек едва освещал это убогое окошко, где несколько стекол были заменены бумагой. Прохожий вглядывался в этот мерцающий свет с непостижимым любопытством праздношатающихся парижан. Вдруг из дома вышел молодой человек.

Бледный свет уличного фонаря падал на лицо любопытного; не удивительно поэтому, что, несмотря на позднюю пору, молодой человек приблизился к нему с нерешительностью, свойственной парижанам, когда они боятся оши-

биться при встрече со знакомым.

— Что это! — воскликнул он. — Да это вы, господин председатель? Один, пешком, в этот час и так далеко от улицы Сен-Лазар! Окажите мне честь, позвольте предложить вам руку: сегодня так скользко, что мы рискуем упасть, если не будем поддерживать друг друга, — продолжал он, щадя самолюбие старика.

— Но, сударь, на мое несчастье, мне всего пятьдесят лет, — ответил граф де Гранвиль. — Такой прославленный врач, как вы, должен знать, что в этом возрасте мужчина находится в полном расцвете сил.

— Тогда остается предположить, что тут замешано любовное приключение, — продолжал Орас Бьяншон, — полагаю, вы не имеете обыкновения ходить пешком по Парижу. У вас такие прекрасные лошади…

— Если я не выезжаю в свет, — ответил председатель верховного суда, — то из Дворца правосудия или Иностранного клуба по большей части возвращаюсь пешком.

— И конечно, имея при себе большие деньги! — воскликнул молодой врач. — Но ведь это значит напрашиваться на удар кинжала!

— Этого я не боюсь, — возразил граф де Гран-

виль с грустным и равнодушным выражением лица.

— Но, во всяком случае, не надо останавливаться, — продолжал врач, увлекая председателя суда по направлению к бульвару. — Еще немного, и я подумал бы, что вы хотите украсть у меня свою последнюю болезнь и умереть не от моей руки.

— Да, вы застали меня за подсматриванием, — проговорил граф. — Бываю ли я здесь пешком или в карете, я в любой час ночи замечаю в окне третьего этажа того дома, откуда вы вышли, чей-то силуэт; по-видимому, кто-то трудится там с героическим упорством. — Тут граф вздохнул, как бы почувствовав внезапную боль. — Я заинтересовался этим чердаком, — прибавил он, — как парижский буржуа окончанием перестройки Пале-Рояля.

— Если так, — с живостью воскликнул Бьяншон, прерывая графа, — я могу вам…

— Не надо, — сказал Гранвиль. — Я не дал бы ни гроша, чтобы узнать, мужская или женская тень мелькает за этими дырявыми занавесками, счастлив или нет обитатель этого чердака! Если я и был удивлен тем, что никто не работает там сегодня вечером, если я и остановился, то исключительно ради удовольствия пофантазировать,

строя всякие нелепые предположения, как это делают праздные люди, когда замечают здание, внезапно брошенное в недостроенном виде… Уже девять лет, мой юный… — Граф, казалось, колебался, подбирая слова, затем, махнув рукой, воскликнул: — Нет, я не назову вас другом: я ненавижу все, что говорит о чувствах! Итак, вот уже девять лет, как я перестал удивляться старикам, которые занимаются разведением цветов, посадкой деревьев; жизнь научила их не верить в людскую привязанность, я же в несколько дней превратился в старика. Я хочу любить только бессловесных животных, растения и все, что принадлежит к миру вещей. Мне гораздо дороже танцы Тальони, чем все человеческие чувства, вместе взятые. Я ненавижу жизнь и мир, в котором я одинок. Ничто, ничто, — прибавил граф с таким выражением, что молодой человек вздрогнул, — ничто меня не трогает, ничто не привлекает.

— Но ведь у вас есть дети?

— Дети! — продолжал со странной горечью Гранвиль. — Да, конечно! Старшая из моих двух дочерей — графиня де Ванденес. Что же касается другой, то брак старшей сестры сулит и ей блестящую партию. А сыновья? Они оба сделали

прекрасную карьеру. Виконт де Гранвиль был сначала главным прокурором в Лиможе, а теперь занимает пост председателя суда в Орлеане; младший живет здесь, он королевский прокурор. У моих детей свои заботы, свои волнения, свои дела. Если бы хоть один из них посвятил мне свою жизнь и попытался своей любовью заполнить пустоту, которую я ощущаю вот здесь, — сказал он, ударяя себя в грудь, — он оказался бы неудачником, принес бы мне в жертву самого себя. А для чего, спрашивается? Чтобы скрасить несколько лет, которые мне еще осталось прожить? И чего бы он достиг этим? Возможно, я принял бы как должное его великодушные заботы обо мне, но… — Тут старик улыбнулся с горькой иронией. — Но, доктор, мы не напрасно обучаем своих детей арифметике: они умеют считать! Мои дочери и сыновья, может быть, ждут не дождутся, когда я умру, и заранее прикидывают, какое они получат наследство.

— Ах, граф, как могла подобная мысль прийти вам в голову? Вы так добры, так великодушны, так отзывчивы. Право, если бы я не был живым доказательством благотворительности, которую вы понимаете так широко, так благородно…

— Ради собственного удовольствия, — с жи-

востью возразил граф. — Я плачу за приятное ощущение, а завтра горстью золота оплачу детски наивную иллюзию, если от нее забьется мое сердце. Я помогаю ближним ради себя самого, по той же причине, по какой играю в карты; вот почему я не рассчитываю на благодарность. Даже при вашей кончине я мог бы присутствовать, не моргнув глазом, и вас прошу питать ко мне точно такие же чувства. Ах, молодой человек, мое сердце погребено под пеплом пережитого, как Геркуланум под лавой Везувия, город существует, но он мертв.

— Как виноваты те, кто довел до такой бесчувственности ваше горячее, отзывчивое сердце!

— Ни слова больше, — заметил граф с ужасом.

— Вы больны и должны мне позволить вылечить вас, — сказал Бьяншон взволнованно.

— Но разве вы знаете лекарство против смерти? — воскликнул граф, потеряв терпение.

— Держу пари, граф, что мне удастся воскресить ваше сердце, которое вы считаете таким холодным.

— Вы обладаете даром Тальма? — иронически спросил Гранвиль.

— Нет, граф. Но природа настолько же могущественнее Тальма, насколько Тальма был

могущественнее меня. Слушайте же: на чердаке, заинтересовавшем вас, живет женщина лет тридцати; любовь у нее доходит до фанатизма. Ее кумир — юноша, хотя и красивый, но наделенный злой волшебницей всевозможными пороками. Он игрок, и я не знаю, к чему он питает большее пристрастие: к женщинам или к вину. Насколько мне известно, он совершил преступления, за которые подлежит суду исправительной полиции. Так вот эта несчастная женщина принесла ему в жертву прекрасное положение и обожавшего ее человека, отца ее детей. Но что с вами, граф?

— Ничего, продолжайте.

— Она позволила ему промотать целое состояние и, мне кажется, отдала бы ему весь мир, если бы он принадлежал ей. Она работает день и ночь и не ропщет, когда этот баловень, этот изверг отбирает у нее даже деньги, отложенные на покупку одежды детям, или последний кусок хлеба. Три дня назад она продала свои волосы, а какие у нее были прекрасные волосы! Никогда я таких не видывал. Он пришел, она не успела спрятать золотой, и любовник выпросил эти деньги. За улыбку, за ласку она отдала стоимость двух недель жизни и спокойствия! Разве это не ужасно и не возвышенно в одно и то же время?

Но лицо ее уже осунулось от работы. Плач детей надрывает ей душу, она заболела; сейчас она стонет на своем убогом ложе. Сегодня вечером ей нечего было есть, нечего было дать детям, а у них уж не было сил кричать; когда я пришел, они молчали.

Орас Бьяншон умолк. В эту минуту граф де Гранвиль, как бы помимо воли, опустил руку в жилетный карман.

— Я догадываюсь, мой юный друг, — сказал старик, — она жива только потому, что вы ее лечите.

— Ах, бедное создание! — воскликнул врач. — Как не помочь ей? Мне хотелось бы быть богаче, так как я надеюсь излечить ее от этой любви.

— И вы хотите, чтобы я сочувствовал ее нищете? — спросил граф, вынимая из кармана руку; но врач не увидел в ней банковых билетов, которых его покровитель, казалось, искал. — Да ведь такие наслаждения я готов был бы оплатить всем своим состоянием! Эта женщина чувствует, живет. Если бы Людовик XV мог встать из гроба, разве не отдал бы он королевства за три дня жизни и молодости? Не так ли поступили бы миллиарды мертвецов, миллиарды больных, миллиарды стариков?

— Бедная Каролина! — воскликнул врач.

При этом имени граф де Гранвиль вздрогнул, схватил врача за руку, и тому показалось, что он попал в железные тиски.

— Ее зовут Каролина Крошар? — спросил председатель суда изменившимся голосом.

— Так вы ее знаете?.. — проговорил врач удивленно.

— А негодяя зовут Сольве?.. О, вы сдержали слово! — воскликнул председатель суда. — Вы взволновали меня. Более страшного ощущения я не испытаю до того дня, когда мое сердце обратится в прах. Это потрясение — еще один подарок, дарованный мне адом, но я все же расквитаюсь с ним.

В это время граф с врачом дошли до угла Шоссе д'Антен. Председатель остановился; тут же, возле тумбы, стоял один из тех ночных бродяг с корзиной за плечами и с крюком в руке, которых во время революции шутливо прозвали членами комитета по розыскам. У тряпичника было характерное старческое лицо, вроде тех, которые обессмертил Шарле в своих размашистых карикатурах.

— Что, часто тебе попадаются тысячефранковые билеты? — спросил у него граф.

— Случается, хозяин.

— И ты их возвращаешь?

— Смотря по обещанному вознаграждению.

— Вот такой человек мне и нужен! — воскликнул граф, показывая тряпичнику тысячефранковый билет. — Возьми и запомни: я даю тебе эту бумажку с одним условием: ты должен растратить все деньги в кабаке, напиться пьяным, устроить драку, поколотить любовницу, подбить глаза приятелям. Это поднимет на ноги стражу, фельдшеров, аптекарей, а возможно, также жандармов, королевских прокуроров, судей, тюремщиков. Не меняй ничего в этой программе, иначе дьявол рано или поздно отомстит тебе.

Чтобы правдиво изобразить эту ночную сцену, надо бы владеть карандашом, как Шарле и Калло, или кистью, как Тенирс и Рембрандт.

— Вот я и свел счеты с адом и получил удовольствие за собственные деньги, — проникновенно сказал граф, указывая изумленному врачу на не поддающееся описанию лицо тряпичника, который застыл с разинутым ртом. — Что касается Каролины Крошар, — продолжал граф, — пусть она умирает в муках голода и жажды, слыша раздирающие крики умирающих детей, сознавая всю низость своего возлюбленного. Я не дам ни

гроша, чтобы избавить ее от страданий, а вас я не желаю больше знать, так как вы ей помогли…

Граф покинул остолбеневшего Бьяншона и исчез в темноте; шагая с юношеской стремительностью, он быстро дошел до улицы Сен-Лазар и у подъезда своего особняка с удивлением заметил карету.

— Господин королевский прокурор прибыл час тому назад и желает говорить с вами, ваше сиятельство, — доложил ему камердинер. — Он ожидает в спальне.

По знаку Гранвиля слуга удалился.

— Почему вы пренебрегли моим приказанием? Ведь я запретил своим детям являться ко мне без зова, — заметил старик, входя, своему сыну.

— Отец, — ответил королевский прокурор почтительным и неуверенным голосом, — смею надеяться, что вы меня простите, после того как выслушаете.

— Ваш ответ вполне благопристоен. Садитесь, — сказал старик, указывая молодому человеку на стул. — Говорите, — буду ли я сидеть или ходить, прошу вас не обращать на меня никакого внимания.

— Отец, — начал барон, — сегодня, в четыре часа дня, какой-то юноша, почти мальчик, был

задержан у моего друга, где он совершил довольно крупную кражу. Этот юноша сослался на вас, он выдает себя за вашего сына.

— Как его зовут? — вздрогнув, спросил граф.

— Шарль Крошар.

— Довольно, — сказал отец повелительно. Он стал ходить по комнате в полном молчании, которое сын не решался нарушить. — Сын мой… — Эти слова были произнесены таким ласковым, таким отеческим тоном, что молодой прокурор затрепетал. — Шарль Крошар сказал правду. Я очень доволен, что ты пришел, дорогой мой Эжен, — прибавил старик. — Вот, возьми, — продолжал он, протягивая сыну объемистую пачку банковых билетов. — Тут довольно крупная сумма, употреби ее в этом деле, как сочтешь нужным. Я полагаюсь на тебя и заранее одобряю все твои распоряжения как в настоящем, так и в будущем. Эжен, дитя мое, подойди, поцелуй меня. Возможно, мы видимся в последний раз. Завтра я подам королю прошение об отставке; я уезжаю в Италию. Если отец и не обязан давать детям отчет в своей жизни, то должен завещать им опыт, за который дорого заплатил судьбе: ведь этот опыт — часть их наследства! Когда ты решишь жениться, — продолжал граф, невольно

вздрогнув, — не совершай легкомысленно этого шага, самого серьезного из всех, к каким нас обязывает общество. Постарайся тщательно изучить характер женщины, с которой ты собираешься себя связать. Кроме того, спроси у меня совета, я сам хочу судить о ней. Отсутствие взаимного понимания между супругами, какой бы причиной это ни вызывалось, приводит к ужасным несчастьям; рано или поздно мы бываем наказаны за неповиновение социальным законам. Я напишу тебе по этому поводу из Флоренции. Отцу, особенно когда он имеет честь состоять председателем верховного суда, не подобает краснеть перед сыном. Прощай.

Париж, февраль 1830 – январь 1842 г.

Супружеское согласие

Посвящается моей дорогой племяннице Валентине Сюрвиль

Романтическая история, описанная здесь, случилась в конце ноября 1809 года, когда краткое царствование Наполеона достигло апогея своего величия. Звуки фанфар, возгласившие победу под Ваграмом[30], еще отдавались в самом сердце австрийской монархии. Между Францией и коалицией подписывался мир. В те дни короли и принцы, словно светила, кружились вокруг Наполеона, который из прихоти увлекал Европу вслед за собою; это было великолепное испытание могущества, проявленного им позже при Дрездене[31]. Никогда еще, по словам современников, Париж не видывал таких пышных празднеств, какими сопровождалось бракосочетание этого властелина с эрцгерцогиней австрийской. Никогда, даже в самые блестящие дни павшей монархии, не

[30] Примечания: 30

Ваграм — деревня в Австрии, рядом с которой в 1809 году произошло сражение между французской армией Наполеона и австрийскими войсками.

[31] Примечания: 31

Битва при Дрездене произошла в 1813 году.

толпилось на берегах Сены такого множества коронованных особ, и никогда еще французская аристократия не была столь богата и столь блистательна, как в те дни. Украшения, щедро усыпанные бриллиантами, мундиры, расшитые золотом и серебром, составляли такой контраст с недавней республиканской бедностью, что, казалось, будто все богатства земного шара сосредоточились в парижских салонах. Словно хмель овладел этой недолговечной империей. Командиры, не исключая их главы, пользовались, как и подобает выскочкам, сокровищами, завоеванными миллионом людей в солдатских шинелях, а им пришлось удовольствоваться кусочками красной ленты. В эти дни большинство женщин проявляло такое же легкомыслие и вольность в поведении, какими отличалась знать в царствование Людовика XV. То ли подделываясь под тон рухнувшей монархии, то ли потому, что некоторые члены императорской фамилии подавали тому пример, как утверждали недовольные из Сен-Жерменского предместья, но все, и мужчины и женщины, спешили развлекаться с каким-то неистовством, словно ожидали конца света и спешили насладиться жизнью. Было и еще основание для подобной распущенности. Увлечение

женщин военными доходило просто до безумия, но так как это вполне совпадало с желанием императора, то он его и не обуздывал. К оружию прибегали столь часто, что все договоры, заключенные между Наполеоном и Европой, походили лишь на перемирия и толкали страсти к быстрой развязке, под стать решениям верховного главы всех этих киверов, доломанов и аксельбантов, пленявших прекрасный пол. Итак, сердца кочевали подобно полкам. В промежутке между первым и пятым сообщением о действиях наполеоновской армии женщина успевала последовательно стать возлюбленной, супругой, матерью и вдовой. То ли надежда быстро овдоветь, то ли получить дарственную запись или желание носить фамилию, которой суждено войти в историю, делало военных неотразимыми в глазах женщин. Влекла ли к ним уверенность, что тайна любви будет погребена на полях сражений, или следует искать причину этого обожания в том благородном очаровании, которое таит для женщины отвага? Видимо, все эти соображения, которые будущий историк нравов Империи, наверное, тщательно взвесит, играли роль в той легкости, с какою женщины предавались любви. Во всяком случае, признаемся: лавры прикрывали в ту пору

немало грехов, женщины страстно добивались сближения с этими смелыми авантюристами, казавшимися им источником почестей, богатства или наслаждения, а в глазах простодушных девушек эполеты, эти иероглифы будущности, означали счастье и свободу. Самой характерной чертой для этой неповторимой в наших летописях эпохи была необузданная страсть ко всему, что сверкало. Никогда еще не взвивалось такое множество фейерверков, никогда бриллианты не достигали столь высокой цены. Мужчины, обожавшие, как и женщины, эти прозрачные камешки, тоже украшали себя ими. Может быть, в армии мода на драгоценности вызывалась необходимостью облегчить перевозку завоеванной добычи. Мужчина не казался смешон, как это было бы в наше время, если на жабо его сорочки или на пальцах красовались крупные бриллианты. Мюрат, настоящий восточный человек по своим вкусам, подавал пример роскоши, которую сочли бы нелепой в современной армии.

Граф де Гондревиль, звавшийся в былые времена гражданином Маленом и прославившийся своим исчезновением, был теперь одним из Лу-

куллов[32] охранительного, но ничего не охранявшего сената; он устроил бал в честь заключения мира позже всех — желая затмить льстецов, его опередивших, и больше угодить Наполеону. В гостиной богатого сенатора собрались послы всех якобы дружественных держав, самые знатные лица Империи, даже несколько принцев. Танцы замирали, все ждали императора, присутствие которого было обещано графом. Наполеон сдержал бы слово, не вспыхни в тот вечер между ним и Жозефиной[33] ссора, предвестница происшедшего вскоре развода августейших супругов. Эта размолвка, хранившаяся тогда в глубокой тайне, но ставшая достоянием истории, не дошла до ушей царедворцев, однако отсутствие Наполеона отразилось на праздничном настроении гостей графа де Гондревиля. Прелестнейшие женщины Парижа, стремившиеся попасть на бал, который, по слухам, обещал почтить своим присутствием император, состязались в роскоши нарядов, кокетстве, в драгоценностях и красоте.

---

[32] Примечания: 32

Лукулл — римский государственный деятель I до н. э., прославившийся своим богатством и роскошными пирами.

[33] Примечания: 33

Жозефина де Богарне (1763–1814) — императрица Франции, первая жена Наполеона.

Банкиры, кичившиеся своими богатствами, бросали вызов блестящим генералам и сановникам Империи, только что засыпанным крестами, титулами и знаками отличия. Богатые семьи пользовались случаем и вывозили на такие балы своих наследниц, чтобы они попались на глаза наполеоновским преторианцам; тут сказывалось безрассудное стремление обменять богатое приданое на призрачную милость. А женщины, которые были уверены во власти своей красоты, являлись на балы, чтобы испытать ее силу. Здесь, как и повсюду, веселье было лишь маской. За спокойными и улыбающимися лицами, за безмятежной осанкой таился отвратительный расчет; проявления дружбы были ложью, и многие присутствующие опасались не своих врагов, а друзей. Замечания эти необходимы, чтобы объяснить развитие той небольшой интриги, которая составляет содержание настоящего рассказа, и чтобы показать, даже несколько смягченную, картину нравов, царивших в ту эпоху в салонах Парижа.

— Взгляните-ка на ту усеченную колонну с канделябром. Видите вы молодую женщину, причесанную вроде китаянки? Вон там, в углу, налево; у нее синие колокольчики в каштановых

волосах, ниспадающих прядями. Заметили? Она бледна, будто нездорова; она прелестна и миниатюрна; вот она обернулась в нашу сторону, ее синие миндалевидные глаза так восхитительно кротки, словно созданы для слез. Смотрите! Она наклоняется, чтобы взглянуть на госпожу де Водремон сквозь этот живой лес голов, но высокие прически мешают ей.

— Вижу, дорогой мой. Ты бы так и сказал, что из всех присутствующих женщин она самая беленькая, и я бы тотчас ее заметил; такого цвета лица мне никогда еще не приходилось видеть. Бьюсь об заклад, что даже отсюда различу на ее шее каждую жемчужину, вставленную между сапфирами. Но она или слишком добродетельна, или же очень кокетлива; рюши корсажа позволяют лишь догадываться о красоте ее форм. Какие плечи! Какая лилейная белизна!

— Кто она? — спросил первый собеседник.

— Не знаю.

— Ах вы, аристократ! Вы хотите, Монкорне, приберечь всех красавиц для себя одного?

— Тебе не терпится подшутить надо мной? — ответил, улыбаясь, Монкорне. — Или ты, счастливый соперник Суланжа, считаешь себя вправе оскорблять бедного полковника вроде меня лишь

потому, что каждое твое движение вызывает тревогу госпожи де Водремон? Или потому, что я всего лишь месяц тому назад вступил в эту землю обетованную? Ну и наглецы вы, господа чиновники! Сидите, словно приклеенные к своим стульям, тогда как вокруг нас рвутся снаряды! Хорошо, господин сенатский докладчик, позвольте же нам поживиться остатками колосьев на тех нивах, пользоваться которыми вам удается только в наше отсутствие. Черт возьми, каждому хочется жить! Друг мой, если бы ты узнал немцев поближе, то, уверен, ты не мешал бы мне пленить эту парижанку, которая тебе так нравится.

— Полковник, поскольку вы удостоили вниманием эту даму, которую я вижу здесь впервые, то будьте добры, скажите, танцевала ли она?

— Э! Дорогой мой Марсиаль, да откуда ты явился? Если тебя когда-нибудь назначат в посольство, то предсказываю: успеха ты иметь не будешь. Разве ты не видишь тройного ряда самых предприимчивых кокеток Парижа между нею и толпой танцоров, расхаживающих под люстрой? Разве ты мог бы без лорнета разглядеть ее около колонны — она словно потонула в темноте, хотя над головой ее горят и свечи? Между нею и нами сверкает столько бриллиантов и взглядов, реет

столько перьев, колышется столько кружев, цветов и шиньонов, что было бы воистину чудом, если бы кто-нибудь из танцоров заметил ее среди этих звезд. Как это ты, Марсиаль, не распознал в ней жену какого-нибудь супрефекта из Липпа или Диля, которая приехала, чтобы попытаться сделать мужа префектом?

— Он им будет! — с живостью ответил чиновник.

— Сомневаюсь, — смеясь, возразил полковник-кирасир. — Она, кажется, так же не искушена в интригах, как ты в дипломатии. Готов биться об заклад, Марсиаль, что ты не представляешь себе, каким образом она здесь очутилась.

Чиновник посмотрел на полковника, и взгляд его выражал пренебрежение и любопытство.

— Так вот, — продолжал Монкорне, — она, разумеется, приехала сюда ровно в девять часов, — может быть, первая, и, вероятно, поставила в затруднительное положение графиню де Гондревиль, которая двух слов связать не умеет. Обескураженная приемом хозяйки, оттесняемая со стула на стул каждой вновь прибывающей, она оказалась наконец в темном уголке, став жертвой зависти всех этих дам, которым только и надо было похоронить во мраке опасную незна-

комку. У нее не нашлось друга, который помог бы ей удержать за собой место в переднем ряду; каждая из этих коварных женщин запретила своим поклонникам приглашать на танец нашу бедную красавицу под страхом самых жестоких кар. Вот, дорогой мой, как эти прелестницы, такие нежные, такие кроткие с виду, образовали заговор против незнакомки, и притом каждая из них обронила всего лишь одну фразу: «Знакомы ли вы, моя милая, с маленькой женщиной в голубом?» Поэтому, Марсиаль, если ты хочешь за четверть часа получить столько льстивых взглядов и коварных вопросов, сколько не получишь, быть может, за всю свою дальнейшую жизнь, — попытайся пробиться сквозь тройной вал, защищающий королеву Диля, Липпа или Шаранты. Ты убедишься, что самая пустоголовая дама тотчас же придумает какую-нибудь уловку и удержит человека, даже твердо решившегося извлечь нашу бедную незнакомку из ее уголка. Не находишь ли ты, что она печальна, как элегия?

— А вы находите, Монкорне? Значит, она замужем.

— А почему бы ей не быть вдовой?

— Она была бы предприимчивей, — смеясь, возразил Марсиаль.

— Но может быть, она «соломенная вдова», может быть, муж у нее картежник, — заметил красавец-кирасир.

— В самом деле, с тех пор как заключили мир, появилось множество таких вдов, — ответил Марсиаль, — но, дорогой мой, мы с вами глупцы. Это лицо дышит такой милой наивностью, от этого чела веет такой юностью, свежестью, что она не может быть замужней. Какой нежный тон кожи! Какой точеный носик! Губы, подбородок — все свежо, как бутон белой розы, хотя весь облик как бы затянут дымкой печали. Кто мог довести до слез это молодое существо?

— Женщины плачут из-за всяких пустяков, — сказал полковник.

— Не знаю, — снова заговорил Марсиаль. — Но она плачет не потому, что не танцует, — ее горе давнее. По ее внешности видно, что она обдуманно готовилась к сегодняшнему балу. Она влюблена, держу пари.

— Ты думаешь? Может быть, она дочь какого-нибудь немецкого князька: никто с ней не заговаривает, — заметил Монкорне.

— Как несчастна бедная девушка! — подхватил Марсиаль. — Здесь нет никого изящней, грациозней нашей маленькой незнакомки! И что же? Ни

одна из окружающих ее мегер, считающих себя чуткими созданиями, и словом не перемолвится с ней. А заговори она — мы увидели бы, хороши ли у нее зубки.

— О, да ты закипаешь, как молоко, стоит лишь температуре чуть-чуть повыситься! — воскликнул Монкорне, слегка задетый тем, что так неожиданно встретил соперника в лице друга.

— Неужели, — сказал чиновник, не обращая внимания на замечание полковника и оглядывая в лорнет окружающих, — неужели никто здесь не знает имени этого экзотического цветка?

— Да она просто чья-нибудь компаньонка, — ответил Монкорне.

— Компаньонка! Компаньонка, украшенная сапфирами, достойными королевы, в платье из мехельнских кружев? Кому вы это рассказываете, полковник? Из вас тоже получился бы неважный дипломат, раз вы так опрометчивы в своих заключениях: то она у вас немецкая принцесса, то компаньонка.

Тут полковник Монкорне остановил за руку седого толстяка с умными глазами, коренастая фигура которого мелькала в разных уголках гостиной; он бесцеремонно присоединялся то к одной, то к другой группе гостей, и всюду его

почтительно приветствовали.

— Гондревиль, дорогой мой, — обратился к нему Монкорне, — кто эта очаровательная хрупкая женщина, вон там, возле огромного канделябра?

— Канделябр? Это работа Раврио, дорогой мой, по рисунку Изабэ.

— О, я уже оценил твой вкус и твою любовь к искусству… Но кто же эта женщина?

— Понятия не имею. Вероятно, какая-нибудь приятельница моей жены.

— Или твоя любовница, старый плут?

— Честное слово, нет! Только моя супруга и способна приглашать людей, которых никто не знает.

Невзирая на это горькое замечание, с лица толстяка не сходила самодовольная улыбка, вызванная предположением кирасира. Монкорне вернулся к Марсиалю, который уже стоял в ближайшей группе и тщетно старался собрать сведения о незнакомке. Полковник взял его под руку и прошептал:

— Берегись, милый мой, госпожа де Водремон уже несколько минут внимательно смотрит на тебя, она может угадать, о чем мы говорим, — наши взгляды слишком красноречивы. Она прекрасно заметила и проследила, куда мы смотрим, и,

мне кажется, заинтересована сейчас маленькой дамой в голубом сильнее, чем мы с тобой.

— Ты пускаешься на военную хитрость, дружище Монкорне! Ну, какое мне до всего этого дело? Я, как император, одерживаю победы и удерживаю их.

— Марсиаль, тебя стоит проучить за самонадеянность! Как?! Ты — штатский, тебе выпало счастье стать негласным супругом госпожи де Водремон, двадцатидвухлетней вдовы, располагающей рентой в четыре тысячи золотых и украшающей твою руку кольцом с таким вот дивным бриллиантом, — прибавил он, взяв левую руку приятеля, которую тот самодовольно предоставил ему рассматривать. — И ты еще стремишься изображать ловеласа, как какой-нибудь полковник, вынужденный поддерживать в гарнизонах репутацию военных? Фу! Ты только представь себе, что ты можешь потерять!

— Зато не потеряю свободы, — ответил Марсиаль с принужденным смехом.

Он бросил страстный взгляд на госпожу де Водремон, а она в ответ как-то тревожно улыбнулась, заметив, что полковник разглядывает кольцо на руке чиновника.

— Слушай, Марсиаль, — заговорил снова пол-

ковник, — если ты будешь порхать вокруг моей юной незнакомки, то я попытаюсь завоевать госпожу де Водремон.

— Пожалуйста, мой милый кирасир. Только вам это не удастся, — насмешливо ответил молодой человек, звонко щелкнув о зуб отполированным ногтем большого пальца.

— Имей в виду, я холостяк, — заметил полковник. — Все мое достояние — моя шпага, и бросить мне такой вызов — это все равно что посадить Тантала перед лакомым угощением, которое он тотчас же проглотит.

— Бррр!

Это забавное сочетание согласных было ответом на вызов полковника, и, прежде чем расстаться с приятелем, Марсиаль смерил его с ног до головы шутливым взглядом. Мода той эпохи предписывала мужчинам носить на балу белые короткие панталоны из кашемира и шелковые чулки. Изящный наряд великолепно подчеркивал безупречное телосложение Монкорне, которому в ту пору было тридцать пять лет; его высокий рост — необходимая принадлежность кирасиров императорской гвардии — привлекал взоры; красивый мундир обрисовывал стройный стан, еще гибкий, несмотря на дородность, чем

полковник был обязан верховой езде. Черные усы придавали открытому лицу действительно воинственное выражение; лоб у него был широкий и высокий, нос орлиный, губы алые. Монкорне держался с чувством собственного достоинства, порожденным привычкой командовать, и это могло нравиться женщине умной, не желающей видеть в муже раба. Полковник улыбнулся, глядя на собеседника, одного из своих лучших школьных товарищей; стройная, но невысокая фигура Марсиаля позволила полковнику в ответ на насмешку дружески посмотреть на него сверху вниз.

Барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, молодой провансалец, которому Наполеон покровительствовал, казалось предназначая его для блестящего дипломатического поста, пленил императора итальянской услужливостью, умением интриговать, салонным красноречием и изяществом обхождения — такие качества легко заменяют в свете высокие нравственные достоинства людей положительных. Несмотря на жизнерадостность и молодость, глаза его уже были тусклы, как олово, лицо непроницаемо, а это — одно из свойств, необходимых дипломатам: они стараются скрывать движения души, маски-

ровать чувства, но зачастую внешнее бесстрастие возвещает действительное отсутствие душевных волнений и гибель чувств. Сердце дипломата можно считать неразрешимой загадкой, ибо три самых выдающихся дипломата того времени проявили стойкость в ненависти и верность в сердечных привязанностях. Марсиаль принадлежал к разряду людей, способных обдумывать свое будущее даже в минуту самых пламенных наслаждений; он уже знал цену свету, скрывал свои честолюбивые стремления под личиной фата, любимца женщин, и, заметив, с какой быстротой продвигаются люди, не вызывающие зависти у начальства, облек свой талант в ливрею посредственности.

Друзьям пришлось разойтись, они сердечно пожали друг другу руки. Ритурнель, приглашавшая танцоров начать новую фигуру кадрили, заставила всех уйти с обширного пространства посреди гостиной. Этот беглый разговор в промежутке между фигурами кадрили происходил возле камина в большой гостиной особняка Гондревиля. Собеседники вели эту обычную, пустую светскую болтовню шепотом, на ухо друг другу. Но свечи, горевшие в жирандолях и высоких канделябрах на камине, бросали такой ослепительный свет

на двух друзей, что, несмотря на всю их дипломатическую выдержку, у обоих лица не могли скрыть мимолетного выражения чувств ни от проницательной графини де Водремон, ни от наивной незнакомки. Для праздных людей тайная слежка за чужой мыслью является, быть может, одним из тех развлечений, которое они находят в свете, тогда как множество глупцов и простофиль скучает, не смея в том признаться.

Чтобы понять, какой интерес представлял разговор двух друзей, необходимо рассказать о событии, которому предстояло невидимыми узами связать действующих лиц этой маленькой драмы, рассеянных по гостиным. Около одиннадцати часов вечера, в тот миг, когда танцующие занимали места, перед гостями графа Гондревиля предстала самая красивая женщина Парижа, законодательница мод, единственная, которой недоставало в этом блестящем обществе. Она взяла себе за правило приезжать лишь тогда, когда в гостиных уже наступило оживление, которое не позволяет женщинам уберечь свежесть лиц и туалетов. Этот короткий миг — весна бала. Спустя час, когда веселье минует, наступает утомление, все увядает. Госпожа де Водремон никогда не совершала промаха и не оставалась на балу, если

цветы ее уже поблекли, локоны развились, наряд смялся, а лицо стало походить на лица тех, кого одолевает дремота. В отличие от соперниц, она старалась, чтобы никто не видел, как красота ее потускнела; она умела искусно поддерживать свою репутацию светской львицы, удаляясь с бала всегда столь же блистательной, какой появилась. Женщины с завистью шептали друг другу, что у нее так много нарядов и драгоценностей, что за один вечер она сменяет их столько раз, сколько балов посещает. Но на этом балу госпоже де Водремон не суждено было по собственной воле покинуть гостиную, куда она вошла с таким триумфом. Остановившись на мгновение на пороге, она быстрым зорким взглядом оглядела туалеты женщин, чтобы убедиться, что ее туалет затмил все другие. Знаменитая кокетка предстала перед восхищенными взорами собравшихся в сопровождении одного из самых храбрых гвардейских офицеров, артиллерийского полковника, любимца императора, графа де Суланжа. Мимолетный, неожиданный союз этой четы заключал в себе, несомненно, нечто таинственное. Услышав, что докладывают о приезде графа де Суланжа и графини де Водремон, некоторые женщины, присутствовавшие на балу простыми

зрительницами, встали, мужчины поспешили из соседних комнат и столпились в дверях большой гостиной. Один из тех остряков, которые всегда встречаются на многолюдных собраниях, увидев входящую графиню и ее рыцаря, сказал:

— Женщины с таким же любопытством относятся к мужчинам, верным своей любви, с каким мужчины относятся к красивой и непостоянной женщине.

Граф Леон де Суланж, молодой человек лет тридцати двух, был одарен сильным характером, который порождает в мужчине высокие достоинства, однако хилая фигура и бледный цвет лица не красили его; черные живые глаза его светились умом, но в обществе он был молчалив, и ничто не предвещало в нем одного из талантливейших ораторов, которому при Реставрации суждено было блистать среди правых в законодательных собраниях. Графиня де Водремон, высокая, слегка полнеющая женщина, с ослепительно белой кожей, великолепной посадкой маленькой головы, владевшая завидным даром внушать любовь своим любезным обхождением, принадлежала к числу тех созданий, которые не обманывают надежд, внушаемых их красотой. Однако эта пара, привлекшая общее внимание,

постаралась не дать пищи для продолжительного злословия. Полковник де Суланж и графиня, по-видимому, прекрасно понимали, что случай поставил их в неловкое положение. Как только они появились, Марсиаль поспешил к группе мужчин, стоявших возле камина, и с ревнивым вниманием, присущим первому пылу страсти, стал наблюдать за госпожой де Водремон поверх голов, образовавших перед ним своего рода преграду; казалось, тайный голос говорил ему, что успех, вселявший в него такую гордость, будет, пожалуй, непрочен, но вежливо-холодная улыбка, с которой графиня поблагодарила де Суланжа, и жест, которым она отпустила его, садясь около госпожи де Гондревиль, смягчили напряженность лица Марсиаля, вызванную ревностью. Однако, заметив, что в двух шагах от канапе, где сидела госпожа де Водремон, стоит граф де Суланж, очевидно не разгадавший взгляда молодой кокетки, которым она давала ему понять, какую смешную роль они оба играют, пылкий провансалец снова нахмурил черные брови, осенявшие его голубые глаза; он с виду непринужденно поглаживал свои каштановые локоны и, не выдавая волнения, от которого колотилось его сердце, наблюдал за поведением графини и

господина де Суланжа, болтая в то же время с соседями и пожимая руку полковнику Монкорне, возобновившему с ним знакомство; но он был так озабочен, что слушал, не понимая, о чем тот говорит. Суланж невозмутимо оглядывал четыре ряда женщин, обрамлявшие большую гостиную сенатора, любуясь этим живым бордюром, переливами бриллиантов, рубинов, золотой вязи и ослепительных головных уборов, от блеска которых как будто тускнели огни свечей, хрусталь люстр и позолота. Безмятежное спокойствие соперника вывело Марсиаля из себя. Он не в силах был подавить тайного нетерпения, владевшего им, и подошел к госпоже де Водремон, чтобы поздороваться с нею. При появлении провансальца Суланж бросил на него холодный взгляд и дерзко отвернулся. В гостиной воцарилась многозначительная тишина, любопытство достигло высшей точки напряжения. Насторожившиеся лица выражали самые разнообразные чувства; каждый опасался и одновременно ждал одного из тех взрывов, от которых люди воспитанные всегда стараются воздержаться. Вдруг бледное лицо Суланжа вспыхнуло, стало пунцовым, как отвороты и обшлага его мундира, и, не желая, чтобы догадались о причине его волнения, он

опустил глаза. Заметив незнакомку, скромно сидящую под канделябром, Суланж грустно прошел мимо Марсиаля и скрылся в одной из гостиных, где играли в карты. Марсиаль и все присутствующие решили, что Суланж публично уступил ему место, опасаясь показаться смешным, какими обычно кажутся покинутые любовники. Марсиаль приосанился, взглянул на незнакомку, затем непринужденно уселся возле госпожи де Водремон, но слушал ее так рассеянно, что не расслышал слов, которые кокетка произнесла, прикрывшись веером:

— Марсиаль, снимите, пожалуйста, и не надевайте сегодня кольцо, которое вы насильно взяли у меня. На это есть причины, я объясню их вам, когда мы отсюда уедем. Предложите мне руку и проводите меня к принцессе Ваграмской.

— Почему вы позволили полковнику де Суланжу ввести вас под руку в гостиную? — спросил барон.

— Я встретила его у колоннады перед домом, — ответила она. — Но теперь оставьте меня, за нами наблюдают.

Марсиаль вновь подошел к Монкорне. Маленькая женщина в голубом в этот миг была средоточием беспокойства, волновавшего одно-

временно и столь различно кирасира, Суланжа, Марсиаля и графиню де Водремон. Когда друзья расстались, бросив друг другу шутливый вызов и на этом закончив разговор, Марсиаль поспешил к госпоже де Водремон и ловко ввел ее в самый блестящий ряд кадрили. Зная, как опьяняюще действуют на женщин танцы, бальный шум и присутствие разодетых мужчин, Марсиаль вообразил, что может безнаказанно отдаться тому очарованию, которое влекло его к незнакомке. Ему удалось скрыть от тревожно-пытливого взора госпожи де Водремон первые взгляды, которые он бросал на даму в голубом, однако он все же был пойман на месте преступления, и если на первый раз получил прощение, то позже ему нечем было оправдать неуместное молчание, которым он ответил на самый обворожительный вопрос, с каким женщина может обратиться к мужчине: «Любите вы меня сейчас?» Чем задумчивее становился он, тем настойчивее и требовательнее становилась графиня. Пока Марсиаль танцевал, полковник Монкорне переходил от группы к группе гостей, собирая сведения о юной незнакомке. Исчерпав любезность всех присутствующих, даже самых неразговорчивых, он уже решил было воспользоваться тем, что

графиня де Гондревиль на минуту освободилась, и узнать у нее фамилию таинственной дамы, как вдруг заметил узкий проход между усеченной колонной, которая поддерживала канделябр, и двумя стоящими около нее диванчиками. Полковник воспользовался тем, что во время кадрили стулья опустели и образовали ряды укреплений, защищаемые лишь матерями танцорок или пожилыми дамами, и решил пройти через эту изгородь, завешанную шалями и носовыми платками. Он начал с комплиментов старухам, затем, рассыпаясь в любезностях и переходя от женщины к женщине, достиг наконец свободного места около незнакомки. Чуть не доставая головой до грифов и химер огромного канделябра, он словно врос в пол под пламенем восковых свечей, к великому неудовольствию Марсиаля. Как человек неглупый, Монкорне не сразу заговорил с дамой в голубом, оказавшейся справа от него, а сначала обратился к полной, довольно некрасивой даме, сидевшей слева.

— Не правда ли, сударыня, великолепный бал? Какая роскошь, какое оживление! Клянусь честью, тут собрались одни красавицы. Вы не танцуете, разумеется, только оттого, что не желаете?

Затеяв эту пошлую болтовню, полковник хотел вовлечь в разговор соседку справа, которая задумчиво молчала и не обращала на него ни малейшего внимания. У офицера наготове было множество фраз, и он собирался закончить речь обращением, на которое сильно рассчитывал: «А вы, сударыня?» Но, к своему крайнему изумлению, он заметил в глазах незнакомки слезы; а тем временем госпожа де Водремон, казалось, пожирала ее взглядом.

— Вы, без сомнения, замужем, сударыня? — спросил наконец неуверенно полковник Монкорне.

— Да, сударь, — ответила незнакомка.

— Ваш супруг, наверно, здесь?

— Да, сударь.

— А почему же вы, сударыня, выбрали такое место? Из кокетства?

Бедняжка грустно улыбнулась.

— Окажите мне честь, сударыня, разрешите быть вашим кавалером в следующем контрдансе, и я уже не приведу вас сюда. Я вижу около камина свободный диванчик, прошу вас, пересядьте. Не думаю, что в наше время, когда все стремятся к власти и бредят императорским троном, вы откажетесь от титула королевы бала, который

предназначен вашей красоте.

— Сударь, я не буду танцевать.

Краткие ответы незнакомки настолько обескуражили полковника, что ему пришлось отступить. Марсиаль, угадав последнюю просьбу полковника и полученный им отказ, улыбнулся, погладил подбородок, и бриллиантовое кольцо, украшавшее его руку, засверкало.

— Над чем вы смеетесь? — спросила его графиня де Водремон.

— Над неудачей бедного полковника — он сейчас попал впросак…

— Ведь я вас просила снять кольцо! — прервала его графиня.

— Я не слыхал.

— Вы сегодня ничего не слышите, зато все видите, барон, — обиженно возразила госпожа де Водремон.

— Взгляните, какой дивный бриллиант на кольце у того молодого человека, — сказала в это время незнакомка полковнику.

— Изумительный, — ответил он. — Этот молодой человек — барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, мой близкий друг.

— Благодарю вас, что вы сообщили мне его имя. Он, кажется, очень мил.

— Да, только немного ветреник.

— По-видимому, он в хороших отношениях с графиней де Водремон? — сказала молодая дама, вопросительно взглянув на полковника.

— В наилучших!

Незнакомка побледнела.

«Вот как! — подумал полковник. — Она влюблена в Марсиаля, черт его подери!»

— А я думала, что графиня де Водремон уже давно близка с господином де Суланжем, — вновь заговорила молодая женщина, несколько оправившись от внутреннего волнения, омрачившего ее лицо.

— Вот уже неделя, как графиня ему изменяет, — ответил полковник. — Да вы, наверно, заметили беднягу Суланжа, когда он вошел: он все еще не желает поверить в свое несчастье.

— Да, я видела его, — ответила дама в голубом и добавила тоном, в котором звучало желание пресечь беседу: — Благодарю вас, сударь.

В это время танец уже заканчивался, и обескураженный полковник едва успел ретироваться, утешая себя тем, что незнакомка замужем.

— Ну как, храбрый кирасир? — спросил Марсиаль, увлекая полковника к окну, чтобы подышать свежим воздухом, лившимся из сада. — Чего же

вы добились?

— Она замужем, мой милый.

— Ну и что же?

— Э, черт возьми! Я человек нравственный, — ответил полковник. — Отныне я намерен ухаживать только за теми женщинами, на которых можно жениться. Кроме того, Марсиаль, она решительно заявила, что не желает танцевать.

— Держу пари, полковник, на вашу серую лошадь в яблоках против ста червонцев, что со мной она будет танцевать сегодня же.

— Согласен, — ответил полковник, хлопнув ладонью по ладони светского денди. — А пока я поищу Суланжа, может быть, он знаком с этой дамой; она, по-моему, им интересуется.

— Друг мой, вы уже проиграли, — смеясь, сказал Марсиаль. — Мы встретились с ней глазами, а я-то уж в этом знаю толк! Любезный мой полковник, вы не обидитесь на меня, если я буду танцевать с ней после того, как вам она отказала?

— Нет, нет, смеется хорошо тот, кто смеется последний. Вообще, Марсиаль, я — недурной игрок и добрый противник. Предупреждаю тебя: она любит бриллианты.

На этом друзья расстались. Полковник Монкорне направился в игорный зал и заметил там

графа Суланжа, игравшего в карты. Хотя между двумя полковниками существовали лишь те обычные приятельские отношения, которые создаются на войне и на службе, кирасир все же был глубоко потрясен, увидев, что артиллерист, которого он знал как человека благоразумного, втянулся в игру, грозившую ему разорением. Груды золота и банковских билетов, лежавшие на роковом сукне, свидетельствовали об очень азартной игре. Вокруг игроков, сидевших за столом, безмолвно стояли зрители. Порой слышались возгласы: «Пас!», «Играю!», «Держу!», «Ставлю тысячу луидоров!» — хотя казалось, что пятерка неподвижных игроков переговаривается лишь взглядами. Когда Монкорне, встревоженный бледностью Суланжа, приблизился к нему, тот выигрывал. Герцог д'Изамбер и известный банкир Келлер встали, проигравшись в пух и прах. Суланж помрачнел еще больше, сгребая кучу золота и ассигнаций; он даже не сосчитал их; губы его кривились горькой и презрительной усмешкой; он угрожал фортуне, вместо того чтобы благодарить ее за милости.

— Мужайтесь, Суланж, мужайтесь! — проговорил полковник и, думая, что окажет ему большую услугу, оторвав его от карт, добавил: — Идемте, у

меня есть для вас приятная новость, но я сообщу ее вам только при одном условии.

— Каком? — спросил де Суланж.

— Если вы ответите на мой вопрос.

Граф де Суланж быстро встал, небрежно положил выигрыш в носовой платок, который перед этим судорожно мял в руках, и никто из игроков не решился заметить ему, что не полагается прекращать игру сразу же после выигрыша, — так сурово было его лицо. Все вздохнули свободнее, когда этот несчастный, угрюмый человек покинул ярко освещенный стол.

— Эти проклятые военные действуют заодно, как мошенники на ярмарке, — прошептал наблюдавший за игрой дипломат, занимая место Суланжа.

Лишь один из игроков, бледный и утомленный, обернулся к новому партнеру и, посмотрев на него глазами, блеснувшими, как бриллианты, но тотчас же потухшими, сказал:

— Военный — это еще не значит человек учтивый, господин министр.

— Дорогой мой, — проговорил Монкорне, увлекая де Суланжа в сторону, — сегодня утром император изволил милостиво отозваться о вас, и ваше производство в маршалы — дело

решенное.

— Император не жалует артиллерии.

— Да, но он обожает дворянство, а вы из бывших. Император сказал, — продолжал Монкорне, — что тех, кто женился в Париже во время войны, не следует считать опальными. Ну, как?

Казалось, граф не воспринимал этих слов.

— А теперь, — снова заговорил полковник, — я надеюсь, вы скажете мне, кто та очаровательная маленькая женщина, что сидит возле канделябра…

При этих словах глаза графа вспыхнули, он стремительно схватил руку полковника.

— Дорогой полковник, — сказал он прерывающимся голосом, — если бы этот вопрос задал мне кто-нибудь другой, я раскроил бы ему череп вот этим свертком золота. Оставьте меня, умоляю вас! Сегодня мне лучше застрелиться, чем… все мне здесь опротивело. Я сейчас уеду. Это веселье, музыка, эти дурацкие смеющиеся лица просто невыносимы!

— Мой бедный друг, — мягко произнес Монкорне, дружески похлопывая Суланжа по руке, — вы слишком горячитесь. А что вы скажете, если я сообщу вам, что Марсиаль влюбился в эту очаровательную даму? Он от нее без ума и даже

думать забыл о госпоже де Водремон.

— Посмей он только заговорить с ней, этот хвастунишка, — заикаясь от ярости, вскричал Суланж, — и я превращу его в лепешку, даже если он находится под защитой императорского герба!

Граф в изнеможении упал на диванчик, к которому подвел его полковник. Монкорне медленно удалился, поняв, что Суланж охвачен таким неистовым гневом, что шутки или простое товарищеское участие не успокоят его. Когда полковник Монкорне вошел в большой танцевальный зал, ему прежде всего бросилась в глаза госпожа де Водремон, и он заметил на ее лице, обычно таком спокойном, плохо скрытое волнение. Около нее оказался свободный стул, и полковник сел на него.

— Держу пари, что вы чем-то встревожены! — сказал он.

— Пустяки, полковник! Я хотела бы уехать отсюда, я обещала быть на балу у герцогини Берг, а до этого мне надо еще заехать к принцессе Ваграмской. Барону де Ла-Рош-Югон все это великолепно известно, однако он забавляется тем, что ухаживает за старушками.

— Вас тревожит не только это, я готов поспорить на сто луидоров, что вы никуда не поедете.

— Дерзкий!

— Значит, угадал?

— Итак, вам хочется узнать мои мысли? — проговорила госпожа де Водремон, ударив полковника веером по руке. — Пожалуй, я вознагражу вас, если ваша догадка верна.

— Вызова не принимаю, у меня слишком много преимуществ перед вами.

— Какая самонадеянность!

— Вы боитесь видеть Марсиаля у ног…

— У чьих ног? — спросила госпожа де Водремон, притворяясь удивленной.

— Вон того канделябра, — ответил полковник, указывая на прекрасную незнакомку и пристально вглядываясь в графиню.

— Вы угадали, — ответила кокетка, пряча лицо за веером, которым она обмахивалась. Помолчав, она продолжала: — Старуха де Лансак — а она, сами знаете, хитра, как старая обезьяна, — сейчас сказала мне, будто господин де Ла-Рош-Югон может навлечь на себя какую-то опасность, если станет ухаживать за этой незнакомкой, которая сегодня мешает общему веселью. Лучше бы увидеть смерть, чем это безжалостно-прекрасное лицо, бледное, словно призрак. Она — мой злой гений. — И графиня продолжала, сделав недо-

вольный жест: — Госпожа де Лансак ездит на балы лишь затем, чтобы за всеми подсматривать, хотя всегда притворяется, будто дремлет. Старуха очень встревожила меня. Марсиаль дорого поплатится за шутку, которую сыграл со мной. Все же, полковник, раз он вам друг, скажите ему, чтобы он не огорчал меня.

— Я только что разговаривал с человеком, который дал слово прострелить Марсиалю голову, если он осмелится заговорить с этой дамой. А человек этот, сударыня, на ветер слов не бросает. Но я знаю Марсиаля, препятствия только дразнят его. Скажу вам больше: мы с ним держали пари.

Тут полковник что-то сказал графине, понизив голос.

— Правда? — спросила она.

— Клянусь честью!

— Благодарю вас, полковник, — ответила госпожа де Водремон, кокетливо взглянув на него.

— Окажите мне честь протанцевать со мной.

— Хорошо, только второй контрданс. Во время первого я хочу узнать, что может выйти из всей этой затеи и кто та худенькая дама в голубом; она, кажется, неглупа.

Полковник понял, что госпожа де Водремон желает остаться одна, и удалился, довольный

тем, что так удачно начал атаку.

На балах иной раз можно встретить женщин, которые, как госпожа де Лансак, следят за всем происходящим, подобно бывалым морякам, наблюдающим с берега борьбу молодых матросов со штормом. В это мгновение госпожа де Лансак, видимо заинтересовавшаяся участниками этой сцены, могла легко догадаться о тревоге, терзавшей графиню. Напрасно кокетка изящно обмахивалась веером, напрасно улыбалась она молодым людям, приветствовавшим ее, и пускала в ход все уловки, к которым прибегают женщины, чтобы скрыть сердечное волнение, — госпожа де Лансак, одна из самых проницательных и лукавых герцогинь XVIII века, унаследованных XIX веком, читала в ее сердце и в мыслях. Старая дама замечала признаки, свидетельствующие о душевном смятении графини де Водремон. Незаметная морщинка, прорезавшая это белое и ясное чело, еле уловимое подергивание лица, чуть нахмуренные брови, почти неприметно вздрагивающие губы, яркость которых не могла ничего утаить от старой герцогини, — все это было приметами, по которым она читала, как в открытой книге. Восседая в покойном кресле, скрытом ее пышными юбками, маститая светская львица болтала

с каким-то дипломатом, разыскавшим ее, чтобы послушать анекдоты, которые она так хорошо рассказывала, и в то же время она любовалась отображением былой своей молодости в прелестной графине де Водремон; ей нравилось, как та искусно скрывает свое горе и сердечные раны. И действительно, чем глубже страдала графиня де Водремон, тем больше старалась она казаться веселой; она думала, что найдет в Марсиале человека одаренного и что при его содействии ей удастся играть влиятельную роль в свете; теперь она сознавала свое заблуждение, пагубное для ее репутации и обидное для ее самолюбия. Чем внезапнее были ее страсти, тем они были сильнее, как у всех женщин той эпохи. Души, увлекающиеся быстро и часто, страдают не менее сильно, чем души, верные одной-единственной привязанности. Правда, графиня де Водремон влюбилась в Марсиаля совсем недавно, но даже самый заурядный хирург знает, что ампутация здорового органа гораздо болезненнее, чем органа больного. В чувстве графини к Марсиалю было что-то обещающее, тогда как связь ее с Суланжем ничего не сулила в будущем и была отравлена угрызениями совести, которые терзали ее любовника. Герцогиня де Лансак, подстерегавшая

подходящую минуту, чтобы поговорить с графиней, поторопилась отпустить дипломата, ибо даже у старой женщины в присутствии поссорившихся любовников пропадает интерес ко всему прочему. Госпожа де Лансак, словно подзадоривая графиню, так язвительно взглянула на нее, что молодая женщина испугалась, полагая, что ее судьба находится в руках этой старухи. Иногда взоры, которые женщина бросает на женщину, напоминают пламя факелов, предвещающих развязку трагедии. Надо было знать герцогиню, чтобы понять тот ужас, который внушало графине выражение ее лица. Госпожа де Лансак была представительной женщиной, черты ее лица говорили о том, что когда-то она была очень хороша. Под густым слоем белил и румян почти не было заметно морщин, но глаза ее ничего не могли позаимствовать у поддельной яркости щек и казались еще более тусклыми. Она вся сверкала бриллиантами и одевалась с таким вкусом, что не казалась смешной. Ее острый нос выражал ехидство. Удачно вставленная челюсть придавала рту что-то ироническое, вызывая в памяти усмешку Вольтера. Вместе с тем очаровательная изысканность обхождения настолько смягчала язвительность речи, что упрекать ее за едкость

было невозможно. Серые глаза старухи оживились, на губах заиграла улыбка, говорившая: «Ведь я вам обещала!» — и она устремила торжествующий взгляд в уголок гостиной, где томилась у канделябра молодая дама в голубом: бледное личико незнакомки от радости залилось румянцем. Союз между нею и госпожой де Лансак не ускользнул от проницательного взгляда графини де Водремон, которая почуяла тут какую-то тайну и захотела проникнуть в нее. В это мгновение барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, расспросив всех пожилых дам и так и не узнав фамилии незнакомки в голубом, сделал еще одну отчаянную попытку и обратился к графине де Гондревиль, но услышал малоудовлетворительный ответ:

— Эту даму мне представила *бывшая* герцогиня де Лансак.

Случайно обернувшись к креслу, на котором сидела старуха, барон перехватил многозначительный взгляд, брошенный ею на незнакомку, и хотя с некоторых пор он был с герцогиней в натянутых отношениях, все же решил подойти к ней. Заметив бойкого барона, вертевшегося около ее кресла, бывшая герцогиня лукаво улыбнулась и так выразительно взглянула на госпожу де Водремон, что полковник Монкорне расхохотался.

«Старая колдунья напускает на себя дружелюбный вид, — подумал барон, — значит она собирается сыграть со мной какую-нибудь злую шутку».

— Сударыня, — обратился он к ней, — я слышал, будто вам поручено охранять редкостное сокровище.

— Вы принимаете меня за дракона? — спросила старуха. — Но о ком это вы говорите? — добавила она так ласково, что надежда вернулась к Марсиалю.

— О той изящной незнакомке, которая из-за ревности всех этих кокеток пребывает в одиночестве. Вы, разумеется, знаете, кто она?

— Знаю, — ответила герцогиня. — Но зачем вам эта провинциалка, недавно вышедшая замуж? Она никуда не выезжает.

— Почему она не танцует? Она так хороша! Хотите, заключим с вами мирный договор? Если вы соблаговолите дать мне сведения обо всем, что меня интересует, то клянусь, что стоит вам попросить о возврате лесов, которыми владел род Наварренов, и ваша просьба будет горячо поддержана перед императором палатой государственных имуществ.

Принадлежность госпожи де Лансак к младшей

ветви дома Наварренов (герб которой изображает на голубом поле серебряный жезл и шесть серебряных наконечников пики, пересекающих поле сверху донизу), а также близость старой дамы к Людовику XV дали ей право на титул «жалованной герцогини»; но Наваррены еще не вернулись из эмиграции, поэтому барон просто-напросто предложил старухе пойти на подлость, намекнув, что она может присвоить себе владения старшей ветви.

— Сударь, — с нарочитой строгостью ответила старая дама, — попросите графиню де Водремон подойти ко мне. Обещаю вам открыть ей тайну о незнакомке, которой все так заинтригованы. Взгляните, все мужчины на балу интересуются ею не меньше, чем вы. Все невольно поглядывают в сторону канделябра, — возле него так скромно сидит моя протеже и принимает дань восхищения, которой завистницы хотели ее лишить. Счастлив тот, кого она удостоит танцем.

Герцогиня умолкла и взглянула на графиню де Водремон, словно сообщая ей: «Мы говорим о вас». Потом добавила:

— Думаю, что вам будет приятнее узнать имя незнакомки из уст вашей прелестной графини, чем от меня.

Герцогиня бросала такие красноречивые взгляды, что госпожа де Водремон встала, подошла к ней, села на стул, подвинутый ей Марсиалем, и, не обращая на него внимания, смеясь, сказала:

— Я поняла, сударыня, что вы говорите обо мне, но я так недогадлива, что не знаю, хвалите вы меня или порицаете.

Госпожа де Ланcак сухой, морщинистой рукой пожала прелестную ручку молодой женщины и сочувственно шепнула ей:

— Бедняжка!

Женщины взглянули друг на друга. Госпожа де Водремон поняла, что Марсиаль был лишним, и отпустила его, повелительно сказав:

— Оставьте нас.

Барон, весьма недовольный тем, что графиня поддалась обаянию опасной сивиллы, подозвавшей ее к себе, бросил на госпожу де Водремон один из тех взглядов, которые обладают властью над слепой любовью, но кажутся смешными женщине, когда она начинает здраво судить о том, в кого была влюблена.

— Уж не думаете ли вы подражать императору? — заметила с насмешливым видом госпожа де Водремон, слегка повернув голову.

Марсиаль слишком хорошо знал свет, был

слишком проницателен и расчетлив, чтобы пойти на риск и порвать с госпожой де Водремон, зная, что она пользуется благосклонностью двора и сам император хочет выдать ее замуж; кроме того, он надеялся, что ревность, которую он намеревался пробудить в графине, явится лучшим средством узнать тайну ее нежданного охлаждения к нему; итак, он охотно удалился, тем более что в эту минуту новый контрданс вызвал оживление в зале. Барон сделал вид, что освобождает место для кадрили, и, отойдя в сторону, прислонился к мраморному подзеркальнику и, скрестив на груди руки, стал сосредоточенно смотреть на беседующих. Время от времени он улавливал их взгляды, которые они то и дело бросали на незнакомку. Сравнивая графиню с новоявленной красавицей, которую тайна делала столь привлекательной, барон строил чудовищные планы, свойственные баловням женщин; он колебался: завладеть ли ему богатством или же удовлетворить свою прихоть? При свете горевших вокруг свечей его озабоченное и мрачное лицо так резко вырисовывалось на фоне белых муаровых драпировок, которых касались его темные волосы, что его можно было сравнить с каким-то злым духом. Без сомнения, многие гости подумали: «Вот еще

один несчастный малый, делающий вид, что ему чрезвычайно весело».

Слегка прислонившись плечом к косяку двери, ведущей из бального зала в игорный, стоял полковник Монкорне; под густыми усами его скрывалась усмешка: он наслаждался, любуясь водоворотом бала, он видел сотни прелестных пар, круживших в причудливом вихре танца, он читал на некоторых лицах, как, например, на лице графини и своего друга Марсиаля, тайну их волнения; затем, обернувшись, он подумал: какая же связь существует между мрачным видом графа де Суланжа, все еще сидевшего на диванчике, и печальным обликом незнакомки, в чертах которой сквозили попеременно то радостная надежда, то невольный ужас? Монкорне стоял здесь, словно властелин празднества; он находил в этой движущейся картине яркое отражение всего светского общества и смеялся над ними, ловя заискивающие улыбки сотни блистательных и пышно разодетых женщин; полковник императорской гвардии — чин этот соответствовал чину бригадного генерала — являлся, несомненно, одним из самых блестящих женихов среди военных. Время приближалось к полуночи. Разговоры, картежная игра, танцы, игра в любовь,

расчеты, колкости и замыслы — все достигло своего апогея; настал тот миг, когда молодежь невольно восклицает: «Какой чудесный бал!»

— Ангел мой, — говорила госпожа де Лансак графине, — вы находитесь в том возрасте, когда я совершала множество ошибок. Я понимаю, какие муки терзают вас, и мне захотелось прийти вам на помощь. Сделать ложный шаг в двадцать два года — значит испортить себе все будущее, значит порвать платье, которое собираешься надеть. Дорогая моя, мы слишком поздно узнаем, как надо носить его, чтобы не помять. Продолжайте приобретать себе, дитя мое, умных врагов и искренних друзей, и вы увидите, как хорошо вам будет жить на свете.

— Ах, сударыня, женщине так трудно добиться счастья, не правда ли? — наивно воскликнула графиня.

— Милочка, в ваши годы надо научиться выбирать между удовольствиями и счастьем. Вы хотите выйти замуж за Марсиаля, а он не настолько глуп, чтобы быть хорошим мужем, и не так пылок, чтобы быть любовником. У него долги, дорогая моя, он промотает ваше состояние; однако все это было бы пустяки, если бы он дал вам счастье. Но разве вы не видите, как

он истаскан? Он прожигает остатки здоровья. Через три года он будет конченым человеком. Он честолюбец и попытается, быть может, добиться положения, но удастся ли ему это? Не думаю. Кто он такой? Интриган, всегда умеющий воспользоваться обстоятельствами, ловкий пустомеля, но он слишком корыстолюбив, чтобы стать человеком уважаемым; далеко он не продвинется. Вглядитесь в него. Разве на его лице не читаешь, что сейчас он видит в вас не прелестную молодую женщину, а ваши два миллиона? Он не любит вас, дорогая моя, он расчетлив, и брак с вами для него — сделка. Если хотите выйти замуж, изберите человека более пожилого, почтенного и продвигающегося вперед. Вдове не следует выходить замуж легкомысленно, по любви. Мышь, и та не попадается дважды в одну и ту же мышеловку. Теперь брачный контракт должен быть для вас деловым; надо, чтобы, выходя замуж вторично, вы могли по крайней мере надеяться в один прекрасный день оказаться женою маршала.

Тут обе женщины невольно взглянули на представительную фигуру Монкорне.

— А если вам, моя милая крошка, хочется играть трудную роль покорительницы сердец и не выходить вторично замуж, — добродушно про-

должала герцогиня, — то вы лучше, чем кто-либо, сумеете собирать предгрозовые тучи и рассеивать их. Но, заклинаю вас, не нарушайте ради забавы супружеское согласие, не разрушайте семейные устои и благополучие счастливых женщин. Когда-то, моя дорогая, я играла эту опасную роль. О, боже мой, как часто ради торжества собственного самолюбия губишь бедные добродетельные создания — а добродетельные женщины, моя дорогая, действительно существуют — и создаешь себе смертельных врагов! К сожалению, я слишком поздно поняла, что одна семга лучше тысячи лягушек, как говорил герцог Альба. Истинная любовь дает во много раз больше наслаждений, чем мимолетные страсти, которые мы внушаем. Знаете ведь, я приехала сюда, чтобы наставить вас. Да, да, ради вас сижу я в этом салоне, который смахивает на лакейскую. Ведь это все комедианты! В былое время, моя дорогая, их пускали не дальше будуара, но принимать их в гостиной, фи! Почему вы так удивленно смотрите на меня? Послушайте! Играйте только теми мужскими сердцами, которые свободны, теми, которые не связаны обязательствами, иначе мужчины не простят нам потрясений, какие вносит в их жизнь наша любовь. Воспользуйтесь этой ис-

тиной, я почерпнула ее из моего жизненного опыта. Вот, например, этот несчастный Суланж — вы вскружили ему голову и за год с небольшим бог знает до чего довели. А знаете ли вы, на что покушаетесь? На жизнь его. Он женат уже два с половиной года; жена, очаровательное создание, обожает его; он ее любит, но изменяет ей. Ее жизнь проходит в слезах и горестном уединении. Не раз любовные радости Суланжа меркли по сравнению с терзавшими его муками совести. А вы, прелестная обманщица, вы предали его! Пойдемте же, посмотрим на дело ваших рук.

Старая герцогиня оперлась на руку госпожи де Водремон, и они встали.

— Взгляните, — сказала госпожа де Лансак, указывая глазами на бледную и дрожащую незнакомку, сидящую у ярко горевшего канделябра, — это моя племянница, графиня де Суланж; сегодня она уступила наконец моим настояниям и оставила обитель печали, где не может найти утешения, даже любуясь своим ребенком. Видите ее? Она прелестна, не правда ли? Но, красавица моя, представьте себе, какой бы она была, если бы любовь и счастье озаряли это грустное личико!

Графиня де Водремон молча отвернулась; казалось, ее охватило глубокое раздумье. Герцогиня

повела ее к дверям игорного зала и заглянула туда, словно отыскивая кого-то.

— А вот и Суланж, — многозначительно сказала она молодой ветренице.

Графиня вздрогнула, заметив в самом темном углу комнаты Суланжа, откинувшегося на спинку диванчика: его бледное и искаженное лицо, повисшие в изнеможении руки и застывшая поза выдавали страдание; игроки проходили, не обращая на него никакого внимания, будто его не существовало. В том зрелище, которое являли собою жена в слезах и мрачный, подавленный муж, разлученные друг с другом среди пышного празднества, как две половины надвое расщепленного дерева, графиня почувствовала что-то пророческое. Она испугалась, что для нее это предвестник будущего возмездия. Ее сердце еще не очерствело, доброта и отзывчивость еще не стали ей совершенно чужды; она пожала руку герцогине, поблагодарив ее улыбкой, от которой веяло детским очарованием.

— Дитя мое, — сказала ей на ухо старуха, — не забывайте, что мы умеем так же искусно отстранять от себя поклонников, как и привлекать их.

— Если вы не наделаете глупостей, она ваша!

Слова эти госпожа де Лансак шепнула полков-

нику Монкорне, в то время как графиня размышляла о Суланже, жалея его, потому что она еще достаточно искренне его любила; желая ему счастья, красавица дала себе слово воспользоваться неотразимой властью, какую оказывали на него ее чары, и заставить его вернуться к жене.

— О! Я постараюсь убедить его, — сказала она госпоже де Лансак.

— Не надо, дорогая! — воскликнула герцогиня, возвращаясь к своему креслу. — Изберите себе хорошего мужа и откажите моему племяннику от дома. Не предлагайте ему даже вашей дружбы. Поверьте, моя милая, женщина не принимает обратно от соперницы сердце своего супруга; она бывает во сто крат счастливее, думая, что отвоевала его сама. Уговорив племянницу приехать сюда, я хотела предоставить ей удобный случай вновь обрести нежность своего супруга. Прошу вас лишь об одном: ради успеха нашего заговора плените полковника Монкорне.

И когда она указала на друга Марсиаля, графиня улыбнулась.

— Ну как, сударыня? Узнали вы наконец имя незнакомки? — обиженно спросил Марсиаль у графини, когда та осталась одна.

— Узнала, — ответила госпожа де Водремон,

взглянув на него.

Ее лицо было и лукаво, и весело. Оживленная улыбка не сходила с ее губ, мерцающий блеск глаз напоминал блуждающие огоньки, смущающие путника. Марсиаль, нисколько не сомневаясь в том, что он все еще любим, принял изящную позу мужчины, склонившегося перед женщиной, в которую он влюблен, и произнес напыщенно:

— Вы не посетуете на меня, если я скажу вам, что мне очень хотелось бы знать ее имя?

— А вы на меня не посетуете, — спросила госпожа де Водремон, — если я, все еще немного любя вас, не скажу вам ее имени и не позволю вам даже слегка ухаживать за ней? Вы рискуете, быть может, своей жизнью.

— Сударыня, утратить вашу благосклонность — не значит ли утратить больше, чем жизнь?

— Марсиаль, — строго сказала графиня, — это госпожа де Суланж! Ее муж прострелит вам голову, если только у вас на плечах есть голова.

— Ха-ха! — самодовольно рассмеялся Марсиаль. — Полковник не тронул того, кто похитил у него ваше сердце, и вдруг вызовет меня на поединок из-за жены! Какой переворот во взглядах! Умоляю вас, позвольте мне танцевать с этой дамой! Вы получите доказательство, как мало

любви к вам жило в холодном сердце Суланжа, ибо если ему не понравится, что я танцую с его женой, то как же он мог вынести, что я...

— Но она любит своего мужа.

— Это — лишнее препятствие, которое только усугубит радость победы.

— Но она замужем.

— Забавное возражение!

— Ах! — горько усмехнувшись, воскликнула графиня. — Вы нас наказываете и за наши проступки, и за наше раскаяние.

— Не сердитесь, — с живостью сказал Марсиаль. — Умоляю вас, простите меня! Я больше и не думаю о госпоже де Суланж.

— Вы заслуживаете того, чтобы я вас прогнала к ней.

— Иду, — смеясь, ответил барон, — и вернусь к вам еще более влюбленным. Вы убедитесь, что даже самая прекрасная женщина в мире не может завладеть сердцем, которое принадлежит вам.

— Это значит, что вы желаете выиграть у полковника его коня.

— Вот предатель! — воскликнул, смеясь, Марсиаль и погрозил пальцем улыбавшемуся приятелю.

Полковник подошел к ним, и барон уступил ему

место около графини, проговорив насмешливо:

— Сударыня, этот дерзкий человек хвалился, что в один вечер завоюет вашу благосклонность.

И Марсиаль покинул их, радуясь тому, что уязвил самолюбие графини и повредил Монкорне; но, несмотря на его обычную проницательность, от него ускользнула ирония, которой были проникнуты слова госпожи де Водремон, и он не заметил, что она и его приятель одновременно, хотя и бессознательно, сделали несколько шагов навстречу друг другу. Когда барон, порхая, словно мотылек, приблизился к креслу, где сидела бледная и трепещущая графиня де Суланж, все жизненные силы которой, казалось, сосредоточились в глазах, у дверей появился ее муж, бросая вокруг гневные взгляды. Старая герцогиня, наблюдавшая за всем происходившим, быстро подошла к племяннику и, заявив, что она смертельно скучает и хочет уехать, попросила его подать ей руку и вызвать карету; она надеялась, что таким образом искусно предотвратит взрыв его ярости. Прежде чем удалиться, герцогиня выразительно взглянула на племянницу, указывая глазами на предприимчивого кавалера, собиравшегося вступить с ней в беседу, словно говорила этим взглядом: «Вот он, отомсти за себя!»

Госпожа де Водремон перехватила взгляды тетки и племянницы, и внезапное сомнение зародилось в ней: она испугалась, что стала игрушкой старой герцогини, такой хитрой и искушенной в интригах. «Коварная старуха, — подумала она, — может быть, она ради забавы читала мне нравоучение, а между тем сыграла со мной одну из своих злых шуток».

При этой мысли самолюбие госпожи де Водремон было задето, пожалуй, еще сильнее, чем любопытство, побуждавшее ее распутать клубок интриги. Беспокойство, владевшее ею, лишало ее самообладания. Полковник Манкорне, истолковав в свою пользу замешательство, сквозившее в разговоре и обращении графини, стал еще более пылок и настойчив. Старые, пресыщенные дипломаты, ради развлечения наблюдающие на балах за тем, как бывает изменчиво выражение лиц присутствующих, никогда еще не видели и не распутывали такого сплетения интриг. Чувства, волновавшие обе четы, находили отклик в этих многолюдных гостиных, разнообразно отражаясь на множестве лиц. Все эти кипучие страсти, эти любовные ссоры, нежные кары, жестокие милости, пламенные взгляды, эта бурная жизнь, разлитая вокруг, — все это зрелище

заставляло стариков еще острее ощущать свое бессилие. Наконец барону удалось сесть около графини де Суланж. Взгляд Марсиаля украдкой скользил по ее шейке, свежей, как роса, и благоуханной, словно полевой цветок. Он вблизи любовался теми прелестями, которые поразили его издали. Он видел маленькую, изящно обутую ножку, оценивал взглядом гибкий и грациозный стан. В те годы женщины носили пояса платьев под самой грудью, подражая греческим статуям; это была жестокая мода для женщин, у которых фигура отличалась каким-либо недостатком. Бросая беглые взгляды на грудь графини, Марсиаль был восхищен ее совершенством.

— Сегодня вы ни разу не танцевали, сударыня, — нежным и вкрадчивым голосом обратился он к графине. — Надеюсь, что не по вине кавалеров?

— Я почти не выезжаю в свет, и меня здесь никто не знает, — холодно ответила графиня де Суланж, не понявшая взгляда тетки, который советовал ей пленить барона.

Тогда Марсиаль, будто случайно, повел рукой; дивный бриллиант, украшавший его левую руку, заиграл, и блеск драгоценного камня, казалось, прорезал внезапным лучом сознание молодой

графини; она покраснела и бросила на барона какой-то неизъяснимый взгляд.

— Вы любите танцы? — спросил провансалец, пытаясь возобновить разговор.

— Очень люблю, сударь.

При этом неожиданном ответе их взгляды встретились. Молодой человек, пораженный взволнованным тоном незнакомки, пробудившим в его сердце смутную надежду, вдруг вопросительно заглянул ей в глаза.

— В таком случае, сударыня, надеюсь, вы не сочтете за дерзость, если я попрошу вас отдать мне первый контрданс?

Графиня мило смутилась, и легкий румянец окрасил ее бледные щеки.

— Но, сударь, я уже отказала одному танцору, военному…

— Не тому ли высокому кавалерийскому полковнику?

— Да, ему.

— Не беспокойтесь, мы с ним приятели. Осмелюсь я надеяться, что вы окажете мне эту милость?

— Хорошо, сударь.

Она говорила с такой непосредственностью, с таким искренним волнением, что пресыщенная

душа барона была потрясена. Его, словно юнца, охватила застенчивость, он потерял уверенность в себе, его кровь, кровь южанина, воспламенилась; он хотел было блеснуть в разговоре, но его слова по сравнению с умными и меткими ответами госпожи де Суланж показались ему невыразительными. К счастью для него, началась кадриль. Стоя в паре со своей прелестной дамой, он почувствовал себя уверенней. Некоторые мужчины воображают, что, выставляя напоказ свое изящество в танцах, они пленяют женские сердца сильнее, чем когда обнаруживают в беседе острый ум. Провансалец, очевидно, намеревался, судя по вычурности его движений и жестов, пустить в ход все свое искусство обольщения. Он с победоносным видом ввел графиню в тот ряд танцующих, которому наиболее блестящие светские женщины придавали какое-то особенное значение. Оркестр заиграл ритурнель к первой фигуре кадрили, и барон испытал чувство удовлетворенной гордости, когда, окинув взором дам, построившихся в устрашающее каре, заметил, что туалет госпожи де Суланж затмевает туалет даже госпожи Водремон, которая, может быть, не случайно оказалась в паре с Монкорне напротив барона и его дамы в голубом. На мгновение все

взоры обратились к госпоже де Суланж: одобрительный шепот свидетельствовал, что она служит предметом разговора каждой танцующей пары. Завистливые и восхищенные взгляды так упорно устремлялись к ней, что молодая женщина, смущенная своим невольным торжеством, скромно потупилась и покраснела, став от этого еще прелестней. Если она и поднимала свои бледные веки, то только для того, чтобы взглянуть на восхищенного кавалера, словно хотела с признательностью дать ему понять, что хотя своим триумфом она обязана ему, но предпочитает всеобщему восторгу его одобрение; кокетство ее было простодушно, казалось, она доверчиво отдается тому наивному восхищению, которое сопутствует зарождающейся любви в искренних юных сердцах. Каждый думал, что графиня, танцуя, стремится пленить лишь Марсиаля и что, несмотря на скромность и неискушенность в светских ухищрениях, она умеет не хуже самой опытной кокетки вовремя взглянуть на него и с притворной стыдливостью потупиться. Когда, по новым правилам контрданса, введенным танцором Трени и получившим его имя, Марсиалю пришлось очутиться против полковника, он, смеясь, сказал:

— Я выиграл твоего коня!

— Зато потерял восемьдесят тысяч франков ренты, — ответил Монкорне, указывая на госпожу де Водремон.

— Мне нет до них дела, — ответил Марсиаль, — госпожа де Суланж стоит миллионов.

К концу контрданса многие начали перешептываться. Женщины некрасивые осуждали в разговорах со своими кавалерами близость, возникавшую между Марсиалем и графиней де Суланж. Красавицы удивлялись быстроте, с какой она возникла. Мужчины не понимали, чему приписать успех этого ничем не примечательного чиновника. Некоторые снисходительные дамы говорили, что не следует так поспешно осуждать графиню: ведь молодые женщины были бы просто несчастны, если бы каждый выразительный взгляд или несколько грациозно исполненных па компрометировали бы их. Только Марсиаль знал, какого он добился блаженства. В последней фигуре кадрили, когда дамы кружатся с кавалерами, он сжал руку графини, и ему показалось, что пальцы молодой женщины сквозь тонкую и душистую перчатку ответили на его любовный призыв.

— Сударыня, — сказал он, когда контрданс

окончился, — не возвращайтесь больше в тот ужасный угол, где вы весь вечер скрывали свою красоту и свой прелестный туалет. Неужели мое восхищение — единственная дань, которую вы извлекли из блеска драгоценностей, украшающих вашу белоснежную шейку и ваши изящно уложенные косы? Пройдемтесь по гостиным, полюбуемся балом, и пусть все полюбуются вами.

Госпожа де Суланж последовала за своим искусителем, полагавшим, что, чем больше вызовут они толков, тем вернее она свяжет себя с ним. Они прошлись между группами гостей, наполнявших парадные покои особняка. На пороге каждой гостиной графиня де Суланж на мгновение боязливо останавливалась и, прежде чем войти, окидывала взглядом всех находившихся там мужчин, словно ища кого-то. Этот страх, наполнявший радостью сердце барона, исчез лишь после того, как он сказал своей пугливой спутнице:

— Успокойтесь, *его* здесь нет.

Так дошли они до обширной картинной галереи, расположенной в одном из крыльев особняка; здесь взгляды радовал великолепно сервированный стол, накрытый на триста персон и уставленный холодными закусками.

Ужин должен был скоро начаться, и Марсиаль увлек графиню в овальный будуар, выходивший окнами в сад; здесь редкостные цветы и деревца образовали благоухающий зеленый уголок, завешанный блестящими голубыми драпировками. Тут шум бала замирал. Войдя сюда, графиня вздрогнула и решительно отказалась было следовать за молодым человеком, но, взглянув в зеркало, она, по-видимому, заметила, что они не одни, ибо спокойно направилась к оттоманке и села.

— Как здесь хорошо! — сказала она, любуясь стенами, обитыми небесно-голубым штофом, расшитым бисером.

— Здесь все дышит любовью и негой, — взволнованно сказал Марсиаль.

Под покровом таинственного полумрака он взглянул на графиню и уловил на ее слегка возбужденном лице выражение смятения, стыдливости, томления, и это привело его в восторг. Молодая женщина улыбнулась; эта улыбка, казалось, решила исход борьбы чувств, которая происходила в ее душе; обворожительным жестом она взяла левую руку своею поклонника и сняла с его пальца кольцо, привлекавшее ее взоры.

— Какой дивный бриллиант! — воскликнула она с простодушием юной девушки, не умеющей скрыть своего восторга.

Марсиаль, потрясенный невольным, но опьяняющим прикосновением графини, бросил на нее взгляд, сверкавший, как бриллиант.

— Носите его, — сказал он, — в память об этом божественном мгновении и в знак любви…

Она так восторженно посмотрела на него, что он, не договорив, приник к ее руке.

— Вы мне его дарите? — удивленно спросила она.

— Я хотел бы подарить вам весь мир.

— Вы не шутите? — переспросила она, глубоко взволнованная одержанной победой.

— А вы принимаете в дар только мой бриллиант?

— Вы никогда не потребуете его у меня обратно? — спросила она.

— Никогда!

Она надела кольцо. Марсиаль, в предвкушении близкого счастья, хотел обнять графиню за талию, но она сразу встала и произнесла строго и спокойно:

— Сударь, я принимаю от вас этот бриллиант без колебаний, потому что он принадлежит мне.

Марсиаль был ошеломлен.

— Господин де Суланж недавно взял это кольцо с моего туалетного столика. Он сказал, что потерял его.

— Вы заблуждаетесь, сударыня, — ответил Марсиаль оскорбленным тоном, — я получил его от госпожи де Водремон.

— Совершенно верно, — ответила она, улыбнувшись, — мой муж позаимствовал у меня это кольцо и подарил его ей, а она подарила его вам; мое кольцо совершило кругосветное путешествие, вот и все. Может быть, оно расскажет мне о том, чего я не знаю, и научит искусству оставаться всегда желанной. Сударь, если бы кольцо мне не принадлежало, то, поверьте, я не решилась бы заплатить за него такой дорогой ценой; ведь говорят, будто вблизи вас каждой молодой женщине грозит гибель. Посмотрите, — добавила она, нажимая пружинку, скрытую бриллиантом, — тут до сих пор еще хранится локон господина де Суланжа.

Графиня ушла из будуара так стремительно, что было бы бесполезно следовать за ней; кроме того, смущенный Марсиаль потерял охоту продолжать это любовное приключение. Смех госпожи де Суланж словно подхватило эхо — и

молодой фат вдруг заметил между двух кустов госпожу де Водремон и Монкорне, смеявшихся над ним от всей души.

— Не нужен ли тебе мой конь, чтобы настичь добычу? — спросил полковник.

Барон так кротко сносил шутки, которыми его засыпали госпожа де Водремон и Монкорне, что они обещали ему хранить молчание об этом вечере, принесшем другу Марсиаля взамен боевого коня молодую, богатую и красивую женщину.

По дороге домой, от Шоссе д'Антен до Сен-Жерменского предместья, графиня де Суланж испытывала сильнейшее душевное волнение. Прежде чем покинуть особняк Гондревиля, она быстро обошла все гостиные и не встретила ни мужа, ни тетки — они уехали без нее. Тогда щемящие предчувствия вкрались в ее простодушное сердце. Безмолвная свидетельница страданий, жестоко терзавших ее мужа с того дня, как госпожа де Водремон поработила его, она все надеялась, что он скоро раскается и вернется к ней. Она с глубоким отвращением согласилась на заговор, устроенный ее теткой, госпожой де Лансак, и теперь испугалась, что сделала ошибку. Этот вечер омрачил ее невинную душу. Ее потрясло страдальческое и мрачное выражение лица

графа де Суланжа, но еще сильнее ее потрясла красота соперницы, а при виде испорченности светских нравов сердце ее сжалось. Проезжая через Королевский мост, она выбросила осквернённый локон, хранившийся под бриллиантом и полученный ею когда-то как залог чистой любви. Она плакала, вспоминая терзания, на которые так долго была обречена, и содрогалась, думая о том, что долг каждой женщины, желающей жить в добром супружеском согласии, обязывает ее безропотно скрывать глубоко в сердце переживаемые ею муки. «А как же поступают женщины, которые не любят? — думала она. — В чем же источник их снисходительности? Не могу поверить, что, как утверждает тетушка, оставаться преданными помогает им только разум».

Графиня все еще горестно вздыхала, когда егерь опустил изящную подножку кареты. Она вбежала в вестибюль особняка, поспешно поднялась по лестнице и, очутившись в своей комнате, вздрогнула от ужаса: у камина сидел ее муж.

— С каких это пор, моя дорогая, вы выезжаете на бал одна, даже не предупредив меня? — спросил он взволнованным голосом. — Знайте, что замужней женщине не подобает появляться в свете без мужа. Вы просто опозорили себя, забив-

шись у Гондревилей в уголок.

— Дорогой Леон, — ласково ответила она, — я не могла противиться искушению украдкой полюбоваться тобой. Тетушка взяла меня с собой, и я была так счастлива!

Нежность, звучавшая в ее голосе, обезоружила напускную суровость графа, ибо он только что горько упрекал себя и страшился возвращения жены; без сомнения, на балу она должна была узнать об его неверности, которую он надеялся утаить от нее, и, как всякий муж, чувствующий за собой вину, он сам начал с упреков, чтобы избежать ее справедливого гнева. Граф молча взглянул на жену, и никогда еще она не казалась ему такой прекрасной, как сейчас, в ослепительном бальном наряде. Довольная, что видит мужа улыбающимся и что он сидит в ее комнате, куда он с некоторых пор стал редко приходить в этот час, графиня нежно взглянула на него и, покраснев, потупилась. Великодушие жены очаровало Суланжа тем сильнее, что сцена эта последовала за душевной пыткой, которую ему пришлось пережить во время бала; он взял руку жены и с признательностью ее поцеловал: ведь любовь часто таит в себе чувство благодарности!

— Гортензия, что это у тебя на пальце? Я оцара-

пался, — спросил он, смеясь.

— Это мой бриллиант: ты говорил, что потерял его, а я его нашла.

Полковник Монкорне все же не женился на графине де Водремон, несмотря на доброе согласие, установившееся между ними: графиня стала жертвой страшного пожара, которым ознаменовался бал, данный австрийским посланником в честь бракосочетания Наполеона с дочерью императора Франца II.

Июль 1829 г.

Силуэт женщины

Посвящается Джованни-Карлоди Негро

Маркиза де Листомэр — молодая женщина, воспитанная в духе Реставрации. У нее твердые принципы, она постится, говеет и тем не менее любит наряжаться, выезжать на балы, в Итальянский театр, в Оперу. Ее духовник дозволяет ей сочетать мирское с небесным. Она неизменно пребывает в полном согласии и с церковью, и с правилами светского общества — словом, является прообразом современности, провозгласившей своим девизом слово «законность». В поведении маркизы де Листомэр сказывается столько набожности, что в случае появления новой госпожи де Ментенон[34] она могла бы приблизиться к мрачному благочестию последних дней царствования Людовика XIV, и в то же время в ней вполне достаточно суетности, которая могла бы соответствовать галантным нравам первых дней этого царствования, если бы они воскресли. Сейчас она добродетельна из расчета, а может быть, по

[34] Примечания: 34

Маркиза де Ментенон (1635–1719) — фаворитка короля Людовика XIV, основательница первой в Европе женской школы.

склонности. Будучи в течение семи лет замужем за маркизом де Листомэром, одним из депутатов, ожидающих звания пэра, она, вероятно, полагает, что своим поведением способствует честолюбивым замыслам семьи. Окончательное суждение о ней некоторые женщины откладывают до того времени, когда маркиз де Листомэр будет пэром, а ей исполнится тридцать шесть лет — возраст, когда большинство женщин начинают понимать, что были обмануты общественными законами. Маркиз — человек довольно незначительный; он на хорошем счету при дворе, его достоинства, так же как недостатки, ничтожны; первые не придают ему ореола добродетели, вторые не создают вокруг него шумихи, этой спутницы пороков. Будучи депутатом, он никогда не выступает, зато голосует благонамеренно. В супружеской жизни он ведет себя так же, как и в палате, а потому слывет за одного из самых образцовых супругов во Франции. Ему не свойственно приходить в восторг, но он не брюзжит, только бы ему не досаждали. Друзья прозвали его «пасмурною погодой». Действительно, он не бывает ни слишком весел, ни слишком мрачен. Он похож на всех министров, чередовавшихся во Франции со времени Хартии. Женщине с установившимися

житейскими правилами трудно было попасть в лучшие руки. Разве для добродетельной женщины не значит достичь уже многого, выйдя замуж за человека, не способного на легкомыслие? Находились глупцы, осмеливавшиеся во время танца слегка пожать маркизе руку; ответом бывал лишь презрительный взгляд, и каждый ощущал то оскорбительное равнодушие, которое, подобно весенним заморозкам, губит побеги самых радужных надежд. Красавицы, остряки, фаты, повесы, носители древних или просто известных имен, люди высокого полета, люди незначительные — все близ нее тускнели. Она завоевала себе право, не подавая повода к злословию, беседовать так долго и так часто, как ей вздумается, с мужчинами, которые кажутся ей умными. Иные ветреные женщины готовы следовать этому плану в течение семи лет, с тем чтобы впоследствии удовлетворять свои капризы; но приписать такой расчет маркизе де Листомэр значило бы оклеветать ее. Я имел счастье видеть эту чудо-маркизу. Она умеет вести беседу, я умею слушать. Я ей понравился и бываю на ее вечерах. Большего мне не надо. Госпожа де Листомэр ни урод, ни красавица; у нее белые зубы, яркий румянец, алые губы; она высокого роста, стройна;

ножки у нее изящные и маленькие, но она не выставляет их напоказ; глаза у нее не тусклые, как у большинства парижан, а излучают мягкий свет, который чарует, если она невзначай оживится. Сквозь эту неопределенную внешность угадывается душа. Если маркиза увлечена беседой, то из-под внешней сдержанности выступает скрытое в ней обаяние, и тогда она становится пленительной. Она не гонится за успехом, но пользуется им. Ведь всегда находишь то, чего не ищешь. Это замечание так часто оправдывает себя, что со временем станет поговоркой. Оно-то и будет моралью этого романтического происшествия, которое я не позволил бы себе рассказать, если бы отзвук его сейчас не звучал во всех парижских салонах.

Около месяца назад маркиза де Листомэр танцевала с молодым человеком столь же скромным, сколь ветреным, обладающим множеством достоинств, но обнаруживающим лишь свои недостатки: он страстен, но над страстями издевается; одарен, но одаренность свою скрывает; корчит ученого с аристократами и аристократа с учеными. Эжен де Растиньяк принадлежит к числу очень рассудительных молодых людей, пробующих свои силы на всем и словно прощу-

пывающих настоящее, чтобы узнать, что сулит грядущее. Пока еще не пробил для него час честолюбия, он над всем издевается; он изящен и оригинален — два редких свойства, ибо одно исключает другое. Он около получаса беседовал с маркизой де Листомэр, но не рассчитывал на успех. Пользуясь непринужденностью беседы, касавшейся то оперы «Вильгельм Телль»[35], то вопроса об обязанностях женщин, он несколько раз поглядывал на маркизу так, словно хотел поцеловать ее; затем отошел от нее и уже за весь вечер не перемолвился с ней ни словом. Он танцевал, играл в экарте, оказался в небольшом проигрыше и отправился спать. Имею честь уверить вас, что все произошло именно так. Я ничего не преувеличиваю и ничего не преуменьшаю.

На следующее утро Растиньяк проснулся поздно и долго нежился в постели, предаваясь, несомненно, тем утренним грезам, в которых молодой человек мысленно, подобно сильфу, проскальзывает под шелковые, кашемировые или ситцевые пологи. В эти мгновения чем глубже тело погружено в дрему, тем бодрее дух. Наконец Растиньяк встал, слегка зевнул, как

[35] Примечания: 35

«Вильгельм Телль» — опера итальянского композитора Джоаккино Антонио Россини (1829).

благовоспитанный человек, позвонил слуге, приказал подать чай, выпил его очень много, что покажется вполне естественным любителям этого напитка; людям же, пьющим чай лишь как лекарство, я должен пояснить, что Эжен одновременно писал письмо. Он сидел удобно, поставив ноги не столько на меховой коврик, сколько на каминную решетку. Как приятно, проснувшись и накинув халат, протянуть ноги на полированный железный прут, соединяющий двух грифов каминной решетки, и мечтать о любимой! Как я жалею, что у меня нет ни возлюбленной, ни камина, ни халата! Когда все это у меня будет, то я о своих наблюдениях рассказывать не буду, а извлеку из них полезный урок.

На первое письмо Эжен потратил каких-нибудь четверть часа; он сложил его, запечатал и, не надписав адреса, положил возле себя. Второе, начатое в одиннадцать часов, было окончено только к полудню. Все четыре страницы были исписаны.

«Эта женщина не выходит у меня из головы», — думал он, запечатывая второе послание; он положил его около себя, рассчитывая, по-видимому, надписать адрес, когда очнется от грез. Запахнув полы узорного халата, он спустил ноги

на скамеечку, засунул руки в кармашки красных кашемировых панталон и развалился в удобном мягком кресле с подушками, сиденье которого образовало со спинкой угол в сто двадцать градусов. Он перестал пить чай и сидел неподвижно, устремив взор на позолоченную ручку угольного совка, не видя ни совка, ни ручки, ни позолоты. Он даже не помешивал угли в камине. Какая оплошность! Разве не наслаждение — разгребать жар, мечтая о женщинах? Наша мысль ссужает словами голубые язычки пламени, которые, вдруг полыхнув, лепечут в очаге. Толкуешь выразительный и резкий язык *бургундцев.*

На этом слове задержимся и приведем несведущим людям пояснение одного весьма почтенного этимолога, пожелавшего остаться неизвестным. *Бургундец* — народное, условное наименование, данное со времен царствования Карла VI тем трескучим вспышкам пламени, которые выбрасывают на ковер или на одежду угольки, зародыш пожара. Огонь, говорят, высвобождает воздушный пузырек, оставленный в сердцевине дерева древесным червем. Inde amor, inde burgundus[36]. Боязливо наблюдаешь, как, подобно лавине, ска-

[36] Примечания: 36
Где любовь, там и бургундец *(лат.).*

тываются угли, которые были так старательно уложены между двумя горящими поленьями. О! Помешивать угли в камине, когда ты влюблен, — разве это не значит облекать свои мысли в изменчивые образы?

Именно в эту минуту я вошел к Эжену. Он вскочил и воскликнул:

— А, вот и ты, дорогой Орас! Давно ты здесь?

— Только что вошел!

— А!

Растиньяк взял письма, надписал на них адреса и позвонил слуге:

— Отнеси это в город.

Жозеф молча отправился. Превосходный слуга!

Мы завели разговор о Морейской экспедиции[37], в которой я намеревался принять участие в качестве врача. Эжен заметил мне, что я многое потеряю, уехав из Парижа, и мы заговорили о безразличных вещах. Думаю, что на меня не посетуют, если я опущу наш разговор.

……

Около двух часов дня, когда маркиза де Листомэр встала, горничная Каролина подала ей письмо.

---

[37] Примечания: 37

Имеется в виду отряд добровольцев, отправленный в Грецию для помощи в сражении с турецкими завоевателями (назван по названию полуострова на юге Греции — Мореи).

Маркиза принялась читать его, пока Каролина ее причесывала. (Неосторожность, свойственная многим молодым женщинам!)

«О дорогой, ненаглядный ангел мой, источник жизни и счастья!» Прочитав эти слова, маркиза хотела было бросить письмо в огонь, но ей пришла в голову прихоть, которую всякая добродетельная женщина прекрасно поймет, — узнать, как закончит мужчина письмо, начатое в таком тоне. Она продолжала читать. Дойдя до четвертой страницы, она, словно утомившись, опустила руки.

— Каролина, пойдите узнайте, кто принес это письмо.

— Сударыня, я приняла его сама от слуги барона де Растиньяка.

Наступило длительное молчание.

— Не угодно ли одеваться?

— Нет.

«Какой нахал!» — подумала маркиза.

……

Я прошу всех женщин самим сделать комментарии.

Комментарии госпожи де Листомэр закончились тем, что она твердо решила не принимать больше Эжена де Растиньяка, а если встретит его

в свете, показать ему более чем презрение, ибо его дерзость была несравнима с тем, что маркизе до сей поры случалось прощать. Первым ее побуждением было сохранить письмо, но, обдумав, она сожгла его.

— Барыня сейчас получила потрясающее любовное письмо и прочла его! — сообщила Каролина ключнице.

— Вот уж этого я от барыни никак не ожидала! — воскликнула изумленная ключница.

Вечером маркиза де Листомэр отправилась к виконтессе де Босеан, куда, по всей вероятности, должен был приехать и Растиньяк. Это было в субботу, в приемный день виконтессы. Виконтесса находилась в дальнем родстве с господином де Растиньяком, и молодой человек не преминет, конечно, посетить ее. Госпожа де Листомэр, приехавшая затем, чтобы уничтожить Эжена своей холодностью, прождала его понапрасну до двух часов ночи. Один очень умный человек, Стендаль, создал оригинальную теорию «кристаллизации» — и она вполне применима к той работе мысли, какая совершалась в маркизе до, во время и после этого вечера.

Четыре дня спустя Эжен бранил своего слугу:

— Вот что, Жозеф, мне придется дать тебе рас-

чет, голубчик.

— Почему, сударь?

— Ты делаешь только глупости. Куда ты отнес те два письма, которые я дал тебе в пятницу?

Жозеф остолбенел; он замер, как статуя в портале собора, и напряг всю свою память. Вдруг он глупо ухмыльнулся и ответил:

— Сударь, одно я отнес маркизе де Листомэр, на улицу Сен-Доминик, другое вашему поверенному.

— Ты уверен в этом?

Жозеф пришел в совершенное замешательство. Случайно присутствуя при этом, я решил, что мне пора вмешаться.

— Жозеф прав, — сказал я.

Эжен повернулся ко мне.

— Я невольно прочел адреса и…

— И что же? — воскликнул Эжен. — Одно из писем было адресовано госпоже де Нусинген.

— Нет, черт возьми! Я даже подумал, мой милый, что твое сердце перекочевало с улицы Сен-Лазар на улицу Сен-Доминик.

Эжен хлопнул себя ладонью по лбу и усмехнулся. Жозеф сразу понял, что ошибка произошла не по его вине.

А вот и выводы, над которыми все молодые

люди должны бы призадуматься. Ошибка первая: Эжену показалось забавным насмешить госпожу Листомэр недоразумением, сделавшим ее обладательницей письма, которое предназначалось не ей. Ошибка вторая: он отправился к маркизе де Листомэр лишь спустя четыре дня после происшествия, дав, таким образом, возможность мыслям этой добродетельной женщины кристаллизоваться. Можно найти тут и еще десяток промахов, но о них лучше умолчать, чтобы предоставить дамам удовольствие объяснить их ex professo[38] тем, которые не поняли их сами. Эжен подъехал к дому Листомэров, но привратник остановил его, говоря, что маркизы нет дома. Он уже хотел снова садиться в экипаж, как подошел маркиз.

— Идемте к нам, Эжен; жена у себя.

Не осуждайте маркиза! Ведь как бы хорош ни был муж, он редко достигает совершенства. Только поднимаясь по лестнице, Растиньяк осознал те десять ошибок против светской логики, которые он сделал на этой странице чудесной книги своей жизни. Когда госпожа де Листомэр увидела Эжена, входившего с ее мужем, то невольно покраснела. Молодой человек заметил этот вне-

---

[38] Примечания: 38
Со знанием дела *(лат.)*.

запный румянец. Если даже самый скромный мужчина не лишен некоторого налета самовлюбленности, подобно тому как женщина — роковой кокетливости, то кто же осудит Эжена за то, что он подумал: «Вот как, и эта крепость взята?» Он приосанился. Молодым людям не свойственна алчность, но все же они никогда не отказываются от трофеев.

Господин де Листомэр взял «Газетт де Франс», которую заметил на камине, и удалился к окну, чтобы при содействии журналиста выработать собственное мнение о положении дел во Франции. Женщина, даже самая застенчивая, умеет быстро выйти из любого затруднительного положения; кажется, будто у нее всегда под рукой фиговый листок, данный ей вашею праматерью Евой. Когда Эжен, истолковав в свою пользу нежелание принять его, довольно развязно поклонился маркизе, то она уже успела скрыть свои мысли за одной из тех женских улыбок, которые еще загадочнее, чем слово короля.

— Вы были нездоровы, сударыня? Мне сказали, что вы не принимаете.

— Нет, сударь.

— Может быть, вы собирались из дому?

— Тоже нет.

— Вы ждали кого-нибудь?

— Никого.

— Если мой визит некстати, вините в этом только маркиза. Я повиновался вашему таинственному запрету, но он сам пригласил меня переступить порог святилища.

— Господин де Листомэр не был посвящен в мои дела. Иногда из осторожности не посвящаешь мужа в некоторые тайны…

Твердый и кроткий тон маркизы, внушительный взгляд, которым она окинула Растиньяка, зародили в нем мысль, что он, пожалуй, торжествует преждевременно.

— Сударыня, я понимаю вас, — сказал он, смеясь. — Значит, я должен вдвойне радоваться тому, что встретил маркиза: он предоставил мне случай оправдаться перед вами, что было бы рискованно, не будь вы воплощенной добротой.

Маркиза удивленно взглянула на барона, но ответила с достоинством:

— Сударь, лучшим извинением для вас было бы молчание. Что же касается меня, то обещаю вам полное забвение. Такое великодушие вы вряд ли заслужили.

— Сударыня, — живо возразил Растиньяк, — прощение излишне там, где нет оскорбления!

Письмо, — добавил он, понизив голос, — полученное вами и показавшееся вам столь неприличным, предназначалось не вам.

Маркиза не могла сдержать улыбки, так ей хотелось быть оскорбленной.

— Зачем лгать! — сказала она снисходительно-насмешливым тоном, но довольно мягко. — Теперь, когда я вас пожурила, я охотно посмеюсь над этой уловкой, не лишенной коварства. Я знаю, есть простушки, которые легко попались бы на эту удочку. «Боже мой! Как он влюблен!» — решили бы они. — Маркиза принужденно засмеялась и добавила снисходительно: — Если вы хотите, чтобы мы остались друзьями, не будем говорить об «ошибках», меня так легко не проведешь.

— Но даю вам слово, сударыня, вы заблуждаетесь гораздо сильнее, чем думаете, — живо возразил Эжен.

— О чем вы там толкуете? — спросил господин де Листомэр, который прислушивался к разговору, но никак не мог проникнуть в его туманную сущность.

— Да вам это неинтересно, — ответила маркиза.

Господин де Листомэр спокойно продолжал читать, потом сказал:

— Ах! Госпожа де Морсоф скончалась. Ваш бедный брат, по всей вероятности, находится в Клошгурде.

— Вы понимаете ли, сударь, что сказали мне дерзость? — спросила маркиза, обращаясь к Эжену.

— Если бы я не знал строгости ваших житейских правил, — наивно ответил он, — то подумал бы, что вы или хотите приписать мне мысли, которые я решительно отрицаю, или задумали вырвать у меня мою тайну. А может быть, вы желаете посмеяться надо мной?

Маркиза улыбнулась. Эта улыбка вывела Эжена из себя.

— Я был бы счастлив, сударыня, если бы вы и в дальнейшем продолжали верить в это «оскорбление», хоть я в нем и неповинен. Надеюсь, что случай не даст вам возможности встретить в свете ту, которой было адресовано это письмо.

— Как! Неужели это все еще госпожа де Нусинген? — воскликнула маркиза де Листомэр, движимая таким любопытством узнать тайну, что оно заглушило в ней желание отомстить молодому человеку за его колкость.

Эжен покраснел. В двадцать пять лет еще краснеешь, когда тебе вменяют в вину верность, над

которой женщины смеются, чтобы скрыть, как они ей завидуют. Однако Растиньяк ответил довольно сдержанно:

— А почему бы и нет, сударыня?

Вот какие ошибки мы совершаем в двадцать пять лет! Это признание причинило госпоже де Листомэр сильнейшее душевное волнение; но Эжен еще не умел читать по женскому лицу, взглянув на него искоса или вскользь. Губы маркизы побелели. Она позвонила и приказала принести дров, давая этим понять Растиньяку, что ему пора уходить.

— Если все это так, — задерживая Эжена, холодно и чопорно сказала она, — то как объясните вы, сударь, почему на конверте вы поставили мое имя? Ведь ошибиться адресом на письме не так легко, как взять, уезжая с бала, по рассеянности чужой цилиндр.

Эжен смущенно и вместе с тем дерзко взглянул на маркизу; он чувствовал, что становится смешон, и, пробормотав какую-то мальчишескую фразу, вышел.

Несколько дней спустя маркиза убедилась, что Эжен говорил правду. Вот уже шестнадцать дней, как она не выезжает в свет.

На все вопросы о причине этого затворничества

маркиз отвечает: «У моей жены гастрит».

Но я лечу ее, мне известна ее тайна; я знаю, что у нее лишь легкое нервное расстройство, которым она и воспользовалась, чтобы не выезжать.

Париж, февраль 1830 г.

Второй силуэт женщины

Леону Гозлану в знак доброго литературного содружества

В Париже балы и рауты обычно заключают в себе два рода званого вечера. Первый — официальный, на нем присутствуют приглашенные, общество изысканное, скучающее. Тут каждый рисуется перед соседом. Большинство молодых женщин приезжает ради кого-нибудь одного. После того как каждая из них убедится в том, что в глазах избранника она прекраснее всех и что мнение это разделяют еще некоторые гости; после того как собравшиеся перекинутся пустыми фразами вроде таких: «Когда вы собираетесь в Крампад?», «Как прелестно пела госпожа де Портандюэр!», «Кто эта маленькая женщина, вся в бриллиантах?» — или бросят несколько язвительных замечаний, одним доставляющих мимолетное удовольствие, а других глубоко ранящих, группы приглашенных постепенно редеют, посторонние разъезжаются, свечи догорают в розетках. Тогда хозяйка дома удерживает несколько артистов, весельчаков, друзей, говоря:

«Оставайтесь. Мы поужинаем в тесном кругу». Все собираются в маленькой гостиной. Начинается второй, и уже настоящий, званый вечер, где, как в былые времена, каждый внимателен друг к другу. Беседа становится общей, тут поневоле делаешься остроумным и принимаешь участие в общем оживлении; все выступает ярче, чванливость, которая в обществе иной раз омрачает и самые прекрасные лица, сменяется искренним смехом. Словом, веселье начинается только после того, как кончится раут. Раут, этот надменный парад роскоши, этот церемониальный марш самомнений, является одною из тех английских выдумок, которые стремятся обратить в машину и другие нации. Англия хочет, чтобы весь мир скучал, как она, и не меньше, чем она. Таким образом, в некоторых домах Франции этот второй вечер выливается в радостный протест былого духа нашей жизнерадостной страны. Но, к сожалению, мало кто протестует, и причина этому проста: званые ужины стали теперь редки потому, что ни при каком режиме не бывало так мало людей обеспеченных, утвердившихся и достигших прочного положения, как в царствование Луи-Филиппа, когда революция возродилась легально. Все стремятся к какой-нибудь цели или торопятся

разбогатеть. Время, говорят, теперь стало дороже денег, и никто не имеет возможности с чудесной расточительностью тратить его, возвращаясь домой под утро и вставая за полдень. Поэтому поздние ужины бывают лишь у женщин богатых, которым под силу иметь открытый дом. С июля 1830 года такие женщины в Париже наперечет. Несмотря на молчаливую оппозицию Сен-Жерменского предместья, две-три женщины — среди них маркиза д'Эспар и мадемуазель де Туш — не пожелали отказаться от влияния, которое они оказывали на парижское светское общество, и не закрыли своих салонов.

Салон мадемуазель де Туш, столь известный в Париже, — последнее убежище, где нашло приют старинное французское остроумие с его скрытой глубиной, с тысячью его уловок и изысканной учтивостью. Там вы еще можете встретить утонченное обхождение, невзирая на условность манер; можете услышать непринужденный разговор, вопреки сдержанности, присущей людям хорошо воспитанным, а главное, там вы найдете богатство мыслей. Там никто не думает приберечь какую-нибудь свою идею для драмы; никто, слушая рассказ, не намеревается создать из него книгу. Одним словом, там перед вами не

возникает поминутно отвратительный скелет литературы, подстерегающей случайную добычу — удачную, остроумную фразу или занимательный сюжет. Воспоминание об одном из таких званых вечеров глубоко врезалось мне в память, причина тому — откровенные признания знаменитого де Марсе, в которых он вскрыл тогда один из самых сложных тайников женского сердца, а главное, вызванный его рассказом обмен мнениями о переменах, происшедших во французской женщине со времени злополучной Июльской революции.

На этом вечере случайно собралось несколько человек, стяжавших неоспоримыми заслугами европейскую славу. Это не лесть по отношению к Франции — среди нас находилось и несколько иностранцев. Впрочем, более всего блистали в разговоре люди не самые знаменитые. Находчивые реплики, тонкие замечания, прелестные шутки, образы, очерченные с поразительной четкостью, рождались как будто непроизвольно, расточались пренебрежительно, но без снобизма. Их тонко понимали и тонко оценивали. Люди светские вносили в беседу изящество и совершенно художественное вдохновение. Вы можете и в других странах Европы встретить изящные

манеры, приветливость, добродушие и образованность; но только в Париже, только в этом салоне и в тех, о которых я только что упоминал, вы найдете тот особый ум, который придает всем этим качествам приятное и причудливое единство. Не знаю, что за подводное течение так легко управляет этим потоком мыслей, афоризмов, рассказов, исторических справок. Париж — город изысканного вкуса, ему одному ведома наука превращать банальный разговор в словесный турнир, где в метком слове сквозит природный склад характера, где каждый высказывает свое мнение, в брошенной реплике делится опытом, где все веселятся, отдыхают и изощряются в остроумии. И только здесь вы действительно обмениваетесь мыслями, а не принимаете обезьяну за человека, как дельфин в известной басне[39]; здесь вас поймут, и вы не рискуете, поставив ставку золотом, выиграть ломаный грош. Здесь наконец коварная откровенность, легкая болтовня и глубокие наблюдения сливаются в живой разговор, который струится, кружится, прихотливо меняет течение и оттенки при каждой фразе. Оживленная критика, рассуждения и сжатые

[39] Примечания: 39
Имеется в виду басня Лафонтена «Обезьяна и дельфин».

рассказы сменяют друг друга. Здесь говорят и слушают, вопрошают взглядом и на лице читают ответ. Словом, здесь во всем блещет ум, все полно мысли. Никогда еще меня так не пленяла сила удачно задуманного и умело примененного слова, этого орудия актера и повествователя. И не я один подпал под власть этого волшебства — мы все провели прелестный вечер. Беседа, превратившаяся в повествование, повлекла за собою любопытные признания, наброски портретов, картины безрассудств; эту восхитительную импровизацию, полную естественности, свежести, прихотливости и лукавства, передать невозможно. Но, быть может, вы хоть отчасти поймете очарование настоящего французского званого вечера — в тот его момент, когда самая приятная непринужденность заставляет каждого забыть о своих корыстных интересах, о честолюбии или, если вам угодно, о своих притязаниях.

Около двух часов ночи, когда ужин подходил к концу, за столом оставались только самые близкие знакомые, испытанные пятнадцатью годами дружбы, или люди хорошего вкуса, прекрасно воспитанные, знающие свет. По молчаливому и строго соблюдаемому соглашению всякий в этом доме во время ужина отрекается от своих лич-

ных заслуг. Царит полное равенство. Впрочем, здесь собрались люди, из которых каждый мог гордиться собою. Госпожа д'Эспар всегда просит своих гостей не вставать из-за стола: она замечала не раз, что перемена места расхолаживает общее настроение. Переход из столовой в гостиную нарушает очарование. По словам Стерна, мысли писателя, после того как он побрился, отличаются от тех, какие были у него до бритья. Если Стерн прав, то можно смело утверждать, что расположение духа людей, сидящих за столом, иное, чем у людей, вернувшихся в гостиную. Исчезла опьяняющая атмосфера, перед вами уже нет живописного беспорядка десерта, утрачено преимущество той снисходительности, той благожелательности, которые овладевают нами, когда мы находимся в настроении, присущем человеку сытому, удобно расположившемуся на одном из тех мягких стульев, какие теперь так хорошо делают. Пожалуй, мы охотнее всего беседуем за десертом, наслаждаясь превосходным вином и пользуясь вольностью, разрешающей облокотиться на стол и подпереть голову рукою. В такие минуты каждый любит не только поговорить, но и послушать. Сытый человек бывает, сообразно с характером, или болтлив, или молчалив. Каждый

тогда выбирает, что ему приятнее. Это вступление было необходимо, чтобы подготовить вас к обаянию того рассказа, где знаменитый человек, ныне покойный, обрисовал невинное коварство женщины, выказав при этом тонкое лукавство, — эта черта свойственна людям, много видавшим, и она делает государственных мужей великолепными рассказчиками, если только они, как князь Талейран и Меттерних, снисходят до рассказов.

Де Марсе, назначенный полгода назад премьер-министром, уже успел проявить свои выдающиеся дарования. Те, кто знал его давно, не были удивлены, что он обнаружил таланты и многообразные способности государственного деятеля, но многих занимала мысль, были ли они результатом сноровки, долгой выучки или открылись в нем нежданно, в ходе каких-нибудь обстоятельств. Такой вопрос — разумеется, с философской точки зрения — и задал ему один умный и наблюдательный человек, бывший журналист, которого он назначил префектом; этот человек восхищался господином де Марсе, не примешивая к своему восхищению ни капли едкой критики, которая в Париже оправдывает в глазах выдающихся людей их восхищение другими выдающимися людьми.

— Был ли в вашей жизни случай, мысль, желание, подсказавшие вам ваше призвание? — спросил Эмиль Блонде. — Ведь у всех нас, как у Ньютона, есть свое яблоко, которое, падая, указывает нам, на какой почве разовьются наши способности.

— Да, был, — ответил де Марсе. — И я сейчас расскажу вам об этом.

Красавицы, политические денди, художники, старики, близкие друзья де Марсе — все уселись поудобнее, каждый, как привык, и сосредоточили внимание на премьер-министре. Слуг в комнате уже, конечно, не было, двери были закрыты, и портьеры задернуты. Воцарилась полная тишина, так что со двора слышны были говор кучеров и удары копыт — лошади рвались к себе в конюшни.

— Положение государственного деятеля, друзья мои, поддерживается лишь одним качеством, — сказал министр, играя золотым с перламутром ножом. — Он всегда должен уметь владеть собой, учитывать любой исход, каким бы неожиданным он ни был для него, — одним словом, он должен таить в себе существо холодное и бесстрастное, которое в качестве зрителя присутствует при всех тревогах его жизни, при его страстях, пере-

живаниях и подсказывает ему по поводу всего приговор, почерпнутый из некоей таблицы моральных вычислений.

— Вы объясняете этим, почему во Франции так редки государственные мужи, — заметил старый лорд Дэдлей.

— С точки зрения чувств это ужасно, — вновь заговорил министр. — Ужасно, если нечто подобное проявляется у молодого человека. (Ришелье, предупрежденный накануне письмом об опасности, грозящей Кончини, спал до полудня, хотя знал, что в десять часов утра должны убить его благодетеля.) Такой молодой человек, будь он Питтом или Наполеоном, — явление чудовищное. Я таким чудовищем сделался очень рано, и благодаря женщине.

— А я думала, — сказала госпожа де Монкорне, улыбаясь, — что мы, женщины, чаще портим политических деятелей, чем способствуем их появлению.

— Чудовище, о котором идет речь, потому только и чудовище, что сопротивляется вам, — сказал рассказчик, иронически поклонившись.

— Если речь идет о любовном приключении, то прошу не прерывать рассказчика никакими рассуждениями, — сказала баронесса де Нусинген.

— Рассуждения в любви неуместны! — воскликнул Жозеф Бридо.

— Мне было семнадцать лет, — продолжал де Марсе, — Реставрация упрочилась; мои старые друзья знают, каким я был в ту пору пылким и страстным. Я любил впервые и теперь могу признаться, что я был одним из самых красивых молодых людей в Париже. Красота и молодость — два случайных преимущества, которыми мы гордимся, словно победой. О прочем я вынужден молчать. Как большинство юношей, я был влюблен в женщину старше меня на шесть лет. Никто из вас, — сказал он, оглядывая сидящих за столом, — не подозревает ее имени и не узнает его. В ту пору Ронкероль был единственным человеком, проникшим в мою тайну, но он честно сохранил ее. Я несколько побаивался его усмешки, но он ушел, — сказал министр, оглядываясь кругом.

— Он не захотел остаться ужинать, — сказала госпожа де Серизи.

— Целых полгода я был одержим любовью и не понимал, что эта страсть господствует надо мной, — продолжал премьер-министр. — Я весь отдавался восторженному поклонению, ведь в нем и торжество, и хрупкое счастье юности. Я хранил ее старые перчатки; словно вином, упи-

вался ароматом цветов, которыми она украшала себя; вставал по ночам, чтобы взглянуть на ее окна. Вся кровь приливала мне к сердцу, когда я вдыхал запах духов, которыми она душилась. Я был далек от мысли, что пылкие, как огонь, женщины таят в груди черствое сердце.

— О, избавьте нас от ваших ужасных сентенций! — улыбнувшись, сказала госпожа де Кан.

— Мне кажется, в ту пору я испепелил бы презрением философа, который высказал эту страшную и глубоко правдивую мысль, — заметил де Марсе. — Все вы люди проницательные, и мне нет надобности развивать ее. То, что я сказал, напомнит вам ваши собственные безрассудства. Моим кумиром была знатная дама из самого высшего общества, и вдобавок бездетная вдова (о, тут все сочеталось!). Ради меня она уединялась в своих покоях, чтобы вышивать на моем белье метки из своих волос. Одним словом, на мои безумства она отвечала безумствами. Как же не поверить страсти, если она подтверждается безумствами? Мы приложили все старание, чтобы скрыть от света нашу любовь, такую полную, такую дивную. Нам это удалось. И какое очарование таилось в наших похождениях! Об этой женщине я не скажу вам ни слова. Она была в ту пору безупречно

красивой и долго еще считалась одной из самых прекрасных женщин Парижа. А тогда за один ее взгляд многие готовы были пожертвовать жизнью. Ее материальное положение было вполне удовлетворительно для женщины влюбленной и обожаемой, однако оно не соответствовало ее знатному имени и тому блеску, которым она была обязана Реставрации. Я был настолько самоуверен, что не питал относительно нее никаких подозрений. Хотя я и был ревнив, как сто двадцать Отелло, это ужасное чувство дремало во мне, как золото в самородке. Я велел бы своему слуге отколотить меня палкой, если бы во мне зародилась хоть тень подлого сомнения в чистоте этого ангела, такого хрупкого и такого сильного душой, такого белокурого и наивного, невинного и чистосердечного, чьи голубые глаза с такой прелестной покорностью позволяли моему взору проникать в глубь ее сердца. Никогда никакой фальши в позе, во взгляде или в слове. Всегда беленькая, свежая, всегда готовая ответить на ласку возлюбленного, как лилия Востока из «Песни песней»! Ах, друзья мои, — горестно воскликнул министр, вновь превращаясь в юношу, — нужно очень сильно удариться головой и набить себе шишку, чтобы рассеялась эта поэзия!

Этот искренний вопль души нашел отклик среди гостей и еще сильнее подстрекнул их любопытство, уже и без того искусно возбужденное рассказчиком.

— Каждое утро, оседлав великолепного скакуна Султана, которого вы прислали из Англии, — сказал он, повернувшись к лорду Дэдлею, — я гарцевал на нем около ее коляски. Экипаж нарочно ехал шагом, и букет, который она держала в руках, служил условным знаком на тот случай, если нам не удастся наскоро обменяться словами. Мы почти каждый вечер встречались в свете, и она ежедневно писала мне, но, чтобы опровергнуть малейшие подозрения и обмануть наблюдавших за нами, мы выработали особый образ действий. Не смотреть друг на друга, избегать друг друга, говорить друг о друге дурное, слишком откровенно любоваться и расхваливать друг друга или прикидываться отвергнутым — все эти старые уловки ничего не стоят! Гораздо лучше выказывать притворную страсть к какой-нибудь безразличной тебе особе и учтивое равнодушие к твоему кумиру. Если двое любовников станут играть в эту игру, свет всегда будет одурачен ими. Но они должны быть очень уверены друг в друге. Она в качестве ширмы избрала сановника, быв-

шего тогда в милости при дворе, человека очень сдержанного и набожного. У себя она никогда его не принимала. Комедия разыгрывалась для простаков в светских гостиных, где ее находили забавной. Между нами не было разговоров о браке. Шесть лет разницы могли тревожить ее, о моем состоянии ей ничего не было известно — я всегда умалчивал о нем из принципа. Что же касается меня, то я был очарован ее умом, ее манерами, ее образованностью, знанием света и, не колеблясь, женился бы на ней. Однако ее сдержанность нравилась мне. Если бы она первая заговорила со мной о браке, то, может быть, эта утонченная женщина показалась бы мне вульгарной. Полгода полного, безоблачного счастья, бриллиант чистейшей воды — вот доля любви, предопределенная мне судьбой в этом бренном мире. Однажды утром, страдая ломотой во всем теле, предвещающей простуду и лихорадку, я написал ей записку, прося перенести на другой день один из наших тайных праздников, которые, как жемчужины в море, скрыты от глаз под кровлями Парижа. Отправив письмо, я стал терзаться раскаянием. «Она не поверит, что я болен!» — подумал я. Надо вам сказать, что она притворялась ревнивой и подозрительной. Если

вы действительно ревнуете — значит любите по-настоящему, — добавил де Марсе.

— Почему? — быстро спросила княгиня де Каднньян.

— Истинная и единственная любовь порождает физическое равновесие, вполне соответствующее тому созерцательному состоянию, в которое впадаешь. Тогда разум все усложняет, работает самостоятельно, измышляет фантастические терзания и придает им реальность. Такая ревность столь же прекрасна, сколь стеснительна.

Иностранный посол улыбнулся какому-то своему воспоминанию, подтвердившему справедливость этого замечания.

— Кроме того, говорил я себе, зачем терять минуты счастья? — продолжал рассказ де Марсе. — Не лучше ли поехать на свидание даже больным? Узнав, что я болен, она, конечно, способна приехать ко мне и может себя скомпрометировать. Сделав над собой усилие, я пишу ей второе письмо и везу его сам, так как мой доверенный слуга уже ушел. Нас разделяла река, и мне надо было пересечь весь Париж. Наконец на довольно значительном расстоянии от ее особняка я заметил рассыльного и поручил ему тотчас же отнести письмо. У меня явилась счастливая мысль про-

ехать мимо ее дома, чтобы удостовериться, не получила ли она оба письма одновременно. Когда я подъезжал, в два часа дня, ворота ее особняка распахнулись и впустили экипаж… Чей же он был? Того, кто играл роль ее подставного возлюбленного! Это произошло пятнадцать лет назад, но и сейчас еще, говоря об этом, я, выдохшийся оратор, зачерствевший от государственных дел министр, чувствую, как сжимается мое сердце, и мне становится душно. Спустя час я вновь проезжаю мимо ее дома. Экипаж еще стоит во дворе. По всей вероятности, мое письмо лежало у швейцара. Наконец в половине четвертого экипаж отъехал. Мне удалось разглядеть лицо моего соперника: оно было надменно, он не улыбался, но он был влюблен, это было ясно, и, конечно, они говорили о каком-то важном деле. Я отправился на свидание. Владычица моего сердца тоже пришла, была спокойна, невинна, безмятежна. Тут я должен вам признаться, что всегда находил Отелло не только безумцем, но и человеком дурного тона. Только мавр может вести себя подобным образом. Это чувствовал и сам Шекспир, озаглавивший свою пьесу «Венецианский Мавр». Встреча с любимой женщиной таит в себе нечто исцеляющее сердце — сразу улетучиваются все

муки, сомнения, горести. Мой гнев остыл, я снова улыбался. Итак, сдержанность и спокойствие, которые теперь, в мои годы, могли бы оказаться страшным притворством, были просто следствием моей молодости и любви. Совладав со своей ревностью, я нашел в себе силы наблюдать. Но было заметно, что я нездоров, а терзавшие меня страшные сомнения еще способствовали этому впечатлению. Наконец я нашел случай и как бы невзначай спросил: «У вас сегодня никого не было?» — и в объяснение своего вопроса сказал, как я беспокоился, что она, получив мою записку, посвятит этот день приему гостей.

— Ах, — воскликнула она, — только у мужчины может возникнуть такая мысль! Как могла я думать о чем-нибудь ином, кроме твоей болезни? Пока я не получила твою вторую записку, я все придумывала, как бы тебя увидеть.

— И ты была одна?

— Одна, — ответила она простодушно; вероятно, именно такое простодушие и побудило мавра убить Дездемону. Так как моя возлюбленная занимала весь особняк и других жильцов там не было, эти слова являлись ужасной ложью. Одна такая ложь разрушает безграничное доверие, на котором для иных душ зиждется любовь. Чтобы

передать вам, что я переживал в это мгновение, следует допустить, что в нас сокрыто какое-то внутреннее существо, для которого наше видимое «я» служит оболочкой. Это существо, блистательное, как звезда, нежное, как тень, навеки облеклось в траур... Да, я почувствовал, как сухая и холодная рука распростерла надо мной саван тяжкого опыта и навсегда оставила в моей душе горечь, вызываемую первым предательством. Я потупился, чтобы она не заметила, как я потрясен. Но тут мне пришла тщеславная мысль, которая несколько отрезвила меня: «Если она обманывает, она недостойна тебя!» Я объяснил краску, выступившую на моем лице, и слезы на глазах нездоровьем, и нежное создание пожелало проводить меня домой на извозчике; она опустила в карете шторы и всю дорогу была так ласкова, так нежна, что обманула бы самого венецианского мавра, которого я привел в пример. Действительно, если бы это большое дитя стало еще несколько мгновений колебаться, то всякий догадливый зритель сообразил бы, что он готов просить у Дездемоны прощения. Да и убить женщину — это ребяческая месть. При расставании моя возлюбленная плакала, до того она была огорчена, что не может ухаживать за мной.

Ей хотелось быть моим слугой, она завидовала этому счастливцу, и все говорилось ею так гладко, словно было взято из писем Клариссы[40] в дни ее счастья! Даже в самой красивой и в самой ангелоподобной женщине всегда скрыта ловкая обезьяна.

Тут все женщины потупились, словно их задела эта жестокая истина, так жестоко высказанная.

— Я не стану говорить, как я провел ночь и всю следующую неделю, — продолжал де Марсе. — Я признал в себе способности государственного человека.

Это было сказано так к месту, что все мы с восторгом посмотрели на него.

— Пересматривая с дьявольской изощренностью все настоящие, жестокие способы мести женщине (а так как мы друг друга любили, то были среди них страшные, непоправимые), я презирал себя, чувствовал себя вульгарным и бессознательно создавал отвратительный кодекс: кодекс Снисходительности. Отомстить женщине — разве не значит признаться, что, кроме нее, для тебя не существует женщин, что без нее ты не в силах жить? В таком случае можно ли ме-

---

[40] Примечания: 40

Кларисса — добродетельная героиня романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона «Кларисса, или История одной леди» (1748).

стью вернуть ее? А если она нам не необходима, если для нас существуют и другие, то почему не предоставить ей право, которое мы присвоили себе, — право измены? Все эти рассуждения, конечно, относятся только к страсти, иначе они были бы антиобщественны. А неустойчивость страсти убедительнее всего доказывает, насколько необходима нерасторжимость брака. Словно дикие звери, каковы они и есть, оба пола должны быть прикованы друг к другу нерушимыми, неумолимыми и безгласными законами. Уничтожьте месть, и измена в любви станет пустяком. Те, которые полагают, что для них в целом мире существует лишь одна женщина, должны признавать месть. Но тогда настоящая месть только одна — месть Отелло. А вот какова была моя месть.

Эти слова вызвали среди слушателей неуловимое движение, которое журналисты в отчетах о парламентских выступлениях обозначают так: (Сильное оживление).

— Излечившись от простуды и от единственной, божественной, чистой любви, я разрешил себе любовное приключение, героиня которого была очаровательна и совсем не похожа на моего ангела-предателя. Я не порвал окончательно

с обманщицей, такой сильной и такой ловкой комедианткой, так как не знаю, доставляет ли истинная любовь такие же тонкие наслаждения, как искусный обман. Подобное лицемерие стоит добродетели («Я говорю это не для англичанок, миледи», — мягко сказал министр, обращаясь к леди Бэримор, дочери лорда Дэдлея). Словом, я старался быть прежним влюбленным. Мне надо было заказать цепочку из нескольких прядей моих волос для моего нового ангела, и я отправился к искусному мастеру, жившему на улице Буше. Этот человек не знал соперников в изготовлении подарков из волос. Я даю его адрес тем, у кого мало волос: у него в мастерской всегда имеются волосы всевозможных оттенков и всяких сортов. Приняв от меня заказ, он показал мне свои работы. Я увидел предметы, стоившие такого кропотливого труда, который превосходит все, что в сказках приписывают феям, и все, что изготовляют каторжники. Он посвятил меня во все причуды моды на волосяные изделия. «Вот уже год, как все неистово увлекаются модой метить белье вышивкой из волос, — сказал он. — К счастью, у меня превосходный подбор волос и умелые вышивальщицы». При этих словах меня кольнуло подозрение; я вынимаю свой носовой платок и

говорю: «Так это вышивали у вас из фальшивых волос?» Он взглянул на платок и ответил: «О, конечно, и заказчица была очень требовательна, она пожелала сличить вышивку с оттенком своих волос. Эти носовые платки моя жена метила сама. У вас, сударь, одна из лучших вышивок, которые когда-либо нами выполнялись». До этого последнего луча, осветившего мне всю картину, я все еще верил во что-то, я придавал еще значение женскому слову. Я вышел из мастерской другим человеком. Веру в наслаждение я сохранил, но веру в любовь утратил. Я стал атеистом, как математик. Два месяца спустя я сидел около моей божественной возлюбленной, в ее будуаре, на ее диване, держал ее руку в своей руке — а ручки у нее были прелестные, — и мы взбирались на альпийские вершины чувств, срывая самые дивные цветы, обрывая лепестки ромашек (всегда бывают минуты, когда обрываешь лепестки ромашек, даже если находишься в салоне и никаких ромашек нет). В минуту самой глубокой нежности, когда сильнее всего любишь, сознание бренности любви так остро, что непреодолимо хочется спросить: «Любишь ли ты меня? Всегда ли будешь любить?» Я воспользовался этим элегическим моментом, таким сладостным, таким

опьяняющим, чтобы заставить ее искусно лгать мне, говорить на очаровательном, поэтическом языке влюбленных. Шарлотта расточала сокровища своих лживых фантазий: она не может жить без меня, я для нее единственный на свете, она боится надоесть мне, ибо в моем присутствии теряет разум, возле меня все ее способности воплощаются в любовь. К тому же она слишком нежно любит меня, а это внушает ей страх. Полгода она придумывала, как бы привязать меня к себе навеки, но эта тайна известна только Богу. Одним словом, я был ее божеством.

Женщины, слушая повествование де Марсе, казалось, были обижены, что он так хорошо их изображает, — он сопровождал рассказ ужимками, качал головой, жеманничал, создавая полную иллюзию женских повадок.

— Я уже готов был поверить этой очаровательной лжи, но, продолжая держать ее влажную ручку в своей руке, спросил: «А когда ты выходишь замуж за герцога?» Удар был так метко направлен, мой взгляд так смело встретил ее взгляд, а рука ее так безмятежно покоилась в моей, что, как ни легко было ее содрогание, скрыть его совсем было невозможно. Она не вынесла моего взгляда, легкий румянец окрасил ее щеки.

— За герцога? Что вы хотите сказать этим? — спросила она, притворяясь глубоко изумленной.

— Мне все известно, — продолжал я, — и, по-моему, вам не следует больше медлить: он богат, он герцог, он более чем набожен — он верующий. И я вполне убежден, что благодаря его щепетильности вы оставались мне верны. Вы и не представляете себе, как для вас важно, чтобы он согрешил перед самим собой и перед Богом, — ведь в противном случае вы ничего не добьетесь от него.

— Что это — сон? — воскликнула она, проводя рукой по волосам, — знаменитый жест Малибран[41], но она опередила Малибран на пятнадцать лет.

— Полно, не ребячься, мой ангел, — сказал я и хотел взять ее за руки, но она с видом недотроги гневно спрятала их за спиной. — Выходите за него замуж, я разрешаю вам, — продолжал я, ответив церемонным «вы» на ее жест. — Больше того, я настаиваю на этом.

— Но, — воскликнула она, падая передо мной на колени, — это какое-то ужасное недоразумение. Я люблю только тебя, проси у меня каких

---

[41] Примечания: 41

Мария-Фелиция Малибран (1808–1836) — французская певица.

хочешь доказательств.

— Встаньте, дорогая, и окажите мне честь — будьте правдивой.

— Хорошо, как перед Богом.

— Сомневаетесь вы в моей любви?

— Нет.

— В моей верности?

— Нет.

— Ну так вот, я совершил величайший грех, я усомнился в вашей любви и в вашей верности. Между двумя страстными свиданиями я начал хладнокровно следить за вами.

— Хладнокровно! — воскликнула она, вздыхая. — Довольно, Анри, вы меня больше не любите.

Как видите, она уже нашла лазейку, чтобы ускользнуть. В подобного рода сценах каждое лишнее слово опасно. К счастью, примешалось любопытство.

— А что вы заметили? Разве я виделась с герцогом где-нибудь, кроме как в свете? Разве в моих глазах вы что-нибудь уловили?

— Нет, не в ваших, — ответил я, — в его глазах. Вы восемь раз заставили меня прослушать мессу в церкви святого Фомы Аквинского; я наблюдал, как вы молитесь там вместе с ним.

— А-а! — воскликнула она наконец. — Значит, вы ревнуете!

— О, я очень хотел бы ревновать! — ответил я, любуясь гибкостью этого живого ума и уловками, которыми, однако, можно одурачить только слепцов. — Но, посещая церковь, я стал очень недоверчив... В день моей первой простуды и вашего первого обмана, когда вы полагали, что я лежу в постели, вы принимали герцога, а мне вы сказали, что ни с кем не видались.

— Знаете, ваше поведение постыдно!

— Почему? Я нахожу, что ваш брак с герцогом — удачная затея. Он даст вам громкое имя, единственное достойное вас, блестящее и почетное положение. Вы будете одной из цариц Парижа, и я был бы не прав, если бы воспрепятствовал вам устроить свою жизнь. Зачем вам упускать такую великолепную партию? Ах, Шарлотта, когда-нибудь вы отдадите мне справедливость, поняв, насколько я отличаюсь характером от других молодых людей! Скоро вы были бы вынуждены обманывать меня. Да, вам было бы очень трудно порвать со мной, а ведь герцог следит за вами. Пора нам расстаться. Герцог — человек строгих правил. Вам следует стать образцом нравственности, советую вам. Герцог спесив, он будет

гордиться своей женой.

— Ах! — воскликнула она, заливаясь слезами. — Анри, если бы ты заговорил раньше, да, если бы ты захотел (я уже, как видите, был виноват!), мы уехали бы в какой-нибудь уголок, обвенчались бы там и жили бы, счастливые, не таясь от света.

— Теперь поздно говорить об этом, — сказал я, целуя ее руки и принимая вид несчастной жертвы.

— Но, боже мой, я могу еще все расстроить! — воскликнула она.

— Нет, вы слишком далеко зашли с герцогом. Мне придется уехать путешествовать, чтобы нам легче было перенести разрыв. Иначе нам обоим надо будет опасаться нашей любви.

— Разве вы думаете, Анри, что герцог подозревает что-нибудь?

Я был еще «Анри», но уже утратил «ты».

— Нет, не думаю, — ответил я, принимая личину и тон *преданного друга,* — но будьте очень набожны, примиритесь с Богом, ибо герцог ждет доказательств, он колеблется, надо подтолкнуть его.

Она встала и дважды прошлась по будуару, может быть, искренне, а может быть, и притворно взволнованная. Затем она, видимо, нашла позу,

взгляд, соответствовавшие новым обстоятельствам, и, став передо мной, протянула мне руку и растроганно сказала:

— Ну что ж, Анри, вы прямодушный, благородный, прекрасный человек. Я никогда вас не забуду.

Это был замечательно искусный ход. Она была очаровательна, сумев так быстро переменить тактику, а это было необходимо в том новом положении, в которое она хотела поставить себя. Что касается меня, то всем своим видом, взглядом, позой я выразил глубокую скорбь и заметил, что надменность моей возлюбленной смягчилась. Она взглянула на меня, взяла за руку, привлекла к себе, слегка толкнула на диван и, помолчав, сказала:

— Мне страшно тяжело, дитя мое. Вы меня любите?

— Еще бы!

— Так что же с вами будет?

Тут все женщины переглянулись.

— Мне до сих пор невыносимо воспоминание об ее измене, но и до сих пор мне смешно, когда я вспоминаю ее лицо, выражавшее глубокую убежденность, спокойную уверенность если не в моей смерти, то по крайней мере в моей вечной печа-

ли, — продолжал де Марсе. — О, подождите еще смеяться, — обратился он к присутствующим. — Произошло нечто еще более поразительное. Помолчав, я взглянул на нее влюбленными глазами и сказал:

— Да, я уже и сам думал об этом.

— И что же вы будете делать?

— Я уже думал об этом на другой день после простуды…

— И?.. — спросила она с явным беспокойством.

— И начал ухаживать за той дамочкой, в которую меня считали влюбленным.

Шарлотта, словно вспугнутая лань, вскочила с дивана, задрожала, как лист, и бросила на меня взгляд, которым женщина выдает лютую злобу, забыв всю свою стыдливость, всю проницательность и даже все свое изящество, — сверкающий взгляд преследуемой и пойманной в своем гнезде гадюки; она сказала:

— А я-то его любила! Я-то боролась! Я-то… (На третьей мысли, о которой я предоставляю вам догадываться, она сделала самое красноречивое ударение, какое мне когда-либо приходилось слышать.) — Боже мой! — воскликнула она. — Как мы несчастны! Нам никогда не удается заслужить любви. Вы относитесь легко даже к самым

искренним чувствам. Но не обольщайтесь: когда вы хитрите с нами, вы все же всегда бываете одурачены.

— Я это прекрасно вижу, — ответил я грустно. — Вы слишком благоразумны в гневе, значит сердце ваше молчит.

Эта скромная насмешка удвоила ее ярость; даже слезы выступили у нее на глазах.

— Вы опорочили в моих глазах весь мир и жизнь, — сказала она, — вы лишили меня всех иллюзий, вы развратили мое сердце.

Она сказала мне все то, что я имел право высказать ей, — сказала с такой беззастенчивой самоуверенностью, с такой наивной дерзостью, что другой окаменел бы на месте.

— Что будет с нами, несчастными женщинами, в обществе, которое создала нам Хартия Людовика Восемнадцатого? (Судите сами, куда завело ее красноречие!) Да, мы рождены для страданий. В страсти мы всегда честнее вас. В вашем сердце нет ни капли благородства. Для вас любовь — игра, в которой вы всегда плутуете.

— Дорогая, — ответил я, — относиться к чему-нибудь серьезно в современном обществе — это значит играть в искреннюю любовь с актрисой.

— Какая подлая измена! Она заранее обдума-

на!

— Нет, она оправданна!

— Прощайте, господин де Марсе, — сказала она, — вы низко обманули меня!

— А будет ли герцогиня помнить обиды, нанесенные Шарлотте? — спросил я смиренно.

— Конечно, — ответила она с горечью.

— Итак, вы меня ненавидите?

Она кивнула головой, а я подумал: «Значит, не все потеряно!» Я ушел, оставив ее в убеждении, что ей есть за что мстить. Знаете, друзья мои, я изучал жизнь мужчин, пользовавшихся успехом у женщин, но полагаю, что ни маршал Ришелье, ни Лозен, ни Людовик де Валуа в первый раз так искусно не отступали, как я. А что касается моего ума и сердца, то именно тут они окончательно определились, и сила воли, с которой я тогда сумел обуздать порывы чувства, заставляющие нас совершать такое множество необдуманных поступков, дала мне то самообладание, которое вам известно.

— Как мне жаль вторую вашу страсть! — сказала баронесса де Нусинген.

От загадочной улыбки, скользнувшей по губам де Марсе, Дельфина де Нусинген покраснела.

– *Как фсе сапыфается!* — воскликнул барон де

Нусинген.

Наивность знаменитого банкира имела такой успех, что даже жена его, которая и была второй страстью де Марсе, не могла не засмеяться вместе со всеми.

— Вы все склонны осуждать эту женщину, — сказала леди Дэдлей, — а я понимаю, почему она не считала свое замужество изменой. Мужчины никогда не желают делать различия между постоянством и верностью. Я знаю женщину, о которой рассказывал господин де Марсе, это была одна из ваших последних знатных дам.

— Увы, миледи, вы правы, — сказал де Марсе, — скоро уже пятьдесят лет, как мы присутствуем при непрерывном разрушении социальных различий. Нам следовало бы оградить женщин от этого страшного крушения, но свод законов сравнял и их. Как ни ужасно то, что я скажу, но сказать надо: герцогини исчезают, маркизы тоже. А что касается баронесс (прошу прощения у госпожи де Нусинген, которая будет графиней, когда ее муж станет пэром Франции), то к баронессам никогда не относились серьезно.

— Аристократия начинается с виконтессы, — заметил, улыбаясь, Блонде.

— Графини останутся, — вновь заговорил де

Марсе, — изящная женщина всегда будет более или менее графиней, графиней времен Империи или графиней новоиспеченной, графиней из старинного дворянства или, как говорят итальянцы, графиней по изысканности. Но что касается знатной дамы, то она исчезла вместе со всем пышным окружением прошлого столетия, вместе с пудрой, с мушками, туфельками без задников, корсажами на планшетках, украшенными множеством пышных бантов. Современные герцогини легко проходят в двери, которые нет надобности расширять для необъятных фижм. Империя видела последние платья со шлейфами. Я до сих пор удивляюсь, каким образом монарх, желавший, чтобы паркет его дворцовых покоев подметали атласные или бархатные шлейфы герцогинь, не закрепил за некоторыми семьями при помощи незыблемых законов право первородства. Наполеон не учел последствий своего Кодекса, которым так гордился. Этот человек, создавая новых герцогинь, вызвал к жизни наших современных светских женщин, посредственный продукт его законодательства.

— Когда только что окончивший школу юнец или бездарный журналист пользуется мыслью, словно молотом, она разрушает основы

общественного порядка, — сказал граф де Ванденес. — В наше время всякий пройдоха, умеющий пускать пыль в глаза, украсить свою мощную грудь атласным жилетом в виде панциря, хранить на челе под ниспадающими кудрями печать сомнительной гениальности, умеющий вихлять в лакированных бальных туфлях, шестифранковых шелковых носках и, гримасничая, носить монокль, — будь он писцом у стряпчего, или сыном подрядчика, или побочным сыном банкира, — позволяет себе дерзко с ног до головы оглядывать самую красивую герцогиню, оценивать ее, когда она спускается по лестнице в каком-нибудь театре, и говорить приятелю, одевающемуся у Бюиссона, где мы все одеваемся, и обутому в лакированную обувь, как любой герцог: «Вот, милый мой, великосветская женщина!».

— Вы не сумели создать партию, — сказал лорд Дэдлей, — и у вас еще долго не будет политики. Во Франции много толкуют об упорядочении труда, но вы еще до сих пор не упорядочили собственности, и вот что с вами происходит: при Людовике Восемнадцатом или Карле Десятом еще встречались герцоги, у которых было по двести тысяч ливров ренты, великолепные особняки и величественные слуги, — такой герцог мог жить как

вельможа. Последним из французских вельмож был князь Талейран. Так вот, герцог оставляет четверых детей, из них две дочери. Предположим, что он очень удачно их женил и выдал замуж; каждый из его прямых наследников имеет в данное время уже не более шестидесяти-восьмидесяти тысяч ливров ренты. Каждый из них — отец или мать многочисленного потомства; следовательно, они вынуждены жить в квартире, где-нибудь в нижнем или втором этаже, соблюдая строжайшую экономию. Быть может, они даже выслеживают наследство. Итак, у жены старшего сына, оставшейся герцогиней только по имени, нет ни собственного выезда, ни лакеев, ни ложи в театре, ни приемных дней, у нее нет «своей половины» в особняке, ни собственного состояния, ни безделушек; она похоронила себя в семейной жизни, как женщина из предместья Сен-Дени — в своей торговле. Она сама выкармливает своих дорогих малюток, сама покупает для них чулки, наблюдает за дочерьми, которых уже не отдают в монастырский пансион. Таким образом, самые знатные ваши женщины обратились в почтенных наседок.

— Увы, это верно! — воскликнул Жозеф Бридо. — Наша эпоха утратила прелестную женщину

— цветок, украшавший великолепные времена французской монархии. Веер знатной дамы сломан: женщине уже не нужно больше за ним скрываться, краснеть, задумываться, шептаться, выглядывать из-за него. В наше время веер лишь веет ветерком. А ведь любая вещь, когда она представляет собою лишь то, что она есть, становится только полезной и перестает быть предметом роскоши.

— Все во Франции способствовало появлению светской женщины, — сказал Даниэль д'Артез, — аристократия допустила это, удалившись в глушь своих поместий, куда она скрылась, чтобы умирать; она эмигрировала вглубь страны перед натиском новых идей, как когда-то эмигрировала за границу перед натиском народных масс. Женщины, которые могли бы создавать европейские салоны, управлять общественным мнением, выворачивая его, словно перчатку, господствуя над людьми искусства или мысли, которые должны господствовать над светом, — эти женщины совершили ошибку: они покинули поле битвы, считая позорным для себя бороться с буржуазией, опьяненной властью, выступившей на арену и не понимающей, что ее растерзают на куски варвары, которые следуют за ней по пятам.

Поэтому там, где буржуа думает видеть принцесс, встречаются только молодые светские особы. В настоящее время принцы уже не находят знатных дам, которых они могут компрометировать, они даже не могут прославить женщину, случайно ставшую им близкой. Последний воспользовавшийся этим правом был герцог Бурбонский.

— И один Бог знает, чего ему это стоило, — заметил лорд Дэдлей.

— В настоящее время князья женаты на светских женщинах, которые вынуждены абонировать ложу сообща с подругами и которых даже королевская милость ни на йоту не возвеличила бы. Они незаметно скользят между двумя течениями: буржуазией и дворянством, — не будучи сами ни тем ни другим, — с горечью сказала маркиза де Рошфид.

— Наследницей женщины стала печать! — воскликнул Растиньяк. — В настоящее время женщина утратила способность быть живым фельетоном, очаровательно злословить, украшая беседу изысканными словечками. Теперь мы читаем фельетоны, написанные на жаргоне, меняющемся каждые три года, и развлекают нас нынешние газетки, остроты которых веселы, как факельщики в похоронной процессии, и легки,

как свинец типографских литер. Из конца в конец Франции ведутся разговоры на революционной тарабарщине, которую тискают длинными столбцами на бумаге в особняках, где вместо былых бесед в блестящем кругу теперь скрипит печатный станок.

— Звучит похоронный звон высшему обществу, вы слышите его? — спросил русский князь. — Первый удар этого колокола — ваше модное слово: светская женщина.

— Вы правы, князь, — сказал де Марсе, — эта женщина, вышедшая из рядов дворянства или выскочившая из буржуазии, вырастает на любой почве, даже на провинциальной; вот вам выразительница нашей эпохи, последнее воплощение хорошего тона, ума, изящества, собранных воедино, но в уменьшенном виде. Мы больше не увидим во Франции знатных дам, но еще долго будут светские женщины, избранные общественным мнением в женскую законодательную палату, и они будут для прекрасного пола тем, кем в Англии является джентльмен.

— И это они называют прогрессом! — сказала мадемуазель де Туш. — Хотела бы я знать, в чем же здесь прогресс?

— А вот в чем, — ответила госпожа де Нусин-

ген. — В былое время женщина могла отличаться голосом торговки, походкой гренадера, лицом дерзкой куртизанки, прилизанной прической, огромными ногами, толстыми руками — и тем не менее она оставалась знатной дамой. Теперь же знатная женщина, будь она хоть из рода Монморанси (если только девицы Монморанси могут обладать такой внешностью), все равно не будет светской женщиной.

— Но что подразумеваете вы под понятием «светская женщина»? — наивно спросил граф Адам Лагинский.

— Это модное создание, жалкий триумф выборной системы в применении к прекрасному полу, — ответил министр. — Каждая революция порождает слово, которое подводит ей итог и ее характеризует.

— Вы правы, — сказал русский князь, приехавший в Париж с целью создать себе здесь литературную славу. — Если объяснить некоторые слова, из века в век прибавлявшиеся к вашему прекрасному языку, то можно было бы написать замечательную историю. Например, слово «организовать». Оно создано Империей и включает в себя целиком понятие «Наполеон».

— Но все это не объясняет мне, что же такое

светская женщина! — воскликнул молодой поляк.

— Хорошо, я объясню вам это, — ответил Эмиль Блонде графу Адаму. — Вы бродите в ясный, погожий день по Парижу. Уже больше двух часов, но пяти еще нет. Навстречу вам приближается женщина. Первый беглый взгляд, который вы бросаете на нее, для вас как бы предисловие к чудесной книге; вы предчувствуете уже целый мир, изысканный и утонченный. Как ботаник, собирающий по горам и долинам гербарий, вы среди вульгарных парижанок встретили наконец редкий цветок. Эту женщину сопровождают двое мужчин с весьма благородной осанкой, из которых по крайней мере один с орденской ленточкой в петлице, или же в десяти шагах за ней следует слуга в будничной ливрее. Она не носит ярких тканей, ажурных чулок, вычурных пряжек на поясе, ни панталон с вышитой оборкой, пенящейся вокруг щиколотки. Она обута в прюнелевые башмачки с лентами, переплетающимися на тончайшем шерстяном или шелковом чулке, сером, без узоров, или же в легкие, очаровательно простые полусапожки. Одежда на ней из красивой, но не очень дорогой ткани, и многие мещанки стараются запомнить фасон ее платья.

Чаще всего это редингот, завязывающийся бантами и изящно обшитый петельками из шнура или тонкой вязаной сеточкой. У незнакомки своя, особая манера кутаться в шаль или тальму. Она умеет так завернуться в них, что голова ее выступает словно из какого-то панциря, который мещанку сделал бы похожей на черепаху, но у нашей незнакомки он дает представление о безупречной ее фигуре. Каким образом достигает она этого? Это ее тайна, и она не гонится за патентом изобретателя. Легкая, плавная походка придает ее движениям что-то цельное, гармоничное, и ее формы играют под одеждой с пленительной и опасной грацией. Так в полдень извивается змейка под зеленым покровом шелестящей травы. Кому обязана она, ангелу или демону, изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов, — я охотно дам ему наименование «Ветерок парижанки»? Вы сразу узнаете целую науку, сложную науку в расположении складок самой грубой ткани, драпирующей ее плечи, шею, стан так искусно, что кажется, видишь перед собой античную Мнемозину. Ах, как понятен такой женщине *рисунок походки* — простите мне это выражение.

Вглядитесь, как благопристойно она выступает, обрисовывая под одеждой свой стан, вызывая у прохожего восхищение, смешанное с желанием, но умеряемое глубоким почтением. Когда англичанка пытается идти такой походкой, она похожа на гренадера, атакующего редут. Да, парижанкам принадлежит гений походки! Должно быть, ради них городскому управлению пришлось залить асфальтом тротуары. Эта незнакомка никого не толкнет. С горделивой скромностью ожидает она, чтобы ей уступили дорогу. Особое отличие хорошо воспитанной женщины заметно хотя бы по ее манере придерживать на груди шаль или тальму. Она идет по улицам Парижа, храня скромный и бесстрастный вид, напоминая мадонн Рафаэля в их окружении. Ее осанка, одновременно и спокойная, и пренебрежительная, заставляет самого дерзкого денди почтительно посторониться перед ней. Ее изысканно простая шляпка отделана свежими лентами, иногда цветами. Но самые искусные женщины ограничиваются только завязками из лент. Перьев вы на их шляпках не увидите — перьям приличествует экипаж; цветы привлекают слишком много взглядов. Из-под шляпки выглядывает свежее спокойное личико женщины не чванливой, уверенной в себе; она

ни на что не смотрит пристально, но все замечает; всегда удовлетворенное тщеславие придает ее чертам выражение какого-то равнодушия, которое дразнит любопытство. Она знает, что на нее оглядываются все, даже женщины, и проносится мимо них, тоненькая, светлая, словно осенняя паутинка. Эта великолепная порода любит самые жаркие широты и самые чистые долготы Парижа. Вы увидите ее между десятой и сто десятой аркадой улицы Риволи на Больших бульварах — от экватора пассажа Панорамы, где процветают изделия Индии, где разложены самые последние новинки промышленности, до мыса Мадлен, в местностях, наименее опошленных буржуазией, между 30-м и 150-м номерами улицы Фобур-Сент-Оноре. Зимой она любит гулять по террасе Фельянов, но не по асфальтовому тротуару, идущему вдоль нее. В хорошую погоду она скользит по аллее Елисейских полей, окаймленных с востока площадью Людовика Пятнадцатого, с запада — проспектом Мариньи, с юга — тротуарами для пешеходов и с севера — садами предместья Сент-Оноре. Вы никогда не встретите этой прелестной разновидности женщин на северных окраинах улицы Сен-Дени, никогда не увидите ее на Камчатке узких, грязных торговых улочек,

и никогда, нигде вы не встретите ее в дождь и холод. Эти цветы Парижа распускаются только при знойной погоде, их ароматом напоены места прогулок, но бьет пять часов, и они свертываются, как трехцветный вьюнок. Женщины, которых вы встретите позже, несколько похожи на них и пытаются подражать им, но это *женщины как бы светские,* тогда как прекрасная незнакомка, ваша дневная Беатриче, — *женщина светская.* Трудно иностранцам, дорогой граф, заметить признаки, по которым опытные наблюдатели узнают как бы светских женщин, до такой степени ловко они маскируются, но парижанам эти различия бросаются в глаза. Это неумело скрытые застежки, пожелтевшие тесемки шнуровки, видной сквозь прореху корсажа, расстегнувшегося на спине, стоптанные башмаки, отглаженные ленты на шляпке, слишком пышные сборки платья, слишком накрахмаленный турнюр. Вы заметите, что ресницы она опускает как-то неестественно, и все ее манеры выдают какую-то напряженность. Что же касается женщины буржуазного круга, то ее никак не примешь за светскую женщину — отличие резко подчеркнуто; потому-то наша незнакомка и производит такое сильное впечатление. Буржуазная женщина деловита, выходит

из дому в любую погоду, куда-то семенит, спешит, возвращается, не знает, войти ей в магазин или не войти. В тех случаях, когда светская женщина твердо знает, чего она хочет и что ей делать, женщина буржуазная колеблется; она высоко подбирает платье, чтобы перейти канавку, тащит за собой ребенка и поэтому опасливо озирается, остерегаясь экипажей. Она мать на глазах у всех; она болтает с дочерью, деньги носит в ручной корзиночке, а чулки у нее ажурные. Зимой сверх меховой пелерины она набрасывает боа, а летом поверх шали — шарф, нагромождает в своем туалете одно на другое. Вашу прелестную незнакомку вы увидите у Итальянцев или на балу в Опере. Там она предстанет перед вами в совершенно ином обличье, и вы скажете: «Но это же не она!» Там эта женщина — словно бабочка, выпорхнувшая из своего таинственного кокона. Как самым утонченным лакомством, позволяет она вашим взорам наслаждаться лицезрением ее фигуры, которую утром корсаж лишь слегка обрисовывал. В театре она сидит не выше второго яруса, за исключением Итальянской оперы. Вы можете любоваться изысканной плавностью ее движений. Очаровательная плутовка пускает в ход всевозможные женские уловки, но делает

это чрезвычайно естественно — вам и в голову не придет, что все это совершается сознательно, преднамеренно. Если у нее царственно-прекрасная рука, то даже самый проницательный человек поверит, что ей необходимо было закрутить, поправить или отбросить локон или завиток волос, которых она слегка касается. Если у нее прекрасный профиль, то вам покажется, что она насмехается или хвалит, рассказывая что-то соседу, нечаянно придав головке тот излюбленный великими художниками поворот, при котором свет падает на щеку, четко обрисовывается линия носа, освещаются розовые ноздри, сглаживаются очертания слишком выпуклого лба, в глазах, устремленных куда-то вдаль, усиливается их искристый блеск, и светлым бликом выступает белоснежная округлость подбородка. Если у нее хорошенькая ножка, то она, нежась, словно кошечка на солнце, опустится на диван, вытянет ножки, и вы в этом положении тела не найдете ничего, кроме самой восхитительной позы, вызванной усталостью. Только светская женщина чувствует себя непринужденно в своей одежде. Ничто не стесняет ее. Вы никогда не увидите, чтобы она, как буржуазка, натягивала на плечо соскользнувшую с него ленту, или

вправляла выскочившую из корсета планшетку, или смотрела, охраняет ли шейная косынка, этот неверный страж, два белоснежных сокровища, или же смотрелась в зеркало, чтобы убедиться, что прическа не растрепалась. Наряд ее всегда соответствует ее внешности. Она, не жалея времени, на досуге изучила себя, устанавливая, что к ней не идет. Вы не увидите ее при разъезде, она исчезнет до окончания спектакля, а если случайно, спокойная и величественная, она покажется на красном ковре лестницы, то вызовет пылкое восхищение зрителей. Она здесь по чьему-то приказанию, ей надо кому-то бросить украдкой взгляд, получить какое-то обещание. Быть может, она так медленно спускается, чтобы удовлетворить тщеславие раба, которому она порой сама повинуется! Встретив ее на каком-нибудь балу или званом вечере, вы насладитесь искусственной нежностью ее вкрадчивого голоса, вас восхитит ее пустая болтовня, которой она с неподражаемым умением придаст видимость мысли.

— Разве не надо быть умной, чтобы слыть светской женщиной? — спросил польский граф.

— Ею невозможно быть, не обладая вкусом, — ответила госпожа д’Эспар.

— Во Франции обладать вкусом — это больше, чем обладать умом, — заметил русский князь.

— Ум такой женщины является торжеством искусства пластического, — продолжал Блонде. — Вы не знаете еще, что она скажет, но вы уже очарованы. Покачает ли она головой или мило пожмет плечами, она уже позолотила незначительную фразу очаровательной улыбкой, гримаской или вложила смысл вольтеровской эпиграммы в восклицания: «Вот как!», или «Неужели?», или «Еще бы!». Поворот ее головы может стать самым пытливым вопросом. Она придает смысл даже тому движению, каким играет флакончиком с духами, подвешенным к кольцу на ее пальце. Все это искусственное величие достигается самыми пустячными мелочами. Вот она небрежно свесила руку с локотника кресла, а вам кажется, что это спадают капли росы с лепестков цветка, и этим все решено; этим движением она сказала свое слово, взволновав даже самых хладнокровных. Она умеет вас слушать, она доставляет вам возможность быть остроумным, а ведь такие минуты (я обращаюсь к вашей скромности) бывают редки.

Молодой поляк слушал Блонде с таким простодушным видом, что все рассмеялись.

— Вам достаточно полчаса побеседовать с буржуазной женщиной, и она уже заговорит о своем муже, — продолжал Блонде, не утратив комической серьезности. — Но если даже вам известно, что ваша светская женщина замужем, у нее хватит такта не занимать вас разговорами о своем супруге, и вам понадобятся усилия Христофора Колумба, чтобы открыть ее мужа среди гостей. Случается, что вам одному сделать это не под силу. Если вам никого не удалось расспросить, то только к концу вечера вы замечаете, как она пристально смотрит на мужчину средних лет, украшенного орденами, который, кивнув головой, выходит: она попросила мужа вызвать экипаж и уезжает. Вы сами отнюдь не цветок, но вы находились в его близости и вернетесь домой в золотистом тумане дивных грез, которые, быть может, продолжатся и в сновидениях, когда Сон своей могучей дланью распахнет ослепительно-белые врата храма фантазии. Ни одна светская женщина не принимает у себя ранее четырех часов. Она прекрасно понимает, что надо заставить вас подождать ее. Убранство ее дома всегда самое изысканное, в нем роскошь стала повседневностью, всегда свежа и уместна. Вы там не увидите ничего хранящегося под стеклянным колпаком,

не увидите суконных вышитых конвертов, висящих на стене, словно шкапчики для провизии. Уже на лестнице вам будет тепло. Повсюду цветы будут радовать ваш взор. Цветы — единственное подношение, которое она принимает, и то лишь от очень немногих. Букеты живут только день, доставляют радость и требуют обновления. Для нее они, как на Востоке, символ, обещание. Повсюду разбросаны модные дорогие безделушки, но комнаты не напоминают ни музей, ни антикварную лавку. Вы найдете эту женщину в ее любимом уголке у огня, на диванчике; она приветствует вас, не вставая. Здесь ее беседа будет иной, чем на балу. Вне дома она была вашим заимодавцем, а дома сама заимствует у вас то, что доставляет удовольствие ее уму. Всеми этими оттенками светская женщина владеет в совершенстве. Она ценит в вас человека, который приумножит собирающееся у нее общество, — предмет беспокойства и забот светской женщины в наши дни. Чтобы сделать вас постоянным посетителем ее салона, она будет с вами очаровательно кокетлива. Это даст вам почувствовать, как обособленно живут женщины в наше время и почему они так хотят иметь свой мирок, для которого они будут светилом. Беседа немыслима без общности

интересов.

— Да, — сказал де Марсе, — тебе хорошо известен порок нашего времени. Эпиграмма — книга, включенная в одну остроту, но теперь она направлена не на личность, не на предметы, как то было в восемнадцатом веке, а на пошлые происшествия, и живет теперь эпиграмма лишь один день.

— Ум светской женщины, если только он у нее есть, — продолжал Блонде, — это ум скептический, тогда как ум буржуазной женщины доверчивый. В этом и заключается главное различие этих двух женских типов. Мещанка, несомненно, добродетельна, светская же дама не уверена, есть ли у нее добродетель и будет ли она всегда добродетельна. Она колеблется и противится, тогда как мещанка сначала отказывает наотрез, а затем безоговорочно уступает. Эти постоянные колебания светской женщины — последнее очарование, оставленное ей нашей ужасной эпохой. Она редко бывает в церкви, но много говорит о религии и постарается обратить вас на путь истинный, если у вас достаточно сообразительности, чтобы разыгрывать перед ней вольнодумца, — этим вы дадите исход ее рвению, и оно выразится в шаблонных фразах, в

установленном для сего случая выражении лица, в жестах, принятых у светских женщин. «Ах, как это нехорошо, а я полагала, что вы настолько умны, что не будете нападать на религию! Общество рушится, а вы лишаете его опоры. В данное время религия — это вы и я, это собственность, это будущее наших детей. Ах, не будем эгоистичны! Себялюбие — болезнь нашего века, и единственное лекарство против него — это религия, она вносит единение в семьи, разъединенные вашими законами» и т. п. Она начинает разговор в неохристианском духе, уснащенный политикой, в духе ни католическом, ни протестантском, зато разговор нравственный, о, чертовски нравственный! В нем вы узнаете обрывки, лоскутки всех сотканных ныне разношерстных доктрин.

Тут женщины рассмеялись: такими забавными ужимками сопровождал Эмиль Блонде свои выпады.

— Эти слова докажут вам, дорогой граф Адам, — продолжал Блонде, глядя на поляка, — что в голове светской женщины настоящая каша из модных политических, религиозных и прочих идеек: вместе с тем она окружена блестящими, но непрочными изделиями современной промышленности, которая стремится, чтобы ее товары

жили недолго и быстро заменялись новыми. Вы уйдете от этой женщины, говоря себе: «У нее, несомненно, возвышенный образ мыслей». Вы тем более будете в этом убеждены, что она своей нежной рукой сумела прощупать ваше сердце и ум, она выведала ваши тайны, ибо светская женщина делает вид, что ничего не знает, чтобы обо всем узнать, и есть тайны, о которых она всегда слышит якобы в первый раз, даже когда эти тайны ей прекрасно известны. Итак, вы уходите от нее очарованным, но обеспокоенным. От вас состояние ее сердца скрыто. В былое время знатные дамы дерзко афишировали свою страсть, теперь же страсть светской женщины размечена, как нотная бумага. У нее свои восьмушки, свои четверти, свои полуноты, свои четвертные паузы, свои фермато, свои диезы. Как женщина слабая, она не хочет компрометировать ни своей любви, ни своего мужа, ни будущности своих детей. Ныне имя, положение, состояние не являются флагом, который внушает уважение и прикрывает любые контрабандные товары на борту. Аристократы не выступают теперь дружным отрядом, чтобы заслонить согрешившую знатную даму. Поэтому нынешняя светская женщина не отличается величественностью, как прежняя знатная дама;

она ничего не может попирать своей пятой, ибо сама будет попрана. Поэтому-то она лицемерит, соблюдает приличия, старается сохранить свою страсть в тайне и благополучно провести ее по руслу, усеянному подводными камнями. Она опасается своих слуг, как англичанка, которой всюду мерещится судебный процесс за греховные разговоры. Эта женщина, такая непринужденная на балу, такая прелестная на прогулке, рабыня у себя дома; она независима только в очень замкнутом кругу да в мыслях. Она желает оставаться светской женщиной — вот ее задача. А в наши дни женщина, покинутая мужем, ограниченная скромной пенсией, лишенная выезда, роскоши, ложи в театре, лишенная прелестных принадлежностей туалета, уже больше ни женщина, ни распутница, ни хозяйка. Она исчезла, превратилась в вещь. В монастырь, служить супругу небесному, замужнюю женщину не примут: это было бы двоемужеством. Будет ли она всегда дорога своему любовнику? Это вопрос. Поэтому светская женщина всегда может подать повод к клевете, но никогда к злословию.

— Все это жестокая правда, — сказала княгиня де Кадиньян.

— Потому-то, — продолжал Блонде, — светская

женщина и живет между английским лицемерием и прелестной откровенностью восемнадцатого века: ублюдочная система, разоблачающая время, где ничто новое не похоже на прошедшее, где новшества ни к чему не ведут, где господствуют только оттенки, где значительные люди стушевываются, где различия чисто индивидуальны. Я убежден, что женщине, даже рожденной вблизи трона, невозможно постичь до двадцати пяти лет науку интриги, невозможно понять значение мелочей, переливы голоса и гармонию красок, ангельское коварство и невинное плутовство, искусство болтовни и молчания, серьезности и шутки, ума и глупости, дипломатии и невежества — одним словом, постичь все, что составляет сущность светской женщины.

— При таких взглядах, — спросила мадемуазель де Туш Эмиля Блонде, — куда же вы определите женщину-писательницу? Кто она, по-вашему? Светская женщина или нет?

— Если она не талантлива, то это женщина никчемная, — ответил Эмиль Блонде, сопровождая ответ лукавым взглядом, который мог сойти за похвалу, откровенно обращенную к Камиллу Мопену. — Это мнение Наполеона, а не мое, — добавил он.

— Ах, не порочьте Наполеона! — воскликнул высокопарно Каналис. — Конечно, у него были свои слабости, и одна из них — зависть к литературным дарованиям. Но кто сумеет объяснить, изобразить или понять Наполеона? Человек, которого изображают со скрещенными на груди руками и который совершил столько дел? Скажите, кто обладал более славной, более сосредоточенной, более разъедающей, более подавляющей властью? Своеобразный гений, пронесший повсюду вооруженную цивилизацию и нигде ее не закрепивший; человек, который мог всего достичь, потому что хотел всего; человек феноменальной воли, укрощавший недуг битвой и, однако же, обреченный умереть в постели от болезни, после жизни, проведенной среди ядер и пуль; человек, голова которого вмещала законодательство и меч, слово и действие; проницательный ум, все предвидевший, кроме своего крушения; странный политик, в азартной своей игре бросавший без счета человеческие жизни и пощадивший трех людей: Талейрана, Поццо ди Борго и Меттерниха — дипломатов, смерть которых спасла бы его Империю и которые в его глазах имели больше веса, чем тысячи солдат; человек, которому природа по исключительной

милости оставила сердце в бронзовом теле; веселый и добрый в полночь, среди женщин, он утром без стеснения распоряжался Европой, как проказница-девчонка для забавы расплескивает воду в ванне! Лицемерный и великодушный, любящий мишуру и одновременно простой, человек, лишенный вкуса и покровитель искусства, — невзирая на все эти противоречия, он был инстинктивно или органически велик во всем; Цезарь — в двадцать пять лет, Кромвель — в тридцать, добрый отец и примерный супруг, как лавочник с улицы Пер-Лашез. Наконец, он создал памятники, государства, королей, кодексы законов, стихи, роман, и все это больше по вдохновению, чем по правилам. Он хотел всю Европу сделать Францией! Сделав нас для всего земного шара бременем, едва не нарушившим законы тяготения, он оставил нас беднее, чем в тот день, когда наложил на нас руку. И он, завоевавший империю ради своей славы, утратил славу на краю своей империи в море крови и солдат. Человек, который был весь мысль и действие, заключил в себе Дезэ и Фуше[42].

---

[42] Примечания: 42

Упоминаются генерал наполеоновской армии Луи-Шарль Дезэ (1768–1800), имеющий прямодушный характер, и прославившийся своим вероломством министр полиции Жозеф Фуше (1763–1820).

— То воплощенный произвол, то сама справедливость, смотря по обстоятельствам! Настоящий король! — сказал де Марсе.

– *Ах, какое утофольстфие слюшать фас!* — воскликнул барон де Нусинген.

— А вы что думаете! Разве мы угощаем вас заурядными мыслями? — спросил Жозеф Бридо. — Если бы надо было платить за удовольствие беседы, как вы оплачиваете танцы или музыку, то всего вашего состояния на это не хватило бы! У нас острота дважды в одинаковой форме не подается.

— Неужели же мы действительно так измельчали, как полагают эти господа? — сказала княгиня де Кадиньян, обращаясь к женщинам с вопросительной и насмешливой улыбкой. — Неужели потому, что мы живем при таком режиме, который все умаляет и уже приучил нас любить простенькие блюда, маленькие квартирки, убогие картины, незначительные статейки, маленькие газетки, жалкие книжонки, — неужели должны измельчать и женщины? Почему сердце человеческое должно измениться оттого, что человек переменил одежду? Страсти всегда останутся страстями. Мне известны примеры изумительной преданности, возвышенных стра-

даний, но им не хватает гласности, славы, если хотите, которая в былое время превозносила заблуждения некоторых женщин. Но можно быть Агнессой Сорель[43] и не спасая короля Франции. Разве наша дорогая маркиза д'Эспар не стоит госпожи Дубле или госпожи дю Дефан[44], у которых говорили и делали столько зла? Разве Тальони не стоит Камарго?[45] Малибран разве не равна Сент-Юберти? Разве наши поэты не превосходят поэтов восемнадцатого века? Если в данное время по вине лавочников, которые нами управляют, у нас нет собственного стиля, то разве Империя не накладывала на все своего отпечатка, подобно веку Людовика Пятнадцатого, и ее блеск разве не был сказочным? А разве измельчали науки?

— Я совершенно согласен с вами, сударыня; женщины нашей эпохи действительно величественны, — сказал генерал де Монриво. — Когда нам на смену придет потомство, госпожа Река-

---

[43] Примечания: 43

Агнесса Сорель (ок. 1422–1450) — возлюбленная французского короля Карла VII.

[44] Примечания: 44

Госпожа Дюбле (1697–1771) — хозяйка популярного салона. *Мария Дю Дефан* (1697–1780) — ученая дама, состояла в переписке со многими писателями и философами.

[45] Примечания: 45

Известные балерины.

мье[46] будет ему казаться столь же великой, как самые прекрасные женщины прошлого столетия! Наша история так многогранна, что не хватит историков для нее! Век Людовика Четырнадцатого имел лишь одну госпожу де Севинье[47], а у нас в Париже их сейчас тысячи, и они, несомненно, пишут лучше, чем госпожа де Севинье, но не печатают своих писем. Как бы француженка ни именовалась, «светской женщиной» или «знатной дамой», она всегда будет женщиной в истинном значении этого слова. Эмиль Блонде нарисовал нам современную женщину и ее искусство обольщать, но эта женщина, которая жеманится, наряжается, щебечет, повторяя мысли такого-то и такого-то, в нужную минуту может стать героиней. Ваши ошибки, сударыни, тем более поэтичны, что они неизменно и во все времена грозят вам величайшими опасностями. Я много наблюдал свет и, быть может, понял его слишком поздно. Но в тех случаях, когда незаконность ваших чувств была извинительна, я всегда

[46] Примечания: 46

Жюльет Рекамье (1777–1849) — французская писательница, хозяйка знаменитого салона.

[47] Примечания: 47

Маркиза де Севинье (1626–1696) — французская писательница, автор знаменитых «Писем», отражающих нравы дворянства XVII века.

видел следствие какой-нибудь случайности — назовите это, если хотите, провидением, — которая роковым образом поражает ту, кого мы называем женщиной легкомысленной.

— Надеюсь, — возразила госпожа де Ванденес, — что мы можем быть героинями и в других случаях…

— Ах, позвольте уж маркизу де Монриво закончить поучения! — воскликнула госпожа д'Эспар.

— Тем более, что он много поучал примером, — заметила баронесса де Нусинген.

— Право, — произнес генерал де Монриво, — среди множества драм — я говорю «драм», так как вы часто употребляете это слово, — сказал он, обращаясь к Блонде, — среди известных мне драм, в которых сказался перст божий, самая страшная была почти делом моих рук…

— Расскажите же, я обожаю все жуткое! — воскликнула леди Баримор.

— Все добродетельные женщины это любят, — ответил де Марсе, взглянув на очаровательную дочь лорда Дэдлея.

— Во время кампании тысяча восемьсот двенадцатого года, — начал генерал Монриво, обращаясь ко мне, — я был невольной причиной ужасного несчастья, которое может помочь

вам, доктор Бьяншон, разрешить некоторые проблемы, так как вы занимаетесь не только человеческим организмом, но и психологией. Это был мой второй поход; я любил опасность и смеялся над всеми, как и подобает молодому и простодушному лейтенанту. Когда мы подошли к Березине, армия, как вам известно, уже совсем разложилась и забыла, что значит дисциплина. Это было скопище людей различных национальностей, которое инстинктивно двигалось с севера на юг. Солдаты гнали от своих костров генерала в лохмотьях, если он не приносил им пищи и питья. После переправы через эту знаменитую реку беспорядок не уменьшился. Спокойно, однако ж, без продовольствия я выбрался из Зембинских болот и стал искать дом, где мне оказали бы гостеприимство. Я шел, не встречая на пути никакого жилья, или получал отказ там, где просил приюта, но вечером, к счастью, я заметил жалкую, маленькую польскую ферму, какую вы и представить себе не можете, если только не видели деревянных хижин Нормандии или самых бедных мыз Босской долины. Такие жилища состоят из одной горницы, разделенной дощатой перегородкой. Отгороженная часть служит складом для сена и соломы. Я чудом разглядел при вечерних

сумерках легкий дымок, подымавшийся над этим домом. Рассчитывая найти там товарищей более сострадательных, чем те, к которым до тех пор обращался, я смело двинулся к этой ферме. Войдя, я увидел накрытый стол. Несколько офицеров и среди них одна женщина — явление довольно обычное — ели картошку, конину, поджаренную на углях, и мороженую свеклу. В числе сидящих я узнал двух-трех капитанов первого артиллерийского полка, где я служил. Меня встретили громким «ура», что меня сильно удивило бы по ту сторону Березины; но в данный момент мороз был уже не таким суровым, офицеры отдыхали, им было тепло, они ели, и горница, устланная охапками соломы, сулила им чудесный сон. В ту пору мы были неприхотливы. Филантропия давалась моим товарищам даром — это ведь самый обычный вид филантропии. Я уселся на вязанках соломы и принялся за еду. В конце стола, около двери в боковушку, служившую сеновалом, сидел мой бывший командир, один из самых необыкновенных людей, каких я когда-либо встречал среди человеческого сброда, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был итальянец. А уж если южанин красив, то его красота всегда совершенна. Обращали ли вы

внимание на исключительную белизну кожи тех итальянцев, которые от природы бледны? Эта белизна изумительна, особенно при свечах. Когда я прочитал описание фантастического образа полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье[48], то в каждой из его изящных фраз я нашел отклик собственных впечатлений. Итак, мой полковник был итальянец, как и большинство офицеров его полка, взятого императором из армии принца Евгения[49]; он был высокого, саженного роста, великолепно сложен, пожалуй, слишком дороден, но отличался необычайной физической силой, а вместе с тем был ловкий и проворный, как борзая. Черные вьющиеся кольцами волосы оттеняли нежный, как у женщины, цвет лица; руки у него были маленькие, нога красива, рот прелестный; нос орлиный, тонких очертаний, причем кончик его как-то сжимался и белел, когда полковник сердился, а случалось это часто. Вспыльчивость его была столь невероятна, что лучше я умолчу о ней; вы сами будете судить о ней. Никто возле него не чувствовал

---

[48] Примечания: 48

Имеется в виду книга Шарля Нодье «История тайных обществ» (1815).

[49] Примечания: 49

Евгений де Богарне (1781–1824) — пасынок Наполеона, вице-король Италии.

себя спокойно. Пожалуй, один я не боялся его; правда, он почувствовал ко мне такую исключительную дружбу, что все, что бы я ни делал, он находил прекрасным. Когда он приходил в ярость, лоб его морщился и посередине его прорезались складки в виде дельты, или, вернее, в виде подковы коня Редгонтлета[50]. Этот признак ужасал еще сильнее, чем магнетический блеск его синих глаз. Тело его содрогалось, и в порыве гнева физическая сила его, и без того огромная, становилась почти беспредельной. Он сильно картавил. Его голос, не менее мощный, чем голос полковника Удэ в рассказе Шарля Нодье, звучал всевозможными раскатами и переливами в словах со звуком «р». Этот недостаток речи являлся, однако, достоинством в некоторые моменты, например, когда полковник командовал на маневрах или был взволнован, и вы не можете себе представить, сколько энергии и воли выражало это произношение, считающееся вульгарным в Париже. Надо было слышать полковника, чтобы понять это! Когда он был спокоен, его глаза выражали ангельскую кротость, а безоблачное чело было полно очарования. Ни на одном параде во

[50] Примечания: 50

Редгонтлет — персонаж одноименного романа Вальтера Скотта (1824).

всей итальянской армии никто не мог с ним сравниться. И даже д'Орсэ, сам великолепный д'Орсэ, был побежден нашим полковником во время последнего парада, устроенного Наполеоном перед походом в Россию. В этом одаренном человеке все было противоречиво. Страсть питается контрастами. Не спрашивайте меня, оказывал ли он на женщин то неотразимое впечатление, которому ваша женская природа (тут генерал взглянул на княгиню де Кадиньян) покоряется, как расплавленное стекло стеклодуву; но по странной случайности — наблюдатели, вероятно, замечали эту странность — полковник не имел большого успеха у женщин, а может быть, и пренебрегал им. Чтобы дать представление о его вспыльчивости, я расскажу в двух словах, на что он был способен в припадке гнева. Однажды мы продвигались с пушками по узкой дороге, с одной стороны которой был крутой откос, с другой — лес. В пути мы повстречали другой артиллерийский полк, во главе которого шел полковник. Он потребовал, чтобы капитан, командир нашей первой батареи, уступил дорогу. Капитан, конечно, воспротивился. Тогда полковник отдал приказ своей первой батарее двигаться вперед, и, как ни старался ездовой держаться

как можно ближе к лесу, колесо первого лафета задело правую ногу нашего капитана, переломило ее и выбило его из седла. Все произошло в мгновение ока. Наш полковник, находившийся неподалеку, догадался о происшедшем столкновении и во весь опор, перескакивая через ямы и пни, с риском сломать себе шею, подскакал к чужому полковнику в то мгновение, когда наш капитан, падая, крикнул: «Ко мне!» Наш полковник-итальянец уже не был похож на человека. Как в бокале шампанского, на его губах вскипела пена, он рычал, словно лев. Не будучи в силах произнести ни слова, ни даже закричать, он подал грозный знак своему противнику, указав на лес, и выхватил саблю. Оба полковника направились туда. Через две секунды мы увидели противника нашего полковника распростертым на земле, с раскроенным черепом. Солдаты его уступили нам дорогу; да, черт побери, живо уступили! Капитан, еле живой, лежал в придорожной канаве, куда его отбросило колесо лафета. Он был женат на прелестной итальянке из Мессины, и она нравилась нашему полковнику. Это обстоятельство усиливало его ярость. Он считал себя обязанным защищать мужа так же, как ее самое. И вот теперь я встретил их, всех троих, в хижине,

где меня так гостеприимно приняли: капитан сидел против меня, а жена его — на другом конце стола, против полковника. Эта итальянка была невысокого роста, очень смуглая, в ее черных глазах миндалевидного разреза таился весь зной сицилийского солнца; звали ее Розиной. В то время она была жалостно худа, щеки ее запылились, словно золотистый персик, претерпевший все непогоды в долгом пути. Едва прикрытая лохмотьями, изнуренная переходами, со спутанными, слипшимися волосами, прикрытыми косынкой, она все же сохраняла остатки женственности. Ее движения были грациозны; розовые, красиво изогнутые губы, белые зубы, овал лица, стан этой женщины, подвергавшейся лишениям, холоду, пренебрежению, могли еще внушать любовь тому, кто был в состоянии мечтать о любви. Розина принадлежала к числу хрупких по внешности, но сильных и выносливых от природы женщин. Лицо ее мужа, пьемонтского дворянина, выражало насмешливое добродушие, если дозволено сочетать эти два слова. Храбрый и образованный, он, казалось, не подозревал о трехлетней связи своей жены с полковником. Я приписывал это попустительство итальянским нравам или какой-нибудь супружеской тайне; и все же в лице

этого человека было нечто, всегда внушавшее мне смутное недоверие. Его нижняя губа, тонкая и очень подвижная, была не приподнята в уголках рта, а опускалась, что, по-моему, служило признаком жестокости в этом человеке, с виду таком флегматичном и ленивом. Вы прекрасно понимаете, что разговор, когда я пришел, был не особенно оживленным. Мои товарищи, очень уставшие, ели молча, но они, конечно, кое о чем расспросили меня. Мы поведали друг другу о наших злоключениях, попутно делясь мыслями о войне, о генералах, об их ошибках, о русских и о холоде. Вскоре после моего прихода полковник, закончив свою скудную трапезу, вытер усы, пожелал нам спокойной ночи и, бросив на итальянку сумрачный взгляд, сказал ей: «Розина!» Затем, не дожидаясь ответа, ушел в клеть, где лежало сено. Смысл его приглашения было легко понять. У молодой женщины вырвался непередаваемый жест, говоривший, что она глубоко возмущена, видя, как грубо выставляют напоказ ее зависимость и оскорбляют ее женское достоинство и достоинство ее мужа. Но в том, как омрачилось ее лицо, как нахмурились брови, сквозило и что-то иное, какое-то предчувствие, быть может, предвидение своей судьбы. Розина продолжала

спокойно сидеть за столом. Спустя мгновение, по-видимому улегшись на постели из сена и соломы, итальянец повторил: «Розина!». Тон этого вторичного призыва был еще грубее первого. Картавость полковника и растягивание гласных в конце слов, присущее итальянскому языку, передавали весь деспотизм, нетерпение и волю этого человека. Розина побледнела, но встала, прошла позади нас и направилась к полковнику. Все мои товарищи хранили глубокое молчание, но я, к несчастью, обвел всех их взглядом и засмеялся. Мой смех заразил остальных. «Turidi?»[51] — сказал муж. «Честное слово, товарищ, — ответил я, перестав смеяться, — признаюсь: виноват. Приношу тысячу извинений; если же тебе мало моих извинений, то я к твоим услугам…» «Не ты виноват, а я», — ответил он холодно. Вслед за тем все мы легли в этой же горнице и крепко уснули. На следующее утро каждый, не будя соседа, не подыскивая себе спутника, пустился в дорогу куда глаза глядят, с тем эгоизмом, который и превратил наше отступление в самую страшную, жалкую и отвратительную личную драму, какая когда-либо имела место на земле. Однако шагах

---

[51] Примечания: 51
Смеешься? *(ит.)*

в семистах-восьмистах от места нашего ночлега мы почти все сошлись и дальше уже продолжали путь вместе, словно стая гусей, подгоняемая слепой прихотью ребенка. Одна и та же необходимость гнала нас всех вперед. Дойдя до пригорка, откуда еще видна была ферма, в которой мы провели ночь, мы услышали крики, похожие на рычание льва в пустыне, на рев быка. Да что говорить — эти вопли ни с чем знакомым сравнить нельзя. Мы различили также и слабый женский крик, примешавшийся к зловещим, хриплым воплям. Мы все, как один, оглянулись, охваченные ужасом. Мы больше не увидели дома, а лишь огромный костер. Строение, которое было кругом забаррикадировано, пылало. Вместе с клубами дыма ветер доносил до нас дикий вой и какой-то странный запах. В нескольких шагах от нас шел капитан, он только что спокойно присоединился к нашему каравану. Мы все молча смотрели на него; никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, но он догадался о терзавшем нас любопытстве, постучал себя в грудь указательным пальцем правой руки, а левой указал на пожар. «Son'io!»[52] — сказал он. Мы продолжали путь, не

[52] Примечания: 52
Это я! *(ит.)*

сказав ему ни слова.

— Нет ничего страшнее взбесившегося барана, — заметил де Марсе.

— Было бы просто жестоко оставлять нас под жутким впечатлением этого рассказа; мне все это будет сниться… — сказала госпожа де Портандюэр.

— А какова же была кара, постигшая первую страсть господина де Марсе? — спросил, улыбаясь, лорд Дэдлей.

— Шутки англичан всегда безобидны, — заметил Блонде.

Де Марсе, обращаясь ко мне, ответил:

— Об этом может нам рассказать господин Бьяншон, он видел, как эта женщина умирала.

— Да, — ответил я, — и смерть ее была одна из самых прекрасных, какие я когда-либо видел. Мы с герцогом провели всю ночь у изголовья умирающей; острое воспаление легких не оставляло никакой надежды. Накануне ее соборовали. Герцог дремал. Около четырех часов утра герцогиня проснулась и, дружески улыбаясь, подала мне трогательный знак, чтобы я не будил его, а между тем ведь она умирала! Она страшно исхудала, но черты лица и его овал сохранили дивную красоту. Это бледное лицо было прозрачным, как фарфоро-

вая ваза, освещенная изнутри. Блестевшие глаза и лихорадочный румянец четко выделялись на нем, но все оно дышало мягкой прелестью и величавым покоем. Казалось, она жалеет герцога, и чувство это исходило из возвышенной нежности, которая с приближением смерти была беспредельна. Царила глубокая тишина. Комната, еле освещенная затененной лампой, была похожа на комнату всякого умирающего. В это время пробили часы. Герцог проснулся и пришел в отчаяние от того, что задремал. Я не заметил досадливого жеста, которым он выразил сожаление, что пропустил несколько мгновений, из тех последних мгновений, которые ему суждено было провести с женой; и, несомненно, всякая другая женщина могла бы не понять его, но умирающая поняла. Этот государственный деятель, поглощенный делами Франции, отличался множеством странностей, из-за которых талантливых людей принимают за сумасшедших, меж тем как они объясняются тонкостью их организации и требованиями их ума. Он пересел в кресло подле кровати жены и стал пристально смотреть на нее. Умирающая с трудом взяла руку мужа, слабо пожала ее и чуть слышным, нежным и взволнованным голосом сказала: «Мой бедный

друг, кто же теперь будет понимать тебя?» — И, глядя на него, она умерла.

— Истории, которые доктор рассказывает, производят глубокое впечатление, — заметил герцог де Реторе.

— И очень трогательное, — добавила мадемуазель де Туш.

— Ах, сударыня, — ответил доктор, — я храню в памяти и жуткие истории. Но для каждого рассказа нужна особая обстановка. Помните, как остроумно, по словам Шанфора, кто-то ответил герцогу де Фронсаку: «Чтобы оценить твою шутку, недостает бутылки шампанского».

— Но ведь уже два часа, и рассказ о Розине подготовил нас, — сказала хозяйка дома.

— Расскажите, господин Бьяншон, расскажите! — послышалось со всех сторон.

Доктор жестом выразил согласие, и тотчас воцарилось молчание.

— Шагах в ста от Вандома, на берегу Луары, — начал Бьяншон, — стоит ветхий, побуревший дом с очень высокой кровлей. Стоит он на отшибе, и близ него нет ни зловонного кожевенного завода, ни жалкой харчевни, какие встречаются на окраинах почти всех маленьких городов. Перед домом раскинулся большой сад, спускающийся

к реке; буксовые деревья, в былое время подстриженные и тянувшиеся аллеями, разрослись в причудливом беспорядке. Кудрявый ивняк, поднимавшийся от самой воды, быстро вытянулся вверх и образовал изгородь, наполовину скрывшую дом. Так называемые сорные травы украсили сочной зеленью откос берега. Фруктовые деревья, за десять лет успевшие одичать, уж не приносят плодов, и их побеги образуют густую поросль. Ряды рассаженных деревьев превратились в лиственные завесы. Дорожки, когда-то посыпавшиеся песком, теперь покрылись портулаком, да и следов-то этих дорожек не осталось. Стоя на вершине горы, где вздымаются развалины старинного замка герцогов Вандомских, — на единственном месте, откуда взору доступно проникнуть за эту ограду, — думаешь, что когда-то, давным-давно (даже трудно вообразить себе, когда именно), этот земной уголок был отрадой какого-нибудь дворянина, занятого разведением роз или тюльпанов, — словом, садовода и любителя редких плодов. С горы видна увитая зеленью беседка, точнее, ее развалины; там стоит стол, еще не совсем разрушенный временем. Вид этого заглохшего сада дает представление о скромных, безмятежных радостях, которыми

наслаждаются в провинциальной тиши, — так по эпитафии на памятнике представляешь себе весь жизненный путь какого-нибудь почтенного купца. Благонамеренно христианская надпись на циферблате солнечных часов «Ultimam cogita»[53] навевает чувство грусти и отрешенности. Кровля дома сильно обветшала, ставни всегда закрыты, балконы усеяны гнездами ласточек, двери неизменно заколочены. Высокие травы зелеными штрихами прочертили трещины каменного крыльца, железная оковка дверей заржавела. Ветер, солнце, зима, лето, снег источили дерево, покоробили доски, изъели все краски. Царящий здесь мертвенный покой нарушают лишь птицы, кошки, куницы, крысы да мыши, которым привольно здесь бегать, драться, грызться. Невидимая рука всюду начертала слово *тайна.* Если же вы, покорясь любопытству, вздумаете взглянуть на дом со стороны улицы, то увидите большие, сверху закругленные ворота, в которых озорники ребятишки проковыряли множество отверстий. Позже я узнал, что эти ворота были забиты уже десять лет. Посмотрев сквозь их пробоины, можно убедиться, что и во дворе такое

[53] Примечания: 53
Думай о смертном часе *(лат.).*

же запустение, как в саду. Пучки травы пробиваются между каменными плитами. Огромные трещины бороздят стены, почерневшие зубцы которых покрылись вьющимися растениями. Ступени крыльца разошлись, шнур от звонка истлел, водосточные желоба разбиты. «Что за пламя, низвергшееся с неба, пронеслось здесь? Что за судилище обрекло смерти эту обитель? Богохульствовали здесь? Или здесь предавали Францию?» — спрашиваешь себя. Но пресмыкающиеся ползут здесь, не отвечая. Этот пустой и заброшенный дом — непроницаемая тайна, разгадать которую невозможно. Когда-то встарь это было небольшое ленное владение, называвшееся Гранд-Бретеш. В пору моего пребывания в Вандоме, когда Деплен оставил меня там для наблюдения за одним богатым пациентом, созерцание этого странного жилища стало одним из моих живейших удовольствий. Ведь оно было значительнее обычной руины! С руинами связываются воспоминания о чем-то неопровержимо подлинном; эта же обитель, еще не рухнувшая, но постепенно разрушаемая чьей-то беспощадной рукой, скрывала тайну, скрывала неведомый замысел или, по меньшей мере, прихоть. Нередко по вечерам я подходил к одичавшей ивовой из-

городи, ограждавшей дом. Не обращая внимания на царапины, я пробирался через кустарник в этот покинутый сад, в это владение, которое не было больше ни частным, ни общественным. Часами я всматривался в царивший там хаос. Но я ни за что не стал бы расспрашивать какого-нибудь болтливого вандомского обывателя об истории, с которой, несомненно, было связано это своеобразное зрелище. Я сам придумывал ряд упоительных приключений, я отдавался здесь тихим радостям грусти, восхищавшим меня. Если бы я узнал причину этой заброшенности — быть может, пошлую, — я лишился бы опьянявшей меня неизъяснимой поэзии. Уединенный приют вызывал в моем воображении разнообразнейшие картины человеческого бытия, омраченного печалями: то мне рисовался монастырь, но без монахов, то покой кладбища, но без усопших, которые говорят с нами языком надгробных надписей. Сегодня мне чудился тут дом прокаженных, завтра — дом Атридов[54], но чаще всего — провинциальная жизнь с ее отсталыми взглядами, с ее сонным бытием. Не раз плакал я там, но никогда не смеялся. Нередко

[54] Примечания: 54

Атриды — потомки царя Микен Атрея, известные своими ужасными преступлениями.

я ощущал невольный ужас, слыша над головой глухой свист крыльев диких голубей. Почва под ногами была сырая. Надо было остерегаться ящериц, змей, лягушек, которым привольно жилось в этом саду. Главное, надо было сносить холод, который окутывал ледяным плащом, подобно руке Командора, обнявшей шею Дон-Жуана. Однажды вечером меня охватил ужас: ветер повернул старый, заржавевший флюгер, и его скрип показался мне стоном, вырвавшимся у дома, в тот самый миг, когда в моем воображении завершалась мрачная драма, объяснявшая сущность этой воплощенной в камне скорби. Я вернулся в гостиницу во власти мрачных дум. Едва я поужинал, как ко мне в комнату с таинственным видом вошла хозяйка и сказала:

— Сударь, вас спрашивает господин Реньо.

— Господин Реньо? Кто это такой?

— Вы не знаете, кто такой господин Реньо? Странно, — проговорила она, уходя.

И вдруг передо мной вырос долговязый хилый человек в черном, с шляпой в руке, появившийся, словно баран, готовый броситься на врага. Я увидел покатый лоб, клинообразную голову и какое-то серое лицо, похожее на стакан с мутной водой. Вот такие бывают привратники у

министров. На этом человеке был поношенный сюртук, сильно потертый по швам, но в жабо его сорочки сверкал бриллиант, а в ушах были золотые серьги.

— Сударь, с кем имею честь? — спросил я.

Он сел на стул, придвинулся к огню, положил шляпу на стол и, потирая руки, ответил:

— Какой холод! Сударь, моя фамилия — Реньо.

Я поклонился, подумав: «Ну и что же?»

— Я — вандомский нотариус, — продолжал он.

— Очень приятно, сударь, — воскликнул я, — но по некоторым личным соображениям я отнюдь не собираюсь писать завещания.

— Минуточку! — сказал он, подняв руку, словно призывал меня к молчанию. — Позвольте, сударь, позвольте! Мне стало известно, что вы иногда прогуливаетесь в парке Гранд-Бретеш.

— Прогуливаюсь, сударь.

— Минуточку! — И он повторил тот же жест. — Тем самым вы совершаете правонарушение. Сударь, я пришел к вам во имя покойной графини де Мерэ и в качестве ее душеприказчика с просьбой прекратить эти прогулки. Минуточку! Я не дикарь и отнюдь не собираюсь обвинять вас в преступлении. К тому же вполне естественно, что вы не подозреваете причин, которые

заставляют меня не препятствовать разрушению самого прекрасного в Вандоме особняка. Однако, сударь, вы как будто человек образованный и должны знать, что закон предусматривает строгие кары за вторжение в частное владение, находящееся на запоре. Изгородь — та же стена. Правда, извинением вашему любопытству может служить состояние, в котором находится дом. Я был бы очень рад разрешить вам сколько угодно ходить туда, однако, являясь душеприказчиком покойной владелицы, я обязан, сударь, просить вас прекратить посещение ее парка. Я и сам, сударь, с того часа, как вскрыл завещание, не переступал порога этого дома, который, как я имел честь доложить вам, является частью наследства, оставшегося после госпожи де Мерэ. Мы только переписали все окна и двери, чтобы установить размер налога, который я и плачу ежегодно из сумм, завещанных на это покойной графиней. Ах, сударь, ее завещание наделало немало шуму в Вандоме!

Тут достойный человек умолк и высморкался. Я с уважением отнесся к его болтливости, прекрасно понимая, что завещательное распоряжение госпожи де Мерэ является самым значительным событием его жизни, основою его репутации,

всей его славы и благоденствия. Приходилось сказать «прости» моим чудесным мечтаниям, моим выдумкам, и я поддался искушению узнать истину от служителя закона.

— Сударь, — спросил я, — если вы не сочтете это нескромностью с моей стороны, разрешите спросить у вас о причинах столь странного завещания?

При этих словах на лице нотариуса мелькнуло выражение, появляющееся у людей, когда они садятся на своего любимого конька. Он несколько фатовато поправил воротничок сорочки, вынул табакерку, открыл ее, предложил мне табаку и, когда я отказался, взял большую понюшку. Он был совершенно счастлив. Человек, не имеющий любимого конька, не подозревает, каких наслаждений он лишает себя. Любимый конек — это нечто среднее между страстью и помешательством. В эту минуту я во всей полноте понял Стерна и целиком постиг ту радость, с которой дядюшка Тоби при помощи Трима[55] садился на своего боевого коня.

— Сударь, — сказал мне господин Реньо, — я был первым клерком у Рогена, в Париже. Превос-

---

[55] Примечания: 55

Персонажи романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759).

ходная контора! Вы о ней, вероятно, слышали? Нет? А между тем несчастное банкротство сделало ее знаменитой. Не имея достаточно средств, чтобы устроиться в Париже, где в 1816 году цены на нотариальные конторы сильно возросли, я приехал сюда с целью купить контору моего предшественника. В Вандоме у меня были родственники, и среди них очень богатая тетка, на дочери которой я женился. Сударь, — продолжал он, передохнув, — спустя три месяца после того, как я был утвержден господином министром юстиции, однажды вечером, когда я уже собирался ложиться спать (я тогда еще не был женат), меня вызвали к графине де Мерэ, в ее поместье Мерэ. Служанка, достойная девица, которая в настоящее время служит в этой гостинице, ждала меня у ворот в коляске графини. Минуточку! Надо вам сказать, сударь, что граф де Мерэ за два месяца до того, как я поселился здесь, уехал в Париж и там умер. Кончил он плохо, так как стал предаваться всевозможным излишествам. Понимаете? В день его отъезда графиня де Мерэ покинула Гранд-Бретеш и вывезла оттуда всю обстановку. Некоторые утверждали, будто она даже сожгла мебель, ковры — одним словом, все предметы, кои составляют обстановку дома, ныне находя-

щегося во владении вышеупомянутого лица... Постойте, что это я, однако, говорю?.. Извините, мне показалось, что я диктую арендный договор... Итак, она будто бы сожгла всю мебель на лугу в Мерэ. Бывали вы в Мерэ, сударь? Нет, конечно, — ответил он за меня, — ах, это очень живописное место! До отъезда из Гранд-Бретеш, — продолжал он, слегка кивнув головой, — граф с графиней месяца три вели несколько странный образ жизни. Они перестали принимать гостей, жили на разных половинах: графиня — в нижнем этаже, граф — наверху. Оставшись одна, графиня выходила только в церковь; она отказывалась принимать друзей и подруг, приезжавших навестить ее. Когда она покинула Гранд-Бретеш, чтобы переехать в Мерэ, она уже сильно изменилась. Драгоценная женщина! Я говорю «драгоценная», так как этот бриллиант получен мною от нее; но я ее видел, впрочем, один-единственный раз... Итак, эта добрая женщина была тяжело больна. Видимо, она считала свою болезнь неизлечимой, ибо скончалась, так и не прибегнув к помощи врача. Правда, многие из наших дам полагали, что она немножко была не в своем уме. Поэтому мое любопытство, сударь, было сильно возбуждено, когда я узнал, что госпожа де Мерэ нуждается в

моих услугах. Да и не я один интересовался этой историей. В тот же вечер, хотя час был поздний, весь город уже знал, что я приглашен в Мерэ. На вопросы, которые я задавал в пути служанке, она отвечала очень неопределенно. Все же она сказала, что днем ее госпожу исповедовал кюре и что вряд ли она доживет до утра. Часов в одиннадцать мы приехали в замок. Я поднялся по большой лестнице, затем, пройдя целую анфиладу высоких темных покоев, чертовски холодных и сырых, добрался до парадной спальни, где находилась графиня. По слухам, носившимся об этой женщине, — сударь, я никогда не закончу своей истории, если начну передавать все россказни, ходившие на ее счет, — я воображал, что увижу светскую львицу. Представьте же себе, что я с трудом разглядел ее на огромной кровати, где она лежала. Правда, этот обширный покой с фризами в старорежимном стиле, до такой степени запыленными, что при одном взгляде на них уже хотелось чихать, освещался только одной масляной лампой. Ах да! Ведь вы никогда не бывали в Мерэ! Так вот, сударь, там была старинная кровать, с балдахином из набивной узорчатой материи; возле кровати стоял ночной столик, а на нем лежало «Подражание Христу». Как книгу, так

и лампу, замечу в скобках, я впоследствии приобрел для жены. Тут же рядом стояло мягкое кресло для служанки и два стула. Камин не топился. Вот и вся обстановка. В инвентарной описи она не заняла бы и десяти строк. Ах, сударь, если бы вы видели, как довелось увидеть мне, эту огромную спальню, затянутую коричневым штофом, вам показалось бы, что вы перенеслись на страницу какого-то романа. От всего веяло ледяным холодом, больше того, веяло смертью, — проговорил он, театральным жестом воздев руку, и сделал паузу. — Лишь подойдя вплотную к кровати и пристально всмотревшись, — продолжал он, — я разглядел наконец госпожу де Мерэ; да и то благодаря тому, что свет от лампы падал на подушки. Лицо у графини было желтое, как воск, и напоминало сжатый кулачок. На ней был кружевной чепчик, из-под которого выбивались прекрасные, но совсем седые, белые как лунь волосы. Она приподнялась, хотя это стоило ей, видимо, неимоверных усилий. Большие черные глаза, провалившиеся от болезни, уже почти угасшие, смотрели неподвижным взглядом. «Садитесь», — прошептала она, чуть приподняв брови. Ее лоб покрылся испариной. Худые руки были словно кости, обтянутые тонкой кожей; на них отчет-

ливо проступали все вены и мышцы. Когда-то она была, наверно, красавицей. Но в ту минуту при взгляде на нее какое-то неописуемое чувство овладело мною. По словам людей, облачавших ее в саван, они просто ужасались ее худобе. Словом, то была жуткая картина. Болезнь так изглодала эту женщину, что она казалась призраком. Когда она заговорила, синеватые губы ее как будто не шевелились. Хотя моя профессия и приучила меня к подобным зрелищам и мне не раз доводилось у изголовья умирающих скреплять их завещания, признаюсь вам, что слезы родных и агония этих умирающих не производили на меня такого тяжелого впечатления, как смерть этой одинокой, молчаливой женщины в ее обширном замке. Не слышно было ни малейшего звука, даже не видно было легкого движения покрывала, которое приподнималось бы от дыхания больной. Я стоял неподвижно, глядя на нее в каком-то оцепенении. Я вижу ее как сейчас. Наконец ее большие глаза ожили, она попыталась поднять правую руку, но рука бессильно упала на постель, и чуть слышный шепот, словно вздох, слетел с ее уст.

— Я с нетерпением ждала вас! — Ее щеки порозовели; ей трудно было говорить.

— Сударыня… — начал было я.

Она сделала мне знак молчать. А тут еще старуха-служанка встала с кресла и шепнула мне:

— Молчите! Графиня не выносит ни малейшего шума. Ваши слова могут ее взволновать.

Я сел. Спустя несколько секунд госпожа де Мерэ собрала остаток сил и с бесконечным трудом просунула правую руку под подушку. Секунду она лежала неподвижно, потом сделала последнее усилие и вытащила из-под подушки запечатанный конверт; крупные капли пота выступили у нее на лбу.

— Я доверяю вам мое завещание. О боже! Боже мой! — простонала она.

И это был конец. Она взяла распятие, лежавшее на постели, судорожным движением поднесла его к губам и умерла. Право, как вспомню, какие у нее были глаза в смертную минуту, мне до сих пор делается не по себе. Наверно, она сильно страдала, но в ее последнем взгляде светилась радость, и это чувство запечатлелось в ее застывших глазах. Я унес завещание; вскрыв его, я узнал, что госпожа де Мерэ назначила меня своим душеприказчиком. Все свое имущество, за исключением некоторых особо оговоренных сумм, она завещала больнице в Вандоме. А относительно Гранд-Бретеш она распорядилась так.

Она предписывала оставить дом в течение пятидесяти лет после ее смерти в том самом виде, в каком он окажется в день ее кончины, воспрещала доступ в него кому бы то ни было, не дозволяла производить ни малейших починок этого дома и даже выделила определенную сумму на жалованье сторожам, если в них будет надобность, чтобы в точности выполнялась ее последняя воля. По истечении указанного в завещании срока, если воля покойной будет соблюдена, дом должен перейти к моим наследникам — вам, сударь, наверно, известно, что сами нотариусы не имеют права наследовать по завещанию своих клиентов. Если же воля завещательницы будет нарушена, то все переходит к законным наследникам, с тем, однако, что будет выполнено дополнительное завещательное распоряжение, каковое должно быть вскрыто по истечении указанных пятидесяти лет. До сей поры завещание не было опротестовано, следовательно…

Долговязый нотариус, не договорив фразы, с торжествующим видом посмотрел на меня, а я привел его в полный восторг, сказав ему несколько приятных слов.

— Сударь, — сказал я, — вы произвели на меня своим рассказом такое сильное впечатление,

что мне кажется, будто я вижу перед собой эту умирающую, с лицом белее простыни; горящие глаза ее внушают мне ужас. Она будет сниться мне сегодня всю ночь. Но, по всей вероятности, у вас возникли кое-какие догадки по поводу этого странного завещания?

— Сударь, — ответил господин Реньо с забавной важностью, — я никогда не позволю себе критиковать поведение лиц, удостоивших меня таким подарком, как вот эта бриллиантовая булавка.

Вскоре, однако, мне удалось преодолеть щепетильность вандомского нотариуса, и господин Реньо сообщил мне — разумеется, со множеством отступлений — соображения глубоких политиков обоего пола, мнения которых в Вандоме неоспоримы, как закон. Но эти соображения были столь противоречивы, столь путаны, что я, невзирая на весь мой интерес к этой достоверной истории, чуть не задремал. Глухой, однообразный голос нотариуса, привыкшего, видимо, прислушиваться только к собственным словам и заставлять выслушивать себя своих клиентов и сограждан, усыпил меня, восторжествовав над моим любопытством. К счастью, господин Реньо собрался уходить.

— Ах, сударь, — сказал он, спускаясь по лестни-

це, — многие хотели бы прожить еще сорок пять лет, но... минуточку!.. — И он лукаво приложил указательный палец правой руки к ноздре, словно хотел сказать «внимание!». — Чтобы столько прожить, надо быть моложе шестидесяти лет!

Я закрыл за ним дверь, выведенный из дремоты его последними словами, которые, очевидно, казались ему необычайно остроумными. Затем я уселся в кресло, поставил ноги на каминную решетку и принялся воображать роман в духе госпожи Радклиф[56], построенный на юридических данных нотариуса Реньо, как вдруг дверь моей комнаты отворилась от энергичного прикосновения ловкой женской руки. Вошла моя хозяйка, полная, жизнерадостная, добродушная женщина, не исполнившая своего предназначения: это была настоящая фламандка, ее следовало бы запечатлеть на одном из полотен Тенирса.

— Ну что, сударь, — сказала она, — господин Реньо, верно, выложил вам свою историю о Гранд-Бретеш?

— Да, тетушка Лепа.

— Что же он вам рассказал?

Я вкратце повторил ей смутную и бесцветную

---

[56] Примечания: 56

Анна Радклиф (1764–1823) — английская писательница, одна из основоположниц готического романа.

повесть о госпоже де Мерэ. При каждом слове она все больше настораживалась, глядя на меня с пытливостью трактирщицы, — это качество является чем-то средним между чутьем жандарма, хитростью шпиона и лукавством купца.

— Дорогая тетушка Лепа, — добавил я, кончив рассказ, — мне кажется, что вы знаете еще кое-что… Иначе зачем бы вам сейчас прийти ко мне?

— Ах, честное слово, нет! Это так же верно, как то, что я зовусь Лепа.

— Не клянитесь! По глазам вижу, что вам известна какая-то тайна. Вы знавали господина де Мерэ. Что это был за человек?

— Боже мой, господин де Мерэ был красавец-мужчина, такой высокий ростом, что его взглядом не охватишь. Настоящий пикардийский дворянин! А уж нравный! Чуть что, вспыхнет как порох — так у нас здесь говорят. За все он всегда расплачивался наличными, чтобы ни с кем не иметь осложнений. Очень уж он был горячего нрава. Все наши дамы были от него без ума.

— Потому что он был горячего нрава? — спросил я хозяйку.

— Может быть, и так, — ответила она. — Сами понимаете, сударь, за какого-нибудь обыкновенного человека госпожа де Мерэ не пошла бы — не

в обиду будь сказано другим, она была самая красивая и самая богатая невеста во всей Вандомской округе. У нее было тысяч двадцать ренты. Весь город собрался на ее свадьбу. Новобрачная была такая хорошенькая, такая приветливая, просто прелесть, не женщина, а золото! Ах, какая это была пара!

— Брак был счастливый?

— Да как вам сказать?.. И да, и нет… наверняка-то мы ничего не знали, сами понимаете, ведь знатные господа с нами не бывают на короткой ноге. Госпожа де Мерэ была женщина добрая, ласковая, пожалуй, ей иногда не сладко жилось из-за крутого нрава мужа. А он был гордый, но мы все же любили его. Ну, уж такой он был! Дворянин… сами понимаете…

— Однако должна же была случиться какая-то беда, чтобы господа де Мерэ так скоро разошлись?

— Я не сказала, что случилась беда, сударь. Об этом я ничего не знаю.

— Ах, вот как? Теперь я уверен, что вы все знаете!

— Ну, ладно, сударь, я все вам расскажу. Когда я увидела, что к вам идет господин Реньо, я сразу поняла, что разговор пойдет о госпоже де Мерэ и

об ее усадьбе. И вот надумала я, сударь, посоветоваться с вами; вы человек, видно, благоразумный и плохого не посоветуете такой беззащитной женщине, как я. Я ведь никогда никому не делала зла, а все-таки совесть меня мучает. Никому из здешних жителей я не смею признаться. Они все сплетники и не умеют держать язык за зубами. А к вам, сударь, я привыкла — другие-то постояльцы никогда не жили у нас так долго, как вы, и мне некому было рассказать про эти пятнадцать тысяч франков…

— Дорогая тетушка Лепа, — прервал я поток ее красноречия, — если ваша исповедь может доставить мне какие-нибудь неприятности, то я ни за какие блага в мире не хочу ее выслушивать.

— Не бойтесь, — перебила она меня, — вот сейчас сами увидите.

Настойчивость моей почтенной хозяйки навела меня на мысль, что я не первый, кому она доверяет тайну, единственным хранителем которой я должен был явиться. Я стал слушать.

— Сударь, когда император послал сюда на жительство военнопленных и прочих иностранцев, то у меня за счет казны поселили одного молодого испанца — его оставили в Вандоме под честное слово. Но хоть он и дал честное слово, что не

убежит, а все равно каждый день должен был являться в префектуру. А испанец-то был знатного рода, уж поверьте. Имя у него кончалось на «ос» и «диа», что-то вроде Багос де Фередиа. Оно записано у меня в книге постояльцев; если хотите, можете взглянуть. Вот уж красивый был молодой человек! А говорят, что все испанцы — уроды. Ростом был невелик — пять футов с небольшим, но сложен был прекрасно. Руки у него были маленькие, и уж как он их холил! Поглядели бы вы, сколько у него было разных щеточек, не меньше, чем у женщин, для всяких прихорашиваний. Волосы у него были густые, черные, глаза огненные, цвет лица довольно смуглый, но мне это очень нравилось. Белье он носил очень тонкое, я такого ни у кого не видывала, хотя у меня и останавливались важные особы, и между прочим генерал Бертран, герцог д'Абрантес с супругой, господин Деказ и даже сам король испанский. Кушал он мало, зато был так учтив, так любезен, что сердиться на него было невозможно. Да, очень он мне пришелся по душе, хотя никак, бывало, с ним не разговоришься; обращаешься к нему, он не отвечает: такая уж у него была странность, вроде чудачества; говорят, испанцы все такие. Он, словно священник, все читал молитвенник,

исправно ходил к обедне и на все прочие богослужения. В церкви — мы потом только обратили на это внимание — он всегда садился на одно и то же место, в двух шагах от часовни госпожи де Мерэ. Но так как он сел туда в первый же раз, когда пришел в церковь, то никто не подумал, что он делал это с умыслом. К тому же бедняга сидел, все время уткнувшись в молитвенник. В ту пору, сударь, он по вечерам прогуливался на горе, среди развалин замка. Только и было у него, несчастного, развлечения: там он вспоминал свою родину. Говорят, в Испании везде горы. С первых же дней своего плена он стал приходить домой поздно. Я сильно встревожилась, вижу, что он возвращается только в полночь; но потом все мы привыкли к его причудам. Он взял ключ от входных дверей, и мы его больше не дожидались. Жил он в нашем доме на улице Казерн, и вот однажды один из наших конюхов сказал нам, что как-то вечером, когда он водил лошадей на водопой, ему показалось, будто вдали купается в реке наш испанский гранд, плавает, словно рыба. Когда постоялец вернулся домой, я посоветовала ему остерегаться водорослей. Мне показалось, он очень недоволен, досадует, что его заметили на реке. И что же, сударь, как-то днем, вернее утром,

комната его оказалась пуста: он не вернулся. Я все обшарила и нашла в ящике стола записку, пятьдесят испанских червонцев — значит, около пяти тысяч франков, да на десять тысяч франков бриллиантов в запечатанной коробочке. В записке было сказано, что в случае, если он не вернется, бриллианты и деньги он оставляет нам с тем, однако, условием, чтобы мы заказали молебен о его спасении и благополучии. Мой муж был еще в ту пору жив. Он побежал на розыски. И вот какие странные дела! Он нашел одежду испанца под большим камнем около свай, на берегу реки, вблизи замка, почти насупротив Гранд-Бретеш. Муж отправился туда так рано, что его никто и не заметил. Он принес платье испанца домой, а как прочел записку, сжег его, и мы, согласно желанию графа Фередиа, заявили, что он бежал. Супрефект поставил на ноги всю жандармерию, но не тут-то было! Его так и не поймали. Лепа решил, что испанец утонул. А я, сударь, по-другому думаю: мне кажется, тут замешана госпожа де Мерэ, ведь Розали как-то говорила мне, что у ее хозяйки было распятие из черного дерева и серебра, и она так дорожила этим распятием, что велела положить его с собой в гроб, а между тем в первые дни, как господин Фередиа поселился у нас, я видела у

него точно такое распятие, а потом оно куда-то исчезло. Теперь скажите, сударь, правда ведь, что я могу со спокойной совестью взять эти пятнадцать тысяч франков, что оставил мне испанец? Ведь они принадлежат мне законно?

— Конечно! Ну, а пробовали вы расспросить Розали?

— Как же, сударь, пробовала… Но что поделаешь! Молчит девушка. Она что-то знает, да у нее ничего не выпытаешь.

Поговорив со мной еще немного, хозяйка удалилась, оставив меня во власти смутных и мрачных дум, романтического любопытства и суеверного ужаса, который сродни глубокому чувству, овладевающему нами, когда мы ночью входим в темную церковь и замечаем вдали, под высокими сводами, слабый свет; скользит чья-то черная фигура… слышится шуршание то ли платья, то ли сутаны… и мы вздрагиваем. Гранд-Бретеш и его высокие травы, его заколоченные окна, его заржавевшие железные засовы, запертые двери, пустынные покои вдруг возникли передо мной какой-то фантастической, страшной сказкой. Я мысленно пытался проникнуть в таинственную обитель, стараясь распутать узел этой сложной истории, этой драмы, погубившей трех чело-

век. Розали стала для меня самым интересным человеком в Вандоме. Присматриваясь к ней, я заметил следы затаенной думы на ее пышущем здоровьем, румяном лице. Что-то говорило в ней то ли об угрызениях совести, то ли о надежде; все в ней свидетельствовало о тайне, как облик исступленно молящейся святоши или девушки-детоубийцы, которой непрестанно слышится последний крик ее младенца. Однако повадки Розали были грубоваты и наивны, бесхитростная улыбка не таила в себе ничего преступного, и вы сочли бы ее ни в чем не повинной простушкой при одном взгляде на ее большой сине-красный клетчатый платок, прикрывавший пышную грудь, туго стянутую платьем в белую и лиловую полоску. Нет, решил я, не уеду из Вандома до тех пор, пока не узнаю истории Гранд-Бретеш! Чтобы достичь цели, я даже сделаюсь, если понадобится, любовником Розали.

— Розали, — обратился я к ней однажды вечером.

— Что угодно, сударь?

— Вы не замужем?

Она слегка вздрогнула.

— О! Женихов много! Да зачем замуж идти? Не хочу несчастной быть, — ответила она, смеясь.

Она быстро справилась с охватившим ее душевным беспокойством, ибо все женщины, начиная от знатных дам и кончая служанками в харчевне, в достаточной мере наделены самообладанием.

— Вы такая свеженькая, такая миловидная, от поклонников у вас, вероятно, отбоя нет; скажите же, почему вы после смерти госпожи де Мерэ поступили служанкой в эту гостиницу? Неужели она не завещала вам хотя бы самой скромной ренты?

— Ну конечно, сударь, завещала. А что же мне не служить здесь? У меня лучшее место во всем Вандоме.

Судьи и адвокаты именуют такой ответ «уклончивым». Во всей этой истории Розали являлась, на мой взгляд, центром шахматной доски! К ней тянулись все нити тайны и ее разгадки; она казалась мне запутанной в этот узел. Теперь вопрос шел уже не о вульгарной попытке обольстить ее; эта девушка таила в себе развязку романа, и она стала для меня предметом неусыпного внимания. Присматриваясь к Розали, я открыл в ней — это всегда бывает, когда на женщине сосредоточиваются наши мысли, — множество достоинств. Она была опрятна, щеголевата и, разумеется, красива — об этом и говорить нечего; вскоре я нашел в ней

все то очарование, которым страсть наделяет в наших глазах женщину, какое бы положение она ни занимала. Две недели спустя после посещения нотариуса, как-то поздней ночью, точнее ранним утром, ибо было еще очень рано, я сказал Розали:

— Расскажи мне все, что ты знаешь о госпоже де Мерэ.

— Ох! — воскликнула она с ужасом. — Не просите меня об этом, господин Орас.

Ее красивое, живое лицо омрачилось, румянец поблек, глаза утратили свой наивный, мягкий блеск. Я настаивал.

— Ну, хорошо, пусть. Раз вы так хотите, я все вам расскажу, но только сохраните это в тайне.

— Будь спокойна, дорогая, я сохраню все твои секреты с безукоризненной честностью вора; это честность самая надежная.

— Нет уж, — пошутила она, — я лучше положусь на вашу собственную честность.

Тут она поправила на себе шаль и устроилась поудобнее. Ведь когда приступаешь к рассказу, необходимо, чтобы все располагало к доверию и спокойствию. Самые интересные истории рассказываются в уютной обстановке, вот как сейчас, когда мы собрались вокруг этого стола. Видано ли, чтобы кто-нибудь рассказывал стоя или нато-

щак? Если бы мне пришлось в точности передать многословное красноречие Розали, вряд ли хватило бы для него и целой книги. Но поскольку ее сбивчивый рассказ дополняет болтовню нотариуса и болтовню госпожи Лепа, как средний член арифметической пропорции дополняет два крайних ее члена, необходимо вкратце изложить его. Итак, я расскажу лишь самое существенное.

— Комната, которую госпожа де Мерэ занимала в Бретеше, находилась в нижнем этаже; устроенный в стене чуланчик, площадью фута в четыре, служил ей гардеробной. Месяца за три до происшествия, о котором пойдет речь, госпожа де Мерэ так серьезно заболела, что муж не решался беспокоить ее и устроился в другой комнате, этажом выше. Однажды вечером из-за случайного совпадения обстоятельств, которого никак нельзя предвидеть, он вернулся двумя часами позже обычного из клуба, куда всегда ходил читать газеты и толковать о политике. Жена была уверена, что он уже дома, уже лег в постель и спит. Но вторжение неприятеля во Францию вызвало между посетителями клуба горячие споры, партия в бильярд проходила азартно; граф проиграл сорок франков — сумму огромную для Вандома, где все скряжничают и где нравы отличаются

похвальной скромностью; эта скромность, быть может, и становится источником истинного счастья. Жаль, что ни один парижанин не ценит его. С некоторых пор господин де Мерэ довольствовался тем, что осведомлялся у Розали, легла ли жена спать, и, неизменно получая утвердительный ответ, тотчас же поднимался к себе; привычка и доверие делали его недальновидным. На этот раз ему пришла, однако, фантазия зайти к жене, чтобы поделиться своими злоключениями, а может быть, и найти у нее утешение. За обедом он заметил, что госпожа де Мерэ одета очень кокетливо; возвращаясь из клуба, он думал о том, что жена его, как видно, поправилась и после болезни очень похорошела; как все мужья, он заметил это несколько поздно. Вместо того чтобы позвать Розали, которая в это время была на кухне и следила за тем, как кучер с кухаркой разыгрывают сложную партию в бриск, господин де Мерэ направился в комнату жены, осветив себе путь большим фонарем, который он поставил на первую ступеньку лестницы. Его шаги, которые нетрудно было узнать, гулко отдавались под сводами коридора. В тот момент, когда он отворял дверь в комнату жены, ему послышалось, будто дверца чуланчика, о котором я упоминал

выше, захлопнулась. Но когда он вошел, госпожа де Мерэ была одна; она стояла возле камина. Муж простодушно решил про себя, что в чуланчике находится Розали. Однако подозрение, словно колокольчик звеневшее у него над ухом, пробудило в нем глухое недоверие. Он взглянул на жену и прочел в ее глазах замешательство и какой-то злобный испуг. «Как вы поздно вернулись», — сказала она. Ее голос, обычно такой чистый и мягкий, показался ему слегка изменившимся. Господин де Мера ничего не ответил, так как в эту минуту вошла Розали. Все это было для него словно удар молнии. Скрестив на груди руки, он машинально принялся ходить по комнате от окна к окну.

— У вас какие-нибудь неприятности или вам нездоровится? — робко спросила его жена, в то время как Розали помогала ей раздеваться.

Он промолчал.

— Ступайте, — приказала госпожа де Мерэ служанке, — я сама закручу папильотки.

Одного взгляда на лицо мужа ей было достаточно, чтобы почувствовать, что произошло что-то непоправимое, и ей хотелось остаться с ним наедине. Когда Розали ушла или сделала вид, что ушла (она задержалась на несколько мгновений

в коридоре), господин де Мерэ сел около жены и холодно спросил:

— Сударыня, в вашей гардеробной кто-нибудь есть?

Она спокойно взглянула на мужа и просто ответила:

— Никого нет.

Это «нет» повергло господина де Мерэ в отчаяние. Он не поверил, а между тем никогда еще жена не казалась ему такой чистой, такой непорочной, как в эту минуту. Он встал и пошел к гардеробной, намереваясь открыть дверь. Госпожа де Мерэ схватила его за руку, удержала и, печально взглянув на него, сказала непривычно взволнованным голосом:

— Если вы там никого не найдете, то знайте, между нами все будет кончено!

Неизъяснимое достоинство, которым дышало все поведение жены, вернуло графу его глубокое уважение к ней и внушило ему одно из тех решений, которым не хватает только более обширной арены, чтобы стать бессмертными.

— Хорошо, Жозефина, — сказал он, — я не войду туда. В том и другом случае нам пришлось бы расстаться навеки. Слушай, я знаю, как чиста твоя душа, знаю, что ты ведешь жизнь праведни-

цы, ты не совершишь смертного греха даже ради спасения своей жизни.

При этих словах госпожа де Мерэ растерянно взглянула на мужа.

— Возьми распятие и поклянись мне перед Богом, что там никого нет. Я поверю тебе и не открою эту дверь.

Госпожа де Мерэ взяла распятие.

— Клянусь! — проговорила она.

— Громче! — приказал муж. — Скажи: «Клянусь перед Богом, что там никого нет».

Не дрогнув, она повторила эти слова.

— Отлично, — холодно сказал господин де Мерэ.

Наступило короткое молчание.

— Какая прекрасная вещь, я прежде не видел ее у вас. Очень тонкая работа, — заметил господин де Мерэ, разглядывая распятие из черного дерева, отделанное серебром.

— Я купила его у Дювивье. В прошлом году, когда отряд пленных проходил через Вандом, он приобрел его у одного набожного испанца.

— Вот как! — сказал господин де Мерэ, повесив распятие на прежнее место. Он позвонил. Розали не замедлила явиться. Господин де Мерэ быстро пошел ей навстречу, отвел ее к окну, выходящему

в сад, и, понизив голос, сказал:

— Мне известно, что Горанфло мечтает на тебе жениться и только бедность препятствует вашему браку. Ты сказала ему, что выйдешь за него замуж лишь тогда, когда он станет подрядчиком строительных работ. Так вот, сходи за ним, приведи его сюда. Пусть захватит с собой мастерок и прочий инструмент. Постарайся никого не разбудить в доме, кроме него. Вознаграждение превысит его мечты. Но смотри, выйдя отсюда, не болтай, иначе… — Он нахмурил брови. Розали пошла было, но он вернул ее.

— Возьми мой ключ.

— Жан! — позвал он на весь коридор. Жан, бывший одновременно и кучером, и доверенным лицом графа, бросил карты и явился.

— Ложитесь все спать, — сказал хозяин и, сделав ему знак приблизиться, шепотом добавил: — Когда все уснут — уснут, понимаешь? — доложи мне об этом.

Отдавая это приказание, господин де Мерэ не спускал глаз с жены, затем спокойно сел около нее, возле камина, и стал рассказывать о партии в бильярд и о спорах в клубе. Когда Розали вернулась, она застала супругов за дружеской беседой. Незадолго перед тем граф отделал потолки во

всех парадных комнатах нижнего этажа. В Вандоме очень мало гипса, а расходы по доставке сильно удорожают его; поэтому господин де Мерэ закупил гипса с избытком, будучи уверен, что излишки всегда у него кто-нибудь купит. Это обстоятельство внушило ему замысел, который он и привел в исполнение.

— Сударь, Горанфло пришел, — тихо доложила Розали.

— Пусть войдет, — ответил граф.

Госпожа де Мерэ при виде каменщика слегка побледнела.

— Горанфло, — сказал муж, — сходи за кирпичом, принеси сюда столько, чтобы хватило заложить дверь этого чулана. Возьми гипс, который остался, и оштукатурь стену. — Затем, подозвав к себе ближе каменщика и Розали, он тихо добавил:

— Слушай, Горанфло, сегодня ночью ты будешь работать здесь. А завтра утром получишь пропуск, с которым уедешь за границу — в тот город, который я тебе укажу. На дорогу я дам тебе шесть тысяч франков. В этом городе ты проживешь десять лет. Если тебе там не понравится, можешь переехать в другой город, но только в той же стране. Поезжай через Париж и жди меня

там. В Париже я дам тебе вексель еще на шесть тысяч франков, которые будут тебе выплачены при твоем возвращении, в том случае, если ты точно выполнишь наш договор. За это ты должен хранить молчание обо всем, что будешь делать здесь в эту ночь. Что же касается тебя, Розали, ты получишь десять тысяч франков. Деньги будут выплачены тебе в день свадьбы, при условии, что ты выйдешь замуж за Горанфло. Но если вы хотите, чтобы ваша свадьба состоялась, вы должны молчать. Иначе никакого приданого.

— Розали, — позвала госпожа де Мерэ, — причеши меня.

Муж спокойно прохаживался по комнате, наблюдая за дверью, за каменщиком и за женой, но не выказывал при этом оскорбительного недоверия. В ходе работы Горанфло приходилось стучать. Госпожа де Мерэ воспользовалась мгновением, когда он сбрасывал кирпич, а муж находился на другом конце комнаты, и шепнула Розали:

— Получишь тысячу франков ренты, дорогая, если сумеешь шепнуть Горанфло, чтобы он оставил внизу отверстие, — и вслух спокойно добавила:

— Иди же, помоги ему!

Супруги безмолвно сидели все время, пока Горанфло замуровывал дверь. Со стороны мужа это молчание было преднамеренным: он не хотел дать жене возможность бросить какую-нибудь фразу, которая могла иметь двоякий смысл. А госпожа де Мерэ молчала из страха или из гордости. Стена была воздвигнута до половины, и тут хитрый каменщик воспользовался моментом, когда господин де Мерэ стоял к нему спиной, и пробил киркой щель в одной из створок двери. Госпожа де Мерэ поняла, что Розали передала Горанфло ее слова. И тогда все трое увидели мрачное смуглое лицо черноволосого человека с горящим взглядом. Прежде чем муж обернулся, несчастная женщина успела кивнуть ему, как бы говоря: «Надейтесь!»

В четыре часа утра, когда только еще стало светать (это было в сентябре), каменщик закончил работу; он остался под присмотром Жана, а господин де Мерэ лег спать в комнате жены. На следующее утро он беззаботно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Мне надо пойти в мэрию за пропуском.

Он надел шляпу, пошел было к двери, но вернулся и захватил распятие. Жена вздрогнула от радости. «Он пойдет к Дювивье», — подумала она.

Как только он вышел, она позвонила Розали.

— Кирку! Скорее кирку! — закричала она. — Я видела вчера, как работал Горанфло. Мы успеем пробить отверстие и вновь замуровать его.

В мгновение ока Розали принесла топорик, и госпожа де Мерэ с рвением, которое трудно вообразить, принялась разрушать каменную кладку. Ей уже удалось выбить несколько кирпичей, но когда она собиралась нанести еще один, самый сокрушительный удар, в комнату вдруг вошел господин де Мерэ. Она лишилась чувств.

— Положите графиню в постель, — холодно приказал муж.

Предвидя то, что должно произойти в его отсутствие, он расставил жене западню: мэру он просто-напросто написал записку, а за ювелиром послал. Когда Дювивье пришел, в комнате все уже было приведено в порядок.

— Дювивье, — спросил его граф, — покупали вы распятия у испанцев, проходивших здесь?

— Нет, сударь.

— Хорошо, благодарю вас, — ответил он, бросив на жену взгляд, полный ненависти. — Жан, — добавил он, обратясь к доверенному слуге, — вы будете подавать мне еду в комнату графини, она больна, и я не оставлю ее, пока она не выздо-

ровеет.

Жестокий человек в продолжение двадцати дней не покидал спальни жены.

В первое время, когда в замурованном чулане слышался шум, Жозефина порывалась броситься к мужу, чтобы умолить его сжалиться над умирающим, но граф отвечал, не давая ей вымолвить слова:

— Вы поклялись на распятии, что там никого нет.

Когда Бьяншон кончил, все женщины встали из-за стола, и это нарушило впечатление, произведенное рассказом. Все же некоторые из них испытали леденящий ужас от последних его слов.

Париж, июнь 1839–1842 гг.

Прославленный Годиссар

Посвящается графине де Кастри

Коммивояжер, личность в древности неизвестная, — не является ли она одной из самых примечательных фигур, порожденных нравами нашего времени? Не предназначена ли она в определенных условиях стать знамением того великого перехода, который для людей наблюдательных соединяет эпоху, извлекающую выгоду из ценностей материальных, с эпохой, извлекающей выгоду из ценностей интеллектуальных? Нашему веку суждено сочетать господство индивидуальной силы, богатой своеобразными творениями, с господством силы единообразной, но обезличивающей, уравнивающей все, что она производит, выбрасывающей продукты во множестве и послушной единой мысли, которая выражает дух современного общества. Вслед за разгулом этого духа, вслед за предельными усилиями цивилизации, стремящейся сосредоточить воедино все богатства земного шара, не воцаряется ли обычно мрак варварства? Не является ли коммивояжер в понятии людей тем же, чем

являются для них и для вещей дилижансы? Он перевозит их, заставляет передвигаться, сталкивает друг с другом; он черпает в средоточии света лучи и рассеивает их затем среди погруженного в спячку населения. А между тем этот человек-фейерверк — невежественный ученый, обманутый обманщик, неверующий священнослужитель, с апломбом рассуждающий о таинствах и догмах. Любопытная фигура! Он все видел, все знает, со всеми знаком. Пресыщенный пороками Парижа, он умеет надеть на себя личину провинциального простодушия. Он звено, связующее деревню и столицу, хотя, по существу, он и не парижанин, и не провинциал — он путешественник. Он ни во что не вникает; людей и города знает лишь по названию; о вещах судит только по внешнему виду, ко всему прикидывает свою мерку — словом, взгляд его скользит по поверхности, не проникая вглубь вещей. Он интересуется всем, но его ничто не интересует по-настоящему. Балагур и сочинитель куплетов, он словно благоволит ко всем партиям, но в глубине души считает себя патриотом. Отличный актер, он умеет улыбаться то нежно, то самодовольно, то угодливо и, перестав улыбаться, вновь делается самим собой, возвращается к своему нормальному состоянию

и отдыхает. Он обязан быть наблюдательным, иначе ему пришлось бы отказаться от своего ремесла. Разве не должен он видеть людей насквозь, угадывать их действия, их нравы, а главным образом их платежеспособность, чтобы не терять времени даром и сразу учесть шансы на успех? Привычка быстро принимать решения во всяком деле выработала из него настоящего знатока: он судит авторитетно обо всем, рассуждает о театрах Парижа, их актерах, об актерах провинциальных. Кроме того, он de actu et visu[57] осведомлен о пристойных и непристойных местах во Франции; в случае надобности он с одинаковой уверенностью укажет вам путь как к пороку, так и к добродетели. Красноречие его подобно струе горячей воды, которую, повернув кран, можно по желанию остановить; он тоже сразу останавливает или опять пускает в ход поток трафаретных фраз, которые льются непрерывно, действуя на его жертву словно моральный душ. Краснобай и весельчак, он курит, выпивает. Он носит брелоки, внушает уважение мелкому люду, в деревнях слывет за милорда, никогда не позволяет себя «облапошить» — словечко из его жаргона, — зна-

[57] Примечания: 57
По опыту и наблюдениям *(лат.)*.

ет, когда похлопать себя по карману и звякнуть денежками, чтобы не приняли его за вора сугубо подозрительные служанки тех богатых домов, куда он сумел втереться. Присущая ему кипучая энергия, пожалуй, — самое незначительное качество этого человека-машины. Ни коршуну, камнем падающему на добычу, ни оленю, петляющему, чтобы сбить со следа охотников и собак, ни собакам, учуявшим дичь, не сравниться с ним по быстроте полета мысли, когда он предвидит дельце, по ловкости, с которой он подставляет ножку сопернику, чтобы опередить его, по тому чутью, с каким он ощущает, вынюхивает, обнаруживает возможности для помещения своего товара. Какими же непревзойденными качествами должен обладать такой человек! И много ли найдется в любой стране этих дипломатов низшего ранга, этих глубокомысленных посредников, которые ораторствуют во имя коленкора, драгоценностей, сукон, вин и подчас оказываются куда изворотливее послов, ибо в большинстве случаев у тех нет ничего, кроме внешнего лоска. Никто во Франции не подозревает, какую невероятную силу непрерывно развивают вояжеры, которые бесстрашно парируют отказы и в самом захолустном городишке выступают представителями

духа цивилизации и парижских изобретений, вступивших в единоборство с расчетливостью, невежеством или косностью провинции. Разве можно обойти молчанием этих замечательных тружеников, которые обтачивают умы людей, обрабатывая своим словом самые неподатливые глыбы и похожи на неутомимых шлифовщиков, чей напильник сглаживает даже твердый порфир? Если вы желаете узнать всю власть слова и то высокое давление, какое оно оказывает на самые тугие, неподатливые кошельки, на те кошельки, что принадлежат засевшему в своей деревенской берлоге собственнику, то послушайте речь одного из тузов парижского финансового мира, ради выгоды которых ходят, стучат и трудятся эти мыслящие поршни паровой машины, именуемой куплей-продажей.

— Сударь, — говорил ученому экономисту директор-кассир-управляющий, главный секретарь и администратор одного из знаменитейших обществ по страхованию от пожара, — сударь, в провинции из общей суммы в пятьсот тысяч франков возобновляемых полисов добровольная подписка дает не более пятидесяти тысяч; остальные четыреста пятьдесят мы размещаем благодаря настойчивости наших агентов, кото-

рые являются к тем, кто просрочил взносы, и не отстают от них, стращая и подогревая их жуткими россказнями о пожарах, пока неплательщики не возобновят страховку. Таким образом, на долю красноречия, этого словесного потока, приходится девять десятых тех путей и способов, которыми мы пользуемся в нашей работе.

Говорить! Заставлять себя слушать — да ведь это же все равно что соблазнять? Страну, имеющую две палаты, и женщину, слушающую обоими ушами, одинаково можно считать погибшими. Ева и ее змий — вот извечный миф о повседневном факте, он родился вместе с миром и, возможно, с ним и умрет.

— После двухчасовой беседы клиент должен вам принадлежать целиком, — говаривал один отставной ходатай по делам.

Осмотрите коммивояжера со всех сторон. Вглядитесь в эту фигуру. Не забудьте ни оливкового редингота, ни плаща с сафьяновым воротником, ни трубки, ни рубашки из шертинга в голубенькую полосочку. Какое множество разнообразных натур можно обнаружить в этом персонаже, настолько самобытном, что он остается самим собой, куда бы ни втирался. Посмотрите! Что за атлет! Его арена — весь мир, его оружие — язык.

Бесстрашный мореход, он отправляется в путь, имея в запасе всего лишь несколько фраз, намереваясь своим красноречием выловить пятьсот или шестьсот тысяч франков в полярных морях, в стране ирокезов или во Франции! Ведь ему надо изъять чисто моральным воздействием золото, запрятанное в провинциальных кубышках, — изъять его безболезненно! Охотой с гарпуном и факелом распугаешь провинциальную рыбешку, она ловится только вершей, неводом — самой безобидной снастью. Как же после этого без трепета представить себе тот словесный поток, который во Франции с самой зари низвергает свои водопады? Теперь вы знаете вид, а вот вам и особь.

Есть в Париже несравненный вояжер, образец этого типа, человек, предельно обладающий всеми качествами, свойственными природе его успехов. В его речи вы найдете одновременно и купорос и птичий клей; клей — для того, чтобы засосать, облепить свою жертву и приклеить ее к себе, а купорос — чтобы растворить самые твердые ее расчеты. Он специализировался на шляпах, но его талант и искусство опутывать людей снискали ему столь громкую коммерческую славу, что парижские торговцы галантереей лебезили перед ним, только бы он соблаговолил

взять на себя их поручения. Поэтому, вернувшись в Париж после своих победных походов, он проводил время в пирах и попойках; в провинции корреспонденты торговых домов заискивали перед ним; в Париже крупные фирмы его ласкали. Всюду его так привечали, чествовали, кормили, что позавтракать или пообедать одному было для него редким наслаждением. Он вел образ жизни владетельной особы, или, вернее, журналиста. Ведь он же был ходячей хроникой парижской торговли. Звался он Годиссаром, а его известность, всеобщее доверие, похвалы, которые ему расточались, снискали ему прозвище Прославленный. Всюду, где бы он ни появлялся, — в торговой ли конторе или в харчевне, в гостиной или в дилижансе, в мансарде или в кабинете банкира, — его встречали радостным возгласом: «А, вот он, наш прославленный Годиссар!» Не было еще на свете человека по осанке, манерам, физиономии, голосу и речи столь подходящего к своей фамилии[58]. Все улыбалось вояжеру, и вояжер улыбался всему. Similia similibus[59], он был сторонником гомеопатии. Каламбуры, раскатистый

[58] Примечания: 58
Годиссар (Godissart) — шутник, весельчак.

[59] Примечания: 59
Подобное [лечится] подобным *(лат.)*.

хохот, лицо веселого монаха, румянец францисканца, внешность в духе Рабле, одежда, тело, ум, повадки — все сливалось воедино, придавая всей его особе что-то подкупающее, некую приятную игривость. Бойкий в делах, благодушный шутник — словом, человек, любезный сердцу гризетки; он с изяществом взбирается на империал дилижанса; подает руку даме, помогая ей выйти из кареты; подсмеивается над шейным платком почтаря и продает ему шляпу; улыбается служанке, завладевая либо ее станом, либо ее чувствами, подражает за столом бульканью бутылки, надув щеку и щелкая по ней; умеет изобразить шипение пива, выдувая воздух сквозь зубы; стучит ножом по бокалам для шампанского, не разбивая их, и предлагает другим: «Ну-ка, попробуйте!»; он высмеивает робких пассажиров, опровергает мнения образованных людей, царит за столом и уписывает лучшие куски. Впрочем, как человек с твердой волей, он умел вовремя прекратить свои шутки и казался глубокомысленным, когда, отбросив окурок сигары, говорил, озирая город: «Посмотрим, что у этих людей в середке». Вот тут-то Годиссар превращался в самого тонкого, в самого хитроумного дипломата. Он умел держать себя администратором у супрефекта, капитали-

стом — у банкира, верующим и верноподданным — у роялиста, обывателем — у обывателя; словом, всюду он был тем, кем ему полагалось быть, оставляя Годиссара за порогом и вновь воплощаясь в него при выходе.

До 1830 года прославленный Годиссар был верен галантерее. Предназначенные для удовлетворения большинства человеческих прихотей, разнообразные отрасли этой торговли дали ему возможность наблюдать извилины человеческого сердца, обучили тайнам завлекающего красноречия, способам развязывать шнурки самой тугой мошны, указали, как пробудить капризы женщин, мужей, детей, служанок и уговорить их осуществить свои причуды. Никто лучше его не владел искусством поманить торговцев выгодной сделкой и уйти как раз тогда, когда их аппетит достиг своей высшей точки. Исполненный благодарности к шляпному делу, он утверждал, что, обслуживая голову снаружи, он научился понимать то, что происходит внутри головы, он привык «околпачивать» людей, «садиться им на голову» и т. д. Его шутки о шляпах были неистощимы. Тем не менее после августа и октября 1830 года он оставил шляпное дело и галантерею, расстался с комиссиями по торгов-

ле предметами зримыми, сделанными руками человека, ради того, чтобы кинуться в самые возвышенные сферы парижской спекуляции. Он отказался от материи ради мысли, говорил он, от фабричных изделий — ради бесконечно более чистых продуктов ума. Это требует пояснения.

Известно, что переворот 1830 года возродил многие прежние идеи, которые ловкие дельцы попытались обновить. Говоря языком коммерческим, после 1830 года идеи превратились в ценности, и, как сказал некий писатель, достаточно разумный для того, чтобы ничего не печатать, — нынче больше воруют идей, нежели носовых платков. Быть может, мы еще увидим биржу идей, но уже и сейчас идеи — хорошие или плохие — котируются, подхватываются, ввозятся и вывозятся, продаются, реализуются и приносят доход. За неимением на рынке идей дельцы стараются пустить в ход слова, придав им видимость идей, и живут этими словами, словно птички просяными зернышками. Не смейтесь! В стране, где ярлык, наклеенный на мешке, прельщает сильнее, нежели его содержимое, слово равноценно идее. Разве мы не наблюдаем, как издательства наживаются на слове «живописный», после того как литература убила слово

«фантастический»? Вот почему казна почуяла возможность ввести налог на интеллект; она отлично сумела измерить плодоносное поле объявлений, зарегистрировать проспекты и взвесить мысль на улице Мира, в палате гербовых сборов. Превратившись в источник дохода, интеллект и его продукты, естественно, должны были подчиниться законам фабричного производства. И вот идеи, зачатые после попойки в мозгу какого-нибудь из тех на первый взгляд праздных парижан, которые, осушая бутылку или разрезая рябчика, дают моральные сраженья, — эти идеи на следующий же день после их интеллектуального рождения были предоставлены коммивояжерам с поручением искусно преподнести urbi et orbi[60] в Париже и в провинции, объявления и проспекты, на приманку которых, как на поджаренное сало, попадается в мышеловку, расставленную торговой конторой, провинциальная крыса, в просторечии именуемая то абонентом, то акционером, то корреспондентом, иногда подписчиком или патроном, но всегда и всюду дураком.

— Ну и дурак же я! — восклицал не один несчастный собственник, прельстившийся

---

[60] Примечания: 60
Городу и миру *(лат.)*. В значении «всем и вся».

перспективой стать основателем чего-то, а в конечном счете основательно растрясший тысячу или тысячу двести франков.

— Все подписчики дураки, они не хотят понять, что для движения вперед в царстве интеллекта надо куда больше денег, чем для путешествий по Европе и т. д., — говорит делец.

Итак, существует вечная борьба между отсталой публикой, отказывающейся платить парижские обложения, и сборщиками, которые, живя на то, что выручат, пичкают публику новыми идеями, шпигуют предприятиями, кормят проспектами, нанизывают ее на вертел лести и в конце концов проглатывают под каким-нибудь новым соусом, в котором она захлебывается, одурманенная, как муха отравой. Действительно, чего только не делали во Франции после 1830 года, чтобы разжечь рвение и самолюбие «разумных и просвещенных масс»! Звания, медали, дипломы — своего рода орден Почетного легиона, выдумка для мучеников попроще — следовали друг за другом. Наконец, все фабрики продуктов интеллектуальных изобрели себе на радость некий перец, особого рода возбуждающие пряности. И вот пошли премии, пошли досрочные дивиденды, пошло привлечение известных имен, объявлен-

ное без ведома тех несчастных знаменитостей, которые их носят и оказываются, таким образом, участниками большего числа предприятий, чем насчитывается дней в году, ибо эта кража имен законом не наказуется. Одновременно пошло и похищение идей, которые предприимчивые дельцы, подобные азиатским торговцам невольницами, вырывают из мозга, их зачавшего, еще не вполне созревшими, совлекают с них одежды и тащат пред очи своего остолбеневшего султана Шахабахама[61] — жестокой толпы, которая, если они ее не позабавят, зарежет их без ножа, урезав им золотой паек.

Итак, это безумие нашего времени оказало свое воздействие и на прославленного Годиссара, и вот каким образом. Некое общество страхования жизни и капиталов, прослышав о его неотразимом красноречии, предложило ему неслыханно выгодные условия, и он согласился. Сделка совершилась, договор был подписан, и вояжер поступил на выучку к главному секретарю администрации, который просветил ум Годиссара, вскрыл перед ним тайны ремесла, обучил его профессиональному жаргону, разобрал всю

[61] Примечания: 61

Шахабахам — персонаж водевиля французского драматурга Огюстена Эжена Скриба (1791–1861) «Медведь и паша».

механику дела, исследовал ту особую публику, которую ему придется обрабатывать, начинил его фразами, нашпиговал импровизированными ответами, снабдил запасом убедительных доводов, короче говоря, заострил кончик его языка, долженствующего производить операции над жизнью во Франции. Ученик вполне оправдал старания господина главного секретаря. Заправилы «Страхования жизни и капиталов» так горячо расхвалили прославленного Годиссара, окружили его таким вниманием, так выгодно обрисовали в высоких сферах банковской и интеллектуальной дипломатии таланты этого ходячего проспекта, что финансовые директора двух в ту пору знаменитых, а ныне уже покойных газет вздумали использовать его для сбора подписки. «Земной шар», орган сен-симонистов, и «Движение», республиканская газета, пригласили к себе в конторы прославленного Годиссара и предложили ему каждая по десяти франков с подписчика, если он привлечет их тысячу, и по пяти франков, если он уловит только пятьсот. Сделка была заключена, ибо работа для газеты не наносила ущерба работе для «Страхования капиталов». Тем не менее Годиссар, ссылаясь на чрезвычайные усилия памяти и ума, необхо-

димые для досконального изучения этого сорта «товара» и приобретения умения рассуждать о нем должным образом, «так, чтобы не ударить в грязь лицом», как говорил он, потребовал компенсации в пятьсот франков за ту неделю, в течение которой он ознакомился с учением Сен-Симона. От республиканцев он ничего не потребовал. Прежде всего он и сам склонялся к республиканским идеям, единственно способным — согласно его, годиссаровской, философии, — установить разумное равенство; к тому же Годиссар был в свое время замешан в заговорах французских карбонариев, арестован, но за неимением улик выпущен; в общем, он заявил владельцам газеты, что после Июльских дней отрастил себе усы и теперь ему не хватает только каскетки да длинных шпор, чтобы олицетворять собой республику. В течение недели он ходил по утрам в «Земной шар» начиняться сен-симонизмом, а по вечерам бегал в контору Страхового общества постигать тонкости финансового языка. Его способности, его память оказались столь редкими, что он смог отправиться в путешествие уже к 15 апреля — дата, в которую он ежегодно начинал свой поход. Два крупных торговых дома, напуганные понижением доходов, будто бы соблазнили че-

столюбивого Годиссара и уговорили взять на себя еще и их поручения. Король вояжеров великодушно согласился, приняв во внимание старую дружбу и обещанную ему громадную премию.

— Слушай, цыпочка моя, Женни, — говорил он, сидя в фиакре, хорошенькой цветочнице.

Все истинно великие люди любят, чтобы их тиранило слабое существо; для Годиссара таким тираном была Женни; в одиннадцать часов вечера он вез ее домой из театра Жимназ, куда сопровождал в парадном туалете в ложу бенуара у авансцены.

— Как только вернусь, Женни, обставлю тебе комнату, да еще как. Заткнем рот сухопарой Матильде; нечего ей тыкать тебе в нос своими настоящими кашемировыми шалями, которые ей привозят курьеры русского посольства, своей позолоченной серебряной посудой и своим русским князем, на мой взгляд, отъявленным хвастунишкой. Я пожертвую на украшение твоей комнаты всех детей, которых сделаю в провинции.

— Вот это мило! — воскликнула цветочница. — И ты, чудовище, спокойно говоришь мне о том, что сделаешь детей… Уж не думаешь ли ты, что я это потерплю?

— Ты что, Женни, рехнулась?.. Это наш профес-

сиональный жаргон!

— Ну и профессия, нечего сказать!

— Да ты выслушай. Если все время будешь говорить ты одна, то, конечно, всегда будешь права ты!

— А я и хочу всегда быть правой! Ты теперь уж совсем не стесняешься!

— Дай же мне договорить! Я взял под свое покровительство отличный замысел — журнал, который будут издавать для детей. Так вот, когда в нашем деле вояжеры завербуют в каком-нибудь городе, скажем, десять подписчиков на «Детский журнал», они говорят: «Я сделал десятерых детей»; так же вот и я, если наберу десять подписчиков на газету «Движение», скажу: «Сегодня я сделал десять «Движений»... Поняла?

— Час от часу не легче! Теперь ты еще и в политику ударился. Помяни мое слово, сидеть тебе в Сент-Пелажи[62], и я еще туда набегаюсь. Если бы мы только могли вообразить, чем мы рискуем, полюбив мужчину, то, ей-ей, предоставили бы вам, мужчинам, устраиваться как знаете. Ну ладно, завтра ты уезжаешь, так не будем поддаваться черным мыслям; все это глупости!

---

[62] Примечания: 62

Сент-Пелажи — тюрьма в Париже.

Фиакр остановился перед красивым, недавно построенным домом на улице Артуа, и Годиссар с Женни поднялись на пятый этаж. Здесь проживала мадемуазель Женни Куран, о которой шла молва, будто она тайно повенчана с Годиссаром, и вояжер не опровергал этого слуха. Чтобы поддерживать свою власть, Женни Куран требовала от прославленного Годиссара тысячи забот, постоянно угрожая бросить его, если он пренебрежет хотя бы малейшим проявлением внимания. Годиссар должен был писать ей из каждого города, где останавливался, отдавать отчет во всех своих действиях.

— Сколько же потребуется детей, чтобы обставить мне комнату? — спросила она, сбрасывая шаль и усаживаясь у жарко пылающего камина.

— Я получаю по пяти су с подписчика!

— Замечательно! И этими пятью су ты думаешь обогатить меня? Разве только, если ты уподобишься Вечному Жиду в своих скитаниях да еще наглухо зашьешь карманы.

— Да ведь я, Женни, тысячи детей сделаю. Ты только подумай, у детей никогда не было своего журнала. А впрочем, и дурак же я! Толкую с тобой о коммерческих делах, а ты в этом ничего не смыслишь!

— Вот как! Ну, тогда, Годиссар, скажи, за что ты меня любишь, раз я так глупа?

— За то, что ты божественно глупа! Послушай, Женни. Видишь ли, если я сумею всучить «Земной шар», «Движение», страховку и модные товары, то вместо каких-то жалких восьми или десяти тысяч в год, которые я добываю своим горбом, исколесив всю страну, как настоящий Майе[63], я буду привозить по двадцати, по тридцати тысяч франков с каждой поездки.

— Расшнуруй-ка мне корсет, Годиссар, только поосторожней, — не дергай.

— Тогда, — продолжал вояжер, любуясь гладкой спиной цветочницы, — я стану акционером газеты, как Фино? один из моих друзей; он сын шляпочника, а теперь получает тридцать тысяч франков дохода и скоро станет пэром Франции! И подумать только, что какой-то там Попино… Боже мой! Ведь я забыл тебе сказать, что вчера господина Попино назначили министром торговли… Почему бы и мне не быть честолюбивым? Хе-хе, я отлично усвоил бы парламентскую болтовню и мог бы стать министром, да еще каким! Ну-ка, послушай!

---

[63] Примечания: 63

Майе — карикатурный горбун, олицетворяющий буржуа.

— Господа, — начал он, опершись обеими руками на спинку кресла, — печать не орудие и не торговое предприятие. С политической точки зрения печать — это общественный институт. А мы здесь безусловно обязаны смотреть на вещи с политической точки зрения, стало быть… (он перевел дух). Стало быть, нам предстоит обсудить, полезна ли печать, или вредна, следует ли поощрять ее, или преследовать, надо ли ее ограничить, или предоставить ей свободу, — вопросы существенные! Я полагаю, что не злоупотреблю драгоценные временем палаты, если рассмотрю положение печати и изложу вам все данные. Мы катимся в пропасть. Конечно, законы не смягчены, как полагалось бы…

— Каково? — спросил он, взглянув на Женни. — У всех ораторов Франция катится в пропасть; они утверждают либо это, либо упоминают о государственной колеснице, о бурях и о политическом горизонте. Ну как, правда, ведь я разбираюсь в любых воззрениях? У меня есть коммерческая сметка. А знаешь почему? Я родился в сорочке. Мать сохранила мою сорочку, я тебе ее подарю! Итак, скоро я приду к власти.

— Ты?

— А почему бы мне не стать бароном Годисса-

ром, пэром Франции? Ведь избирали же дважды господина Попино в депутаты от четвертого округа; он обедает с Луи-Филиппом! Говорят, Фино вот-вот станет государственным советником! Ах, если бы меня назначили послом в Лондон, я бы уж прижал англичан к стенке! Никогда и никто не обставлял еще Годиссара, прославленного Годиссара! Да, никогда и никто не провел и не проведет меня ни по какой части, будь то политика или не политика, тут или в ином месте. А пока что я должен целиком отдаться «Капиталам», «Земному шару», «Движению», «Детям» и галантерее.

— Попадешься ты с твоими газетами. Бьюсь об заклад, не успеешь доехать до Пуатье, как уже влипнешь!

— Хочешь пари, милочка?

— На шаль!

— Идет! Если я проспорю шаль, то вернусь к своей галантерее и шляпам. Но чтобы обставили Годиссара, да никогда этому не бывать!

И прославленный вояжер приосанился, гордо взглянул на Женни, засунул руку за борт жилета и повернул слегка голову в сторону, подражая наполеоновской позе.

— Ну, до чего же ты смешон! Какая тебя сегодня муха укусила?

Годиссар был мужчина лет тридцати восьми, среднего роста, плотный и даже несколько тучный, как человек, путешествующий не по способу пешего хождения, а обычно пользующийся дилижансом; лицо у него было круглое, как тыква, румяное, с правильными чертами и походило на те классические лица, коими скульпторы всех стран наделяют статуи Изобилия, Закона, Силы, Торговли и т. д. Его выступающее брюшко имело форму груши; несмотря на короткие ноги, Годиссар был ловок и подвижен. Он поднял полураздетую Женни и отнес ее на кровать.

— Молчите, «свободная женщина»! — сказал он. — Ты не знаешь, что такое свободная женщина, что такое сен-симонизм, антагонизм, фурьеризм, критицизм и неистовая эксплуатация, — так вот, это… словом, — это десять франков с подписчика, госпожа Годиссар!

— Честное слово, ты сходишь с ума, Годиссар!

— От тебя я с каждым днем все больше и больше без ума, — сказал он, бросая шляпу на диван.

На следующее утро Годиссар после обильного завтрака с Женни Куран отправился верхом по окружным центрам, особо рекомендованным его вниманию различными предприятиями, процветанию коих он посвятил свои таланты. Объездив

за полтора месяца местность, лежащую между Парижем и Блуа, он задержался на две недели в этом последнем городе, где привел в порядок свою корреспонденцию и посетил окрестные базарные местечки. Накануне отъезда в Тур он написал мадемуазель Женни Куран следующее письмо, точность и прелесть которого не поддаются пересказу и которое, кстати говоря, свидетельствует о несомненной законности уз, соединяющих этих двух особ.

Письмо Годиссара к Женни Куран

Дорогая моя Женни, боюсь, как бы ты не проиграла свое пари. Как и у Наполеона, у Годиссара есть своя звезда, но Ватерлоо у него не будет. При данных обстоятельствах я всюду одержал победу. Страхование капиталов идет отлично. От Парижа до Блуа я разместил около двух миллионов; но по мере того как я продвигаюсь вглубь Франции, люди становятся удивительно тупоумными, а значит, и миллионы гораздо более редкими. Галантерея понемногу расходится. Это верные денежки. Простаки-лавочники отлично идут на мою испытанную удочку. В Орлеане я сбыл 162 кашемировые шали Терно. Право, не знаю, что они с ними будут делать; разве что накинут

на спины своим баранам. А вот по части газет, черт возьми, — совсем другой коленкор! Господи боже мой! Ну и люди, намучаешься, прежде чем они запоют у тебя на новый лад! Пока я сделал всего шестьдесят два «Движения»! И это за весь мой путь, на сотню меньше, нежели шалей Терно в одном городе. Чертовы республиканцы никак не желают подписываться. Беседуешь с ними, они беседуют с тобой, разделяют твои взгляды, кажется, — вот-вот, уже договорились, что пора свергнуть все на свете, воображаешь, что хоть один подпишется! Черта с два! Если у него есть клочок земли, чтобы вырастить дюжину кочанов капусты, или лесок, где дерева хватит разве только на зубочистку, — так он сразу же начинает болтать об упрочении собственности, о налогах, доходах, возмещениях, о разном вздоре, и я только зря трачу время и красноречие на разговоры о патриотизме. Никудышное дело! Чаще всего «Движение» не движется. Я пишу об этом и моим доверителям. Меня это огорчает ввиду моих убеждений. Для «Земного шара» нужен другой народ. Начнешь говорить о новых учениях людям, которые как будто могут клюнуть на эту удочку, а они смотрят на тебя так, словно ты предлагаешь им сжечь собственные их дома.

Уж я им твержу, твержу, что в этом будущее, правильно понятая выгода, что тут ничего не пропадет; что пора человеку прекратить эксплуатировать человека, а женщине пора перестать быть рабой, что надо добиться торжества великих провиденциальных идей и более разумного устройства общественного порядка, ну, словом, пускаю в ход весь запас моего потрясающего красноречия... Не тут-то было! Стоит мне раскрыть эти мысли, провинциалы закрывают свои шкафы, словно я собираюсь их обокрасть, и выставляют меня за дверь. До чего же они глупы! «Земной шар» провалился. Я им тогда же еще говорил: «Вы слишком прогрессивны. Вы идете вперед, это хорошо, но нужны результаты, провинция любит результаты!» Все же я сделал сто «Земных шаров», а, принимая во внимание, что здешние деревенские башки никак не продолбишь, — это просто чудо. Я им наобещал столько всякой всячины, что, ей-богу, не знаю, как мои шары, шарики, шаруны, шаристы все это выполнят; но так как они мне сказали, что устроят мир на новый лад, гораздо лучше, чем теперь, то я опережаю события и проповедую — во имя десяти франков с подписчика. Один фермер из-за названия «Земной шар» решил, что речь идет о земле, — вот он

у меня на один «Земной шар» и налетел. Этот клюнет уж наверняка, у него крутой лоб, а все, у кого крутые лбы, — идеологи. Ах, то ли дело «Дети»! От Парижа до Блуа я сделал две тысячи «Детей». Замечательное дельце! Тут много слов не требуется. Показываешь матери картиночку тайком от ребенка, но так, чтобы ребенку обязательно захотелось на нее посмотреть; ну, ребенок, конечно, на нее посмотрит и начнет тянуть маму за платье, пока не выклянчит себе журнала, — ведь у папы есть свой журнал. Мамино платье стоит двадцать франков, она не хочет, чтобы малыш его разорвал, а журнал стоит всего шесть франков, — есть расчет, вот вам и готова подписка! Замечательная штука, это же реальная потребность, ее место между вареньем и картинкой — двумя вечными потребностями детей. Ну и разбойники дети пошли: уже читают! Здесь, за табльдотом, я повздорил из-за газет и убеждений.

Я спокойно завтракал, сидя рядом с господином в серой шляпе, читавшим «Деба». Я подумал: «Вот когда надо бы испытать свое парламентское красноречие. Этот человек — приверженец королевского дома, попробуем-ка его обойти. Такая победа блестяще доказала бы мои министер-

ские таланты». И вот я принимаюсь за работу. Начал с расхваливания его газеты, — издалека повел дело, верно ведь! Но мало-помалу я беру верх над собеседником, пуская в ход высокопарные фразы, замысловатые рассуждения — одним словом, все свои знаменитые эффекты. Меня слушали все, а один человек, у которого в усах было что-то от июльских событий, готов уже был клюнуть на «Движение». И дернула же меня нелегкая отпустить слово «дурак»! И тут-то эта монархистская шляпа, эта серая шляпа, — кстати сказать, шляпа скверная — лионская, полушелк-полубумага, — как закусит удила, как рассвирепеет. Я сразу принимаю величественный вид — представляешь себе? И говорю: «Черт возьми, милостивый государь, да вы чудак! Если вы недовольны мною, я согласен дать вам удовлетворение. В Июле я дрался». «Хоть я отец семейства, — отвечает он, — но и я готов...» «Как, сударь, вы отец семейства! — восклицаю я. — Может, у вас и детки есть?» «Да, сударь». «Лет одиннадцати?» «Примерно». «Ну так вот, сударь, вскоре выйдет «Журнал для детей»: шесть франков в год, один номер в месяц, в два столбца, составленный литературными светилами, прекрасно изданный; плотная бумага, гравюры,

исполненные метким карандашом наших лучших художников, настоящие индийские рисунки с невыцветающими красками». Затем я даю залп из всех орудий. Отец потрясен! Ссора закончилась подпиской.

«Только Годиссар способен на подобные фокусы», — говорил тщедушный Ламар долговязому дурню Бюло, рассказывая об этой сцене в кафе.

Завтра я уезжаю в Амбуаз. Амбуаз я обработаю за два дня и напишу тебе уже из Тура, где попытаюсь помериться силами с деревней самой тупой в рассуждении ума и коммерции. Но, не будь я Годиссаром, мы их одолеем! Одолеем! Прощай, цыпочка! Люби меня по-прежнему, будь мне верна. Что там ни говори, а верность — одна из добродетелей свободной женщины. А кто тебя целует в глазки?

До гроба твой Феликс.

Спустя пять дней Годиссар покинул утром гостиницу «Фазан», где проживал во время своего пребывания в Туре, и отправился в Вувре, богатый и населенный округ, ибо полагал возможным извлечь выгоду из умонастроения тамошних жителей. Он ехал рысцой вдоль плотины, столько же думая о том, что будет говорить, сколько актер, уже сто раз сыгравший ту же роль. Про-

славленный Годиссар ехал, беззаботно любуясь окрестностями, и продвигался вперед, не подозревая, что в веселых долинах Вувре найдет свою гибель его коммерческая непогрешимость.

Здесь необходимо дать некоторые сведения относительно склада ума жителей Турени. Общительный, лукавый, насмешливый, иронический ум, которым пропитана каждая страница творения Рабле, точно выражает туренский склад ума — ума острого, изысканного, каким и полагается ему быть в том краю, где так долго находился двор французских королей; ума пламенного, художественного, поэтического, сладострастного, но чьи первоначальные порывы быстро остывают. Мягкость воздуха, прелесть климата, известная легкость жизни и добродушие нравов скоро притупляют здесь восприимчивость к искусству, сужают даже самое широкое сердце, разъедают самую настойчивую волю. Пересадите туренца в другое место, и его природные дарования разовьются и породят великих людей — как это доказали в самых различных сферах деятельности Рабле и Санблансе, печатник Плантен и Декарт; Бусико, этот Наполеон своего времени, и Пинегрие, который расписал большинство витражей в соборах, затем Вервиль и Курье. Таким

образом, туренец, столь выдающийся вне дома, у себя предается блаженной лени, как индеец, растянувшийся на циновке, или турок, возлежащий на диване. Он изощряется в насмешках над соседями, удовлетворяется этим и счастливо доживает свой век. Турень — это подлинное Телемское аббатство[64], столь восхваляемое в книге о Гаргантюа; здесь, как и в творении Рабле, можно найти весьма любезных монашенок, вкусные яства, воспетые этим писателем. Туренская лень поистине божественна, она нашла великолепное выражение в народной прибаутке: «Туренец, хочешь супа? — Да. — Принеси миску. — А я уже не голоден». Что же породило эту мягкую леность, эти легкие и приятные нравы? Не веселый ли хмель винограда, не гармоничная ли сладость самых прекрасных пейзажей во Франции, не спокойствие ли края, куда не проникал ни разу враг? На эти вопросы ответа нет. Поезжайте в эту французскую Турцию, и вы тоже будете жить там в праздности, созерцании, неге. Будь вы даже таким честолюбцем, как Наполеон, или таким великим поэтом, как Байрон, все равно сила неслыханная, непреодолимая заставит вас

[64] Примечания: 64

Телемское аббатство — утопическая обитель счастливых людей, описанная Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».

забыть о стихах и претворит в наивные мечтания ваши честолюбивые замыслы.

Прославленному Годиссару суждено было встретить в Вувре одного из местных шутников, чьи тонкие насмешки уязвляют лишь совершенством самой насмешки, и с ним Годиссару пришлось выдержать жестокую схватку. Правы туренцы или нет, но только они очень любят получать наследство от родственников. Поэтому учение Сен-Симона в ту пору там особенно ненавидели и поносили, но так ненавидели и так поносили, как это умеют делать в Турени, с презрительной и озорной насмешкой, достойной страны веселых рассказов и шутливых проделок над соседями, с остроумием, которое день ото дня уступает место тому, что лорд Байрон называл «британским ханжеством». Остановившись в харчевне «Золотое солнце», принадлежащей Митуфле, старому гренадеру императорской гвардии, женатому на богатой владелице виноградников, и вверив хозяину свою лошадь, Годиссар, на свое несчастье, отправился к местному хитрецу, затейнику и острослову, которого взятая им на себя роль и природные свойства побуждали веселить своих земляков. Этот сельский Фигаро, некогда красильщик, был обладателем

ренты в семь-восемь тысяч ливров, хорошенького домика на холме, пухленькой жены и цветущего здоровья. Уже десять лет он не знавал иных забот, кроме как ухаживать за огородом и за женой, подыскивать жениха для дочери, играть вечерком в карты, разузнавать интересующие его сплетни, строить каверзы во время выборов, воевать с крупными землевладельцами и угощать приятелей вкусными обедами, гулять по плотине, ездить за новостями в Тур и изводить священника; единственное, что составляло драму его жизни, — это дожидаться, когда же ему продадут, наконец, земельный участок, вклинившийся в его виноградники. Короче говоря, он жил туренской жизнью, жил, как живут в захолустном городишке. Впрочем, он пользовался влиянием среди местных жителей, возглавлял мелких собственников, жадных и завистливых, со вкусом подбирающих и разносящих выдумки и злословие об аристократии, низводящих все до собственного уровня, враждебных всем, кто выше их, и с великолепным спокойствием невежд даже презирающих таких людей. Господин Вернье — так звали этого незначительного человека, столь значительного в своем городке, — кончал завтракать, сидя между женой и дочерью, когда

Годиссар появился в столовой, из окон которой виднелись Луара и Шер, — в одной из самых веселых вуврейских столовых.

— Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с самим господином Вернье? — спросил вояжер, изгибаясь с таким изяществом, словно спина у него была гуттаперчевая.

— Да, сударь, — ответил хитрый красильщик, окинув посетителя проницательным взглядом и сразу поняв, к какому типу людей он принадлежит.

— Я приехал, сударь, — продолжал Годиссар, — просить вашего просвещенного содействия и руководства мною в этом округе, где, как мне сказал Митуфле, вы пользуетесь огромным влиянием. Сударь, я направлен в департаменты, чтобы наладить предприятие чрезвычайной важности, основанное банкирами, которые хотят…

— Которые хотят нашими руками таскать каштаны из огня, — перебил, улыбаясь, Вернье, в свое время имевший дело с коммивояжерами и понимавший, к чему они клонят.

— Совершенно справедливо, — нахально ответил прославленный Годиссар. — Но вы, сударь, должны знать, раз уж вы столь проницательны, что можно заставить людей таскать для других

каштаны только в том случае, если они видят в этом какую-то выгоду для себя. Прошу вас не смешивать меня с обыкновенными вояжерами, которые строят свой успех на хитрости и назойливости. Я уже не вояжер, сударь, но я был им когда-то и горжусь этим. Ныне я облечен чрезвычайно важной миссией, и люди понимающие признают во мне человека, отдавшего свои силы на просвещение родины. Соблаговолите выслушать меня, сударь, и вы убедитесь, сколь много приобретете от получасовой беседы, о которой я имею честь просить вас. Самые крупные банкиры Парижа принимают в этом деле настоящее, а не фиктивное участие, как это бывает в бесчестных аферах, которые я называю «мышеловками». Нет, нет, здесь совсем не то. Я бы никогда не согласился расставлять подобные ловушки для простаков. Нет, сударь, лучшие и наиболее уважаемые банкирские дома Парижа вошли в это дело в качестве заинтересованных и гарантирующих сторон…

И тут Годиссар выложил весь свой словесный товар, а господин Вернье продолжал его слушать с притворным интересом, что и ввело Годиссара в заблуждение. Но как только Вернье услышал слово «гарантия», он перестал обращать внимание на риторику вояжера; он обдумывал, какую

бы сыграть с ним шутку, дабы избавить от этого вида парижских гусениц край, справедливо именуемый «варварским» теми дельцами, которым не удается там ничем поживиться.

В верхней части очаровательной долины, прозванной «Веселой долиной» за извилины и изгибы, которые возникают в ней на каждом шагу и становятся чем дальше, тем живописнее, все равно, идти ли вверх или вниз по этой красивой лощине, жил в окруженном виноградниками доме полусумасшедший человек по имени Маргаритис. Итальянец по происхождению, Маргаритис был женат, но бездетен; жена заботилась о нем с самоотвержением, заслужившим всеобщее признание. Несомненно, госпожа Маргаритис постоянно подвергалась опасности, живя бок о бок с человеком, у которого были разные причуды, — между прочим, он никогда не расставался с двумя длинными ножами и подчас грозился ее зарезать. Но кому не известно, с какой поистине трогательной самоотверженностью отдают себя провинциалы заботам о страждущих, — быть может, потому, что каждый осудил бы мать семейства, если бы она отправила ребенка или мужа в больницу на общественное попечение. Кроме того, кому не известно то от-

вращение, с каким провинциальные жители вносят плату в сто луидоров или тысячу экю, требуемую в Шарантоне и в лечебницах для душевнобольных. Когда кто-либо говорил госпоже Маргаритис о докторах Дюбюиссоне, Эскироле, Бланше или других, она с благородным негодованием отвечала, что предпочитает оставить при себе и свои три тысячи франков и своего «старика». Поскольку непонятные прихоти, которые безумие внушало старику Маргаритису, связаны с ходом этой истории, необходимо упомянуть о самых примечательных из них. Стоило только пойти проливному дождю, как Маргаритис выходил из дома и разгуливал с непокрытой головой по своему винограднику. Дома он ежеминутно требовал газету; чтобы ему не перечить, жена или служанка подавали ему старую газету департамента Эндр-э-Луар; и за семь лет он ни разу не заметил, что читал один и тот же номер. Быть может, врач не без некоторого интереса подметил бы связь между увеличением спроса на газету и атмосферическими изменениями. Излюбленным занятием сумасшедшего было проверять влияние погоды на виноградники. Обычно, когда у жены его бывали гости, — что случалось почти каждый вечер, так как сердобольные соседки

приходили поиграть с ней в бостон, — Маргаритис молча, не шевелясь, сидел в углу. Но когда на часах в большом стоячем футляре било десять, он вставал с механической точностью заводной немецкой игрушки, с последним ударом медленно приближался к игрокам, бросал на них взгляд, подобный безжизненному взгляду греков или турок, изображенных на бульваре Тампль в Париже, и говорил: «Ступайте вон!» Иногда этот человек вновь обретал свой былой разум, и тогда он давал жене прекрасные советы по части продажи вин; но в эти периоды он становился и крайне несносным, воровал из шкафов сласти и тайком пожирал их. Подчас, когда приходили постоянные их гости, он отвечал на вопросы учтиво, но чаще всего бормотал что-то несвязное. Так, например, даме, спросившей его: «Как вы сегодня себя чувствуете, господин Маргаритис?» — он ответил: «Я побрился, а вы?..» «Не лучше ли вам, сударь?» — спросила другая, а он ответил: «Иерусалим, Иерусалим». Но обычно он тупо смотрел на гостей, молчал, и тогда жена говорила: «Старик мой сегодня ничего не смыслит». Два или три раза за пять лет, обычно в период равноденствия, случалось все же, что он вдруг свирепел от этого замечания, вытаскивал нож и орал: «Эта стерва

меня бесчестит!» Впрочем, он пил, ел и совершал прогулки, как совершенно здоровый человек. И в конце концов на него перестали обращать внимание, словно он был мебелью. Среди прочих его чудачеств было одно, смысл которого никто не мог разгадать, — ибо с течением времени местные мудрецы принялись комментировать и толковать даже самые сумасбродные действия этого умалишенного. Он требовал, чтобы дома всегда был в запасе мешок муки и две бочки вина собственных виноградников, и не разрешал трогать ни эту муку, ни это вино. Но как только наступал июнь месяц, он с настойчивостью, свойственной сумасшедшим, начинал беспокоиться о продаже этого мешка муки и двух бочек вина. Обычно госпожа Маргаритис говорила ему, что продала обе бочки по невероятно высокой цене, и отдавала ему деньги; он прятал их, и ни жене, ни служанке, как бы они за ним ни следили, не удавалось подсмотреть — куда.

Накануне того дня, когда Годиссар прибыл в Вувре, госпоже Маргаритис было труднее чем когда-либо обмануть мужа, к которому, казалось, вернулся рассудок.

— Право, не знаю, — сказала она госпоже Вернье, — как пройдет завтрашний день. Пред-

ставьте себе, мой старик захотел поглядеть на свои заветные бочки. Он весь день меня поедом ел, так что пришлось показать ему две полные бочки. К счастью, у нашего соседа Пьера Шамплена оказались две непроданные бочки; по моей просьбе он прикатил их в наш погреб. И что же! Как увидел старик бочки, приспичило ему самому их продавать!

Как раз перед прибытием Годиссара госпожа Вернье рассказывала мужу о затруднительном положении, в котором оказалась г-жа Маргаритис. При первых же словах коммивояжера Вернье решил натравить его на старика Маргаритиса.

— Сударь, — сказал бывший красильщик, после того как Годиссар выпустил свой первый залп, — я не скрою от вас трудностей, с которыми на первых порах столкнется ваша затея. В нашей стороне большинство живет suo modo[65], в нашей стороне новая идея не привьется. Мы живем по старинке, как жили наши отцы, развлекаемся тем, что кушаем четыре раза на день, занимаемся тем, что обрабатываем виноградники и выгодно продаем вино. Коммерция у нас несложная, мы попросту стараемся продать свой товар подоро-

---

[65] Примечания: 65
По-своему *(лат.)*.

же. И с этой проторенной дорожки мы не сойдем, и ни богу, ни черту нас с нее не спихнуть. Но я дам вам добрый совет, а добрый совет дороже денег. Живет в нашем городке бывший банкир, осведомленности которого я лично чрезвычайно доверяю; если вы заручитесь его поддержкой, то и я присоединюсь. Если ваши предложения действительно выгодны, если мы в этом убедимся, то на призыв господина Маргаритиса, за которым последует и мой призыв, откликнутся в Вувре двадцать богатых семейств, они раскошелятся и приобретут вашу панацею.

Услышав фамилию сумасшедшего, госпожа Вернье взглянула на мужа.

— Кстати, жена с соседкой как раз собираются навестить госпожу Маргаритис. Подождите немного, дамы вас проводят. Ты зайдешь за госпожой Фонтанье, — сказал старый красильщик, подмигнув жене.

Назвав самую смешливую, самую болтливую, самую ехидную из местных кумушек, он дал понять госпоже Вернье, чтобы она заручилась свидетельницей, которая ничего не упустит и будет потом целый месяц потешать весь городок, рассказывая сценку между коммивояжером и сумасшедшим. Супруги Вернье так хорошо сыграли

свою роль, что Годиссар не возымел ни малейшего подозрения и сразу попался в ловушку; он галантно предложил руку госпоже Вернье и был убежден, что дорогой покорил обеих дам, которых старался ослепить остроумием, шутками и непонятными каламбурами.

Дом мнимого банкира находился у входа в «Веселую долину». Усадьба, называвшаяся «Ла-Фюи», ничем особенно не отличалась. В первом этаже была большая, обшитая деревом гостиная, по обе стороны которой расположены были спальни — старика и его жены. В гостиную вела прихожая, служившая столовой и смежная с кухней. Над первым этажом, лишенным внешней нарядности, обычно свойственной даже самым скромным жилищам Турени, помещались мансарды, куда вела наружная лестница, опирающаяся на один из выступов дома и покрытая навесом. Дом был отделен от виноградников садиком, заросшим жасмином, ноготками и бузиной. Вокруг двора расположились службы, необходимые в хозяйстве виноградарей.

Маргаритис, сидевший в гостиной у окна, в кресле, обитом желтым утрехтским бархатом, не встал при виде двух входящих дам и Годиссара: он думал о том, как бы продать свои две бочки

вина. Это был сухопарый человек, с грушевидным черепом, лысым спереди и обрамленным редкими волосами сзади. Глубоко посаженные глаза, обведенные синевой; густые черные брови; тонкий, словно лезвие ножа, нос; выступающие челюсти и впалые щеки, вытянутое лицо — все, даже подбородок, чрезмерно длинный и плоский, все придавало его Физиономии странное сходство с преподавателем риторики или с тряпичником.

— Господин Маргаритис, — обратилась к нему госпожа Вернье, — очнитесь! Этого господина направил к вам мой муж, выслушайте его внимательно. Бросьте ваши вычисления и потолкуйте с ним.

Услышав это, сумасшедший встал, взглянул на Годиссара и, указав ему на стул, сказал:

— Потолкуем, сударь.

Три женщины ушли в спальню госпожи Маргаритис, оставив дверь приоткрытой, чтобы слышать весь разговор и в случае надобности вмешаться. Не успели они усесться, как через виноградник прокрался господин Вернье, попросил открыть окно и бесшумно влез в комнату.

— Вы, сударь, — сказал Годиссар, — занимались делами…

— Общественными, — ответил, прерывая его,

Маргаритис. — При короле Мюрате я усмирил Калабрию.

— Вот так штука! Теперь он и в Калабрию попал, — шепотом заметил господин Вернье.

— О, в таком случае, — продолжал Годиссар, — мы отлично договоримся.

— Я вас слушаю, — ответил Маргаритис, принимая осанку человека, который позирует живописцу для портрета.

— Сударь, — сказал Годиссар, играя ключиком от часов и машинально вращая его равномерными движениями, что крайне занимало сумасшедшего; по-видимому, именно поэтому он и сидел спокойно, — сударь, если бы вы не были человеком выдающегося ума… (тут сумасшедший поклонился), я ограничился бы тем, что изложил вам в цифрах материальные выгоды дела, психологические основания которого заслуживают того, чтобы вас с ним ознакомить. Послушайте! Не правда ли, из всех общественных сокровищ самое ценное — время? Экономить время — не значит ли это богатеть? Что же больше всего пожирает времени в жизни, как не тревога о том, что я называю похлебкой, — выражение вульгарное, но в данном случае меткое? Что может поглощать больше времени, чем невозможность

представить гарантии тем лицам, у которых вы просите денег, когда, временно обеднев, вы богаты надеждой.

— Деньги, — вот и договорились, — вставил Маргаритис.

— Итак, сударь, я послан в разные департаменты компанией банкиров и капиталистов, которые заметили, как много люди с большим будущим теряют времени, а стало быть, и ума и производительной деятельности. И вот нам пришло в голову превратить для таких людей их будущее в капитал, выдать им векселя под их таланты, выдать векселя подо что?.. Опять-таки под упомянутое время и обеспечить эту ценность их наследникам. Здесь идет речь уже не о том, чтобы сэкономить время, а о том, чтобы придать ему ценность, выразить его в цифрах, перевести на деньги те его продукты, которые вы желаете получить в этом умозрительном пространстве, представляя те моральные качества, коими вы наделены и кои, сударь, являются движущими силами, как водопад, как паровая машина в три, в десять, в двадцать, в пятьдесят лошадиных сил. Ах, вот это прогресс, стремление к более совершенному порядку вещей, стремление, вызванное деятельностью нашей эпохи, по самому суще-

ству своему прогрессивной, как я и докажу вам, когда мы коснемся принципов более разумного согласования общественных интересов. Я объясню вам это на наглядных примерах. Оставим отвлеченное рассуждение, которое у нас принято называть математикой идей. Допустим, что вы не рантье, а художник, музыкант, артист, поэт…

— Я художник, — заявил сумасшедший как бы вскользь.

— Ну и отлично, раз вы так хорошо усваиваете мою метафору. Вы художник, у вас впереди прекрасное будущее, богатое будущее. Но я иду дальше…

Услышав эти слова, сумасшедший тревожно взглянул на Годиссара, словно боясь, как бы тот на самом деле не ушел, и успокоился только тогда, когда увидел, что тот сидит на прежнем месте.

— Вы даже еще ничто, — продолжал Годиссар, — но вы себя чувствуете…

— Я себя чувствую, — сказал помешанный.

— В душе вы говорите: я буду министром. И вот вы художник, вы артист, вы литератор, вы будущий министр, вы определяете в цифрах ваши надежды, вы устанавливаете на них тариф, вы оцениваете себя, предположим, в сто тысяч экю…

— Стало быть, вы принесли мне сто тысяч экю? — спросил сумасшедший.

— Да, сударь, и вы сейчас убедитесь в этом. Либо их обязательно получат ваши наследники в случае вашей смерти, ибо Общество обязуется выплатить им эти деньги, либо вы получите эту сумму благодаря вашим работам в области искусства, вашим удачным предприятиям, если вы останетесь в живых. Если вы ошиблись в своих расчетах, то можете начать все сызнова. Но поскольку вы установили — как я уже имел честь вам доложить — стоимость вашего умственного капитала, — ибо это умственный капитал, усвойте это хорошенько, умственный…

— Понимаю, — сказал сумасшедший.

— Вы подписываете страховой договор с администрацией, которая признает за вами ценность в сто тысяч экю, вашу ценность как художника…

— Я художник, — пробормотал сумасшедший.

— Нет, — продолжал Годиссар, — вашу ценность как музыканта, как министра, и обязуется выплатить их вашей семье, вашим наследникам в том случае, если смерть разрушит ваши надежды — эту, так сказать, похлебку, наваренную на умственном капитале. Таким образом, уплата премии будет достаточна, чтобы укрепить…

— Вашу кассу, — перебил его сумасшедший.

— Ну, естественно, сударь. Я вижу, вы в курсе дел.

— Да, — сказал сумасшедший, — я был основателем Земельного банка на улице Фоссе-Монмартр в Париже в тысяча семьсот девяносто восьмом году.

— Не вытекает ли отсюда, — продолжал Годиссар, — что страхуемые, дабы упрочить умственные капиталы, которые каждый за собой признает и себе приписывает, должны делать небольшой взнос — три процента, три процента в год? Таким образом, уплачивая пустяковую сумму, сущую ерунду, вы ограждаете свою семью от плачевных последствий вашей смерти.

— Но я жив, — возразил сумасшедший.

— Ах да, и, весьма возможно, проживете еще долго! Вот возражение, чаще всего встречающееся, возражение самое обычное, и вы понимаете, что если бы мы его не предусмотрели, не изничтожили, то не были бы достойны быть… кем?.. Кто мы такие в конце концов? Бухгалтера огромной конторы умов. Сударь, я говорю это не для вас, но мне всюду приходится встречать людей, претендующих на то, что они говорят что-либо новое, приводят какой-нибудь новый довод

людям, которые поседели на этом деле. Честное слово, жалость берет глядеть на них. Но таков мир, не мне его переделывать. Ваше возражение, сударь, бессмысленно…

— Que' saco?[66] — спросил Маргаритис.

— Вот почему. Если вы будете жить и владеть некоторыми средствами, определенными в вашем страховом полисе и обеспечивающими на случай вашей смерти… следите внимательно.

— Я слежу.

— Так вот, вы преуспели в своих делах! Преуспели же именно благодаря страховому полису, ибо вы удвоили свои шансы на успех, освободившись от тревог за жену и детей, которых ваша смерть может ввергнуть в тяжелую нужду. Если же вы преуспели, значит вы умножили свой умственный капитал, и по сравнению с этой прибылью страховка была пустяком, настоящим пустяком, сущим пустяком.

— Прекрасная мысль!

— Не правда ли, сударь? — продолжал Годиссар. — Я называю эту благотворительную кассу взаимным страхованием против нищеты… или, если хотите, учетом таланта. Ибо талант,

---

[66] Примечания: 66
Что такое? *(ит.)*

сударь, — это вексель, выданный природой гениальному человеку, — вексель, подчас очень долгосрочный… хе-хе…

— Великолепное ростовщичество, — воскликнул Маргаритис.

«Черт возьми! Да ведь он тонкая бестия, я в нем ошибся, — подумал Годиссар. — Надо будет подействовать на него более высокими соображениями, шуткой номер первый».

— Отнюдь нет, сударь, — громко воскликнул Годиссар, — для вас, который…

— Не выпьете ли вы стакан вина? — предложил Маргарити.

— Охотно, — ответил Годиссар.

— Жена, подай-ка нам бутылку того вина, которого у нас осталось две бочки. Вы здесь в самом сердце Вувре, — сказал старик, указывая Годиссару на свой виноградник. — Виноградник Маргаритиса.

Служанка принесла стаканы и бутылку вина 1819 года. Старик осторожно налил стакан и торжественно подал Годиссару. Тот выпил.

— Вы меня провели, сударь, — сказал коммивояжер, — ведь это мадера, настоящая мадера!

— Еще бы, — сказал сумасшедший. — Недостаток вуврейского вина в том, сударь мой, что оно

и не простое вино, и не десертное; оно слишком благородно, слишком крепко; поэтому в Париже вам продают его за мадеру, подбавив в него водки. Наше вино настоящий ликер, многие парижские торговцы, когда наш урожай недостаточно хорош для Голландии и Бельгии, скупают у нас вино, разбавляют его вином парижских пригородов и делают из него таким образом бордоское вино. Но то, что вы пьете сейчас, сударь, — это королевское вино, лучшее, что есть в Вувре. У меня его две бочки, всего только две. Тот, кто любит тонкие вина, вина высокой марки, кто желает подавать к своему столу вино, не поступающее в продажу, как некоторые парижские семьи, гордящиеся своими винами, тот получает вино непосредственно от нас. Знаете ли вы кого-нибудь, кто…

— Вернемся к делу, — сказал Годиссар.

— Вот мы и подошли к нему, сударь, — заговорил опять сумасшедший. — Перед моим вином все вина капитулируют, а капитулировать имеет общий корень с капиталом, — кстати, о капиталах, хе-хе, — «caput» — голова, а мое вино в голову ударяет… все одно к одному.

— Таким образом, — продолжал Годиссар, — или вы реализуете ваши умственные капиталы…

— Я реализовал, сударь. Ну как, покупаете вы мои две бочки? О сроках платежей мы договоримся.

— Да нет, — возразил прославленный Годиссар, — я говорю о страховании умственных капиталов и операциях по страхованию жизни. Я продолжаю свои рассуждения…

Сумасшедший успокоился, принял прежнюю позу и опять уставился на Годиссара.

— Я говорю, сударь, что в случае вашей смерти капитал выплачивается вашей семье без всяких затруднений.

— Без затруднений.

— Да, если это только не самоубийство.

— Это дело кляузное.

— Нет, сударь. Ведь вы знаете, что самоубийство всегда легко установить.

— Во Франции — да, — согласился сумасшедший, — но…

— Но за границей?.. — подхватил Годиссар. — Так вот, сударь, чтобы покончить с этим, я скажу, что естественная смерть за границей и смерть на поле брани не входят…

— Так что же вы в таком случае страхуете?.. Ничего! — воскликнул Маргаритис. — Мой Земельный банк основан был на…

— Как ничего, сударь? — перебил Годиссар. — Ничего? А болезнь, а неприятности, а нищета и страсти? Но не будем перечислять исключительные случаи.

— Да, не будем рассматривать эти случаи, — согласился сумасшедший.

— Каков же итог всего дела? — воскликнул Годиссар. — Вам, как банкиру, я в точных цифрах вычислю результат. Существует человек, перед ним будущее, он на верном пути, живет своим искусством, ему понадобились деньги, он просит их… Денег нет! Весь цивилизованный мир отказывает в деньгах этому человеку, который мысленно уже покорил себе весь цивилизованный мир и должен в будущем покорить его кистью, резцом, словом, мыслью, системой. Жестокая цивилизация! У нее нет хлеба для великих людей, которые сообщают ей блеск, эта золоченая сволочь кормит их только оскорблениями и насмешками… Выражение сильное, но я отнюдь не отказываюсь от него. Тогда этот непонятый великий человек приходит к нам; мы чествуем его как великого человека, мы с уважением приветствуем его, мы его выслушиваем, а он говорит: «Господа представители Общества страхования капиталов, моя жизнь стоит столько-то: я буду

вам выплачивать такой-то процент… с произведений моего творчества…» Что же мы делаем?.. Тотчас же без всяких колебаний допускаем его к великолепному пиршеству цивилизации в качестве достойного сотрапезника…

— В таком случае надо вина… — вставил сумасшедший.

— Достойного сотрапезника… Он подписывает свой страховой полис, получает наши бумажонки, наши жалкие бумажонки, которые, хоть они и ничтожные бумажонки, обладают все же большей силой, чем его гений. Действительно, если ему понадобятся деньги, то всякий, зная, что у него есть полис, одолжит ему денег. На бирже, у банкиров, везде и даже у ростовщиков он найдет кредит, потому что представит гарантии. Итак, сударь, ведь это же называется заполнить пробел в общественной системе! Но, сударь, это лишь часть операций, предпринятых Обществом страхования жизни. Мы страхуем должников по другой системе премий. Мы предоставляем пожизненные проценты из расчета, соответствующего возрасту, по шкале значительно более льготной, чем были до сих пор нарастающие пожизненные ренты, основанные на заведомо фальшивых таблицах смертности. Так как наше

Общество имеет дело с обширным кругом людей, то владельцы пожизненной ренты не должны опасаться мыслей, которые омрачают их и без того печальную старость, а эти мысли неизбежно ожидают их, если ренту ему выплачивает частное лицо. Вы видите, сударь, у нас жизнь оценена во всех направлениях…

— Обсосана со всех сторон, — сказал старик, — но выпейте же стаканчик вина, вы вполне заслужили его. Если вы хотите, чтоб у вас был мед на языке, надо, чтоб у вас был мед и в желудке. Сударь, хорошо выдержанное вуврейское вино — это сущий мед.

— Что вы об этом думаете? — спросил Годиссар, осушая стакан.

— Очень хорошо, очень ново, очень полезно, но я предпочитаю учет земельных ценностей, который производили в моем банке на улице Фоссе-Монмартр.

— Вы совершенно правы, сударь, — ответил Годиссар, — но это уже тысячу раз пробовано и перепробовано, делано и переделано. У нас в данное время есть залоговая касса, которая дает ссуды под заклад недвижимости, широко предоставляя право выкупа. Но ведь это жалкий замысел по сравнению с упрочением надежд.

Упрочить надежды, сконцентрировать, выражаясь языком финансовым, желания каждого разбогатеть, обеспечить ему выполнение этих желаний. Для этого необходима была наша эпоха, сударь, эпоха переходная, переходная и одновременно прогрессивная.

— Да, прогрессивная, — сказал сумасшедший. — Я люблю прогресс, особенно тот, который обеспечивает виноградникам хорошую погоду. В старое время…

— «Время», — продолжал Годиссар, не вникая в слова Маргаритиса. — «Время», сударь, плохая газета. Если вы ее читаете, то мне вас жаль.

— Газета! — отозвался Маргаритис. — Еще бы, я страстный любитель газет. Жена! Жена! Где газета? — закричал он, повернувшись к спальне.

— Ну, сударь, если вас интересуют газеты, то мы с вами прекрасно договоримся.

— Да, но раньше, чем читать газету, признайтесь, что это вино…

— Восхитительно! — подтвердил Годиссар.

— Тогда давайте допьем бутылку. — Сумасшедший налил себе немного вина и наполнил стакан Годиссара. — Так вот, сударь, у меня две бочки этого вина. Если оно вам нравится и если это вам подходит…

— Вот именно, — подхватил Годиссар. — Столпы сен-симонистского учения просили меня снабдить их припасами, которые я... Но поговорим о их большой и прекрасной газете. Вот вы так хорошо разбираетесь в денежных операциях, вы поможете мне наладить это дело в вашем округе...

— Охотно, — сказал Маргаритис, — если...

— Понятно, если я куплю у вас вино. Кстати, это — отменное вино, сударь, густое вино...

— Из него делают шампанское, один парижанин приезжает за ним сюда, в Тур.

— Верю, сударь. «Земной шар», о котором вы слыхали...

— Я его вдоль и поперек знаю, — перебил его Маргаритис.

— Я был в этом уверен, — сказал Годиссар. — Сударь, у вас хорошая голова, башка, как у нас говорят, крепкая башка, лошадиная, — головы всех великих людей чем-то схожи с лошадиными. Можно быть величайшим гением и оставаться неизвестным. Такие шутки случаются довольно часто с теми, кто, несмотря на свои возможности, остается в тени, как это чуть не случилось с

великим Сен-Симоном и с господином Вико[67], человеком выдающимся, который начинает выдвигаться, Вико идет в гору. Я доволен. Тут мы переходим к теории и новой формуле человечества. Внимание, сударь…

— Внимание, — повторил сумасшедший.

— Эксплуатация человека человеком, сударь, должна была бы прекратиться с того дня, когда Христос — я не говорю Иисус Христос, а Христос — провозгласил всеобщее равенство людей перед Богом. Но разве до сей поры это равенство не было самой жалкой химерой? А Сен-Симон есть дополнение Христа. Христос уже свой срок отслужил.

— И вышел в отставку? — спросил Маргаритис.

— Он отслужил свой срок, как и либерализм. Теперь перед нами нечто более важное: новая вера, свободное, индивидуальное производство, общественное устройство, при котором каждый будет получать справедливое общественное вознаграждение, соответственно своему труду, и не будет эксплуатироваться бездарными личностями, которые заставляют работать всех на пользу одного. Отсюда учение…

— А что будет с прислугой? — спросил Марга-

---

[67] Примечания: 67

Анри Сен-Симон (1760–1825) и *Джамбаттиста Вико* (1668–1744) — известные философы своего времени.

ритис.

— Прислуга так и останется прислугой, если она только на это и способна.

— А тогда какой же смысл в этом учении?

— О, чтобы судить об этом, сударь, надо подняться выше, расширить кругозор, и тогда вы будете иметь общую ясную картину человечества. Тут уж мы прямо попадаем в теорию Балланша[68]. Известен ли вам господин Балланш?

— Еще бы, мы только это и знаем, — ответил сумасшедший, которому послышалось «баланс».

— Хорошо, — продолжал Годиссар. — Итак, если зрелище постоянно возрождающихся последовательных изменений одухотворенного земного шара вас трогает, увлекает, волнует, в таком случае, сударь, газета «Земной шар» — великолепное заглавие, четко определяющее ее назначение, — «Земной шар» — это ваш cicerone[69], каждое утро он будет разъяснять вам новые условия, при которых в ближайшее время должно осуществиться политическое и духовное изменение мира.

— Que' saco? — спросил старик.

— Я поясню вам свое рассуждение на нагляд-

---

[68] Примечания: 68
Пьер Симон Балланш (1776–1847) — французский писатель и поэт.

[69] Примечания: 69
Проводник *(ит.).*

ном примере, — продолжал Годиссар. — В детстве няньки толковали нам о серафимах, теперь же, в старости, нам нужны картины будущего. Эти господа…

— Пьют они вино?

— Да, сударь. Их дома поставлены на широкую ногу, на незыблемую ногу: великолепное общество, все знаменитости, блестящие приемы…

— Ну, что же, — сказал сумасшедший, — рабочие, которые разрушают, нуждаются в вине не менее тех, кто строит.

— Тем более, сударь, в том случае, когда одной рукой разрушают, а другой строят, как это делают апостолы «Земного шара».

— В таком случае им нужно вино, вуврейское вино, те оставшиеся у меня две бочки, триста бутылок за сто франков, сущие пустяки!

«Почем же выходит бутылка? — прикинул в уме Годиссар. — Ну-ка! Доставка, акцизная пошлина семи су не составят; выгодная сделка; они дороже платят за любые вина. Ну, теперь он у меня в руках, — решил Годиссар. — Ты хочешь сплавить мне вино, в котором я нуждаюсь, я тебя не упущу».

— Что же, сударь, — продолжал он, — когда люди спорят, то в конце концов они всегда дого-

ворятся. Поговорим начистоту. Вы пользуетесь большим влиянием в вашем округе?

— Еще бы, — сказал сумасшедший. — Я глава Вувре.

— Хорошо, вы вполне уяснили себе идею предприятия с умственными капиталами?

— Отлично.

— Вы измерили всю ширь «Земного шара»?

— Дважды, и притом пешком.

Годиссар не расслышал. Он, как человек уверенный в успехе, был погружен в свои мысли и слушал только самого себя:

— Действительно, принимая во внимание ваше положение, мне кажется, что вам в вашем возрасте нечего застраховывать. Но, сударь, вы же можете помочь мне застраховать тех лиц в округе, которые, то ли по своим личным качествам, то ли вследствие материального положения своих семейств, желали бы обеспечить себя. Таким образом, если вы подпишетесь на «Земной шар» и поддержите меня вашим влиянием в округе, разрешив ссылаться на вас для привлечения капиталов в пожизненную ренту, — ибо в провинции питают пристрастие к пожизненной ренте, — то мы договоримся с вами о ваших двух бочках вина. Итак, подписываетесь вы на «Зем-

ной шар»?

— Идет.

— Поддержите вы меня среди влиятельных лиц округа?

— Поддержу.

— И…

— И…

— И я… Но вы подпишетесь на «Земной шар»?

— «Земной шар» — газета хорошая, пожизненная газета.

— Пожизненная, сударь? Ах да, вы правы, она полна жизни, силы, сведений, можно сказать, напичкана сведениями, великолепно составлена, четкий шрифт, хорошие краски, прекрасная бумага. Это вам не дрянной товар, не бульварная газетка, от нее не «рябит» в глазах, это не дешевый шелк, который расползается от одного взгляда. Это газета добротная, над ее рассуждениями стоит призадуматься, она очень скрашивает досуг в деревенской глуши.

— Все это мне подходит, — сказал сумасшедший.

— «Земной шар» стоит пустяки, всего двадцать четыре франка.

— А это уже мне не подходит, — возразил Маргаритис.

— Сударь, я уверен, вы имеете внуков.

— Еще бы! — ответил Маргаритис, не расслышав реплики.

— Отлично! «Журнал для детей» — семь франков в год.

— Купите у меня две бочки вина, и я подпишусь на журнал для детей. Это мне подходит, прекрасная мысль. Умственная эксплуатация ребенка, разве не означает она эксплуатацию человека человеком? А?

— Вы все поняли, сударь, — ответил Годиссар.

— Я понял.

— Значит, вы согласны поддержать меня в округе?

— Да, в округе.

— Могу я ссылаться на ваше согласие?

— Можете.

— Итак, сударь, я покупаю у вас ваши две бочки вина за сто франков.

— Э, нет! За сто десять.

— Ну, хорошо, сударь, пусть будет за сто десять, но это для столпов учения, а для меня сто. Я устраиваю вам продажу вина, а вы мне за это даете комиссионные. Идет?

— А вы поставьте им сто двадцать. Большой вины не будет, если от продажи вина вы получите

невинную прибыль.

— Прекрасный каламбур, не только складный, но и остроумный.

— Он и острый и умный, сударь.

— Что ни слово — острота, как у Николе[70].

— Да уж я таков, — ответил сумасшедший. — Хотите взглянуть на мой виноградник?

— С большим удовольствием, — ответил Годиссар. — Ваше вино прямо в голову ударяет.

И прославленный Годиссар вышел с Маргаритисом, который водил его по винограднику от отводка к отводку, от лозы к лозе. А три дамы и господин Вернье могли тем временем вдоволь натешиться, наблюдая издали, как вояжер и сумасшедший спорили, жестикулировали, останавливались, вновь принимались ходить и оживленно о чем-то рассуждали.

— И зачем это наш старик увел его туда? — недоумевал Вернье.

Наконец Маргаритис и коммивояжер повернули и быстро пошли обратно, словно торопясь закончить какую-то сделку.

— Наш старик, видимо, здорово обработал парижанина, — сказал господин Вернье.

---

[70] Примечания: 70

Жан-Батист Николе (1728–1796) — основатель ярмарочного театра, а также один из наиболее известных цирковых деятелей XVIII века.

Действительно, к великой радости Маргаритиса, прославленный Годиссар, усевшись у края ломберного стола, написал заказ на две бочки вика. Прочитав обязательство коммивояжера, господин Маргаритис уплатил семь франков за подписку на «Журнал для детей».

— Итак, до завтра, сударь, — сказал прославленный Годиссар, играя ключиком от часов, — завтра я буду иметь честь прийти за вами. Вино же вы можете отправить в Париж по указанному адресу, и вам тотчас же будет уплачено за него.

Годиссар был нормандец и потому любил обоюдные обязательства. Он потребовал обязательства с господина Маргаритиса, а тот, довольный, как всякий сумасшедший, которому удалось осуществить свою навязчивую идею, подписал, предварительно прочитав его, обязательство выдать Годиссару две бочки вина из подвала Маргаритиса. И прославленный Годиссар, приплясывая и напевая «Король морей, греби сильней!», отправился в харчевню «Золотое солнце», где в ожидании обеда натурально вступил в беседу с хозяином. Митуфле был прост и лукав, как большинство крестьян, но он никогда не смеялся шуткам, ибо был отставным солдатом, привыкшим шутить под грохот пушек

и свист пуль.

— Какие у вас здесь живут дельные люди, — сказал Годиссар, прислонясь к косяку двери и закуривая сигару от трубки Митуфле.

— А вы кого имеете в виду? — спросил Митуфле.

— Конечно, людей, основательно подкованных в политических и финансовых вопросах.

— У кого же это вы были, если это не нескромный вопрос? — простодушно спросил трактирщик, ловко сплевывая сквозь зубы, как это время от времени обычно делают курильщики.

— У тонкой бестии, у некоего Маргаритиса.

Митуфле иронически и холодно взглянул на постояльца.

— Правильно, это человек тонкий и очень знающий, такого не всякий поймет.

— Еще бы! Он прекрасно разбирается в самых сложных финансовых вопросах.

— Да, — ответил трактирщик, — я всегда очень сожалел, что он сумасшедший.

— Как сумасшедший?

— Да так, сумасшедший, какими бывают все сумасшедшие, когда они сходят с ума, — ответил Митуфле. — Только он не опасен, и жена держит его дома. Так вы с ним поладили? — хладнокровно

спросил безжалостный трактирщик. — Забавно.

— Забавно? — воскликнул Годиссар. — Как так «забавно»? Что же это? Выходит, ваш господин Вернье подшутил надо мной?

— Так это он вас туда направил? — спросил Митуфле.

— Он.

— Жена, послушай-ка! — кликнул трактирщик. — И как это только Вернье пришло в голову направить господина Годиссара к Маргаритису!

— О чем же вы говорили с ним, уважаемый? — спросила трактирщица. — Ведь он сумасшедший!

— Он продал мне две бочки вина.

— И вы их купили?

— Купил.

— Так ведь на этом-то он и помешан: он продает вино, которого у него нет.

— Хорошо же! — воскликнул вояжер. — Прежде всего надо отблагодарить господина Вернье.

И, кипя негодованием, Годиссар поспешил к бывшему красильщику, которого застал в столовой потешающимся вместе с соседями над своей проделкой.

— Сударь, — закричал король коммивояжеров, испепеляя его взглядом, — вы шут и невежа, и

если вы не хотите, чтобы я почитал вас ниже последнего тюремщика, а для меня эти люди хуже каторжников, то вы дадите мне удовлетворение, ибо вы оскорбили меня, сведя с заведомо сумасшедшим человеком. Слышите ли вы, что я вам говорю, господин красильщик Вернье!

Такова была обвинительная речь Годиссара, которую он подготовил, как трагик подготовляет свой выход на сцену.

— Как! — возразил Вернье, возбужденный присутствием соседей. — Вы воображаете, что мы не вправе подшутить над хлыщом, который приезжает к нам в Вувре, задирает нос и выманивает у нас наши денежки под тем предлогом, что мы якобы великие люди, художники, рифмоплеты, и тем самым он приобщает нас к людям, не имеющим ни гроша за душой, к темным личностям, к тем, у кого ни кола ни двора. А чем мы это заслужили? Мы — почтенные отцы семейств. Является какой-то проходимец и предлагает подписаться на «Земной шар», на газету, первая заповедь которой, видите ли, не наследовать отцу с матерью. Ей-богу же, дядюшка Маргаритис говорит куда разумнее. Впрочем, на что вы, сударь, жалуетесь? Вы ведь прекрасно договорились. Присутствующие могут подтвердить, что ни с одним другим

жителем нашего округа вы не договорились бы лучше.

— Может быть, все это и прекрасно, но я, сударь, почитаю себя оскорбленным, и вы дадите мне удовлетворение.

— Если вам так угодно, сударь, то я тоже готов считать вас оскорбленным, но драться с вами не буду, потому что не вижу во всем этом деле достаточного основания для поединка. Ну и шутник же вы!

Услышав эти слова, Годиссар кинулся на красильщика, намереваясь дать ему пощечину, но бдительные вуврейцы бросились между ними, и Годиссар только замахнулся и сдернул с красильщика парик, который сел на голову девицы Клары Вернье.

— Если вы не удовлетворены, сударь, то можете найти меня в гостинице «Золотое солнце», где я пробуду до завтрашнего утра, и я готов объяснить вам, что значит удовлетворение за обиду. Я, сударь, дрался в Июле.

— Ну и прекрасно, а теперь вы будете драться в Вувре, и как бы вам не загоститься здесь на более долгий срок, нежели вы предполагали.

Годиссар удалился, размышляя над последними словами, показавшимися ему дурным предзна-

менованием. Впервые в жизни вояжер пообедал без удовольствия.

Ссора Годиссара и господина Вернье взбудоражила весь городок. В этом благословенном уголке никогда и помина не было о дуэлях.

— Господин Митуфле, завтра я дерусь на дуэли с господином Вернье, у меня здесь нет знакомых, не согласитесь ли вы быть моим секундантом? — спросил Годиссар своего хозяина.

— Охотно, — ответил трактирщик.

Не успел Годиссар пообедать, как в гостиницу «Золотое солнце» пришли госпожа Фонтанье и помощник мэра, отвели к сторонке Митуфле и растолковали ему, как неприятно будет для всего округа, если кто-нибудь погибнет у них насильственной смертью; они обрисовали ему ужасное положение несчастной госпожи Вернье и заклинали Митуфле уладить дело так, чтобы спасти честь их городка.

— Я все улажу, — ответил лукавый трактирщик.

Вечером Митуфле принес Годиссару перо, чернила и бумагу.

— Что это вы мне принесли? — спросил Годиссар.

— Да вы же завтра деретесь, — ответил Ми-

туфле, — я полагал, что вы пожелаете оставить какое-либо распоряжение или написать письмо; ведь у каждого из нас есть привязанности. О, не беспокойтесь, от этого не умирают. Ведь вы хорошо владеете оружием? Не хотите ли слегка потренироваться? У меня есть две рапиры.

— Что ж, пожалуй.

Митуфле принес рапиры и две маски.

— Итак, начнем.

Хозяин и постоялец стали в позицию.

Митуфле, когда-то обучавший молодых гренадеров владеть шпагой, сделал шестьдесят восемь выпадов, загнав Годиссара и прижав его к стене.

— Черт возьми! Вы здорово деретесь! — воскликнул запыхавшийся Годиссар.

— Господин Вернье дерется еще лучше.

— Черт возьми! В таком случае я буду драться на пистолетах.

— И правильно сделаете. Видите ли, если вы возьмете огромные седельные пистолеты и зарядите их до самого дула, то вы ничем не рискуете: получится отдача, вы промажете и разойдетесь с честью. Хотите, я все это вам устрою? А? Ей-богу же, глупо порядочным людям убивать друг друга из-за ерунды!

— А вы уверены, что мы промажем? По правде

говоря, не хотелось бы убивать этого человека, — сказал Годиссар.

— Спите спокойно.

На следующее утро несколько побледневшие противники встретились у моста через реку Сизу. Шутник Вернье чуть не застрелил корову, которая паслась у обочины дороги в десяти шагах от него.

— О, вы выстрелили в воздух! — воскликнул Годиссар.

И противники обнялись.

— Сударь, — сказал вояжер, — ваша шутка была несколько резка, но зато забавна. Мне очень досадно, что я на вас накинулся, но я был вне себя. Я считаю вас человеком порядочным.

— Сударь, — ответил все еще бледный красильщик, — мы найдем вам двадцать подписчиков на «Журнал для детей».

— А если так, то почему бы нам не позавтракать вместе? — предложил Годиссар. — Почему бы людям, которые подрались, не договориться?

— Господин Митуфле, — спросил Годиссар, вернувшись в гостиницу, — нет ли у вас здесь судебного пристава?

— А зачем он вам?

— Я хочу послать вызов в суд дорогому господи-

ну Маргаритису, уж ему придется доставить мне две бочки вина из своего подвала.

— Но у него их нет, — воскликнул Вернье.

— В таком случае, сударь, это дело можно уладить, если он мне уплатит двадцать франков неустойки. Я не желаю, чтобы болтали, будто в вашем городке облапошили прославленного Годиссара.

Госпожа Маргаритис, напуганная возможностью судебного процесса, который, несомненно, должен был кончиться в пользу истца, поспешила принести двадцать франков милостивому вояжеру, кстати сказать навсегда избавившемуся от желания заняться одним из самых веселых, но зато и неподатливых на новые веяния округов Франции.

Возвращаясь из поездки по югу Франции, прославленный Годиссар занимал переднее место в дилижансе Лафит-Гайяр, где его попутчиком был молодой человек, которого уже с Ангулема он поучал тайнам жизни, вероятно приняв его за птенца.

Когда подъезжали к Вувре, молодой человек воскликнул:

— Какой прелестный городок!

— Да, сударь, — ответил Годиссар, — но жители в этой местности невыносимы. Здесь вам пришлось бы драться на дуэли чуть не каждый день. Глядите, вот там… — он указал на мост через Сизу, — как раз три месяца назад у меня был поединок — я дрался на пистолетах с одним неистовым красильщиком, но… я его одолел!

Париж, ноябрь 1834 г.